

РУССКАЯ ПРОЗА
Литературный журнал

A

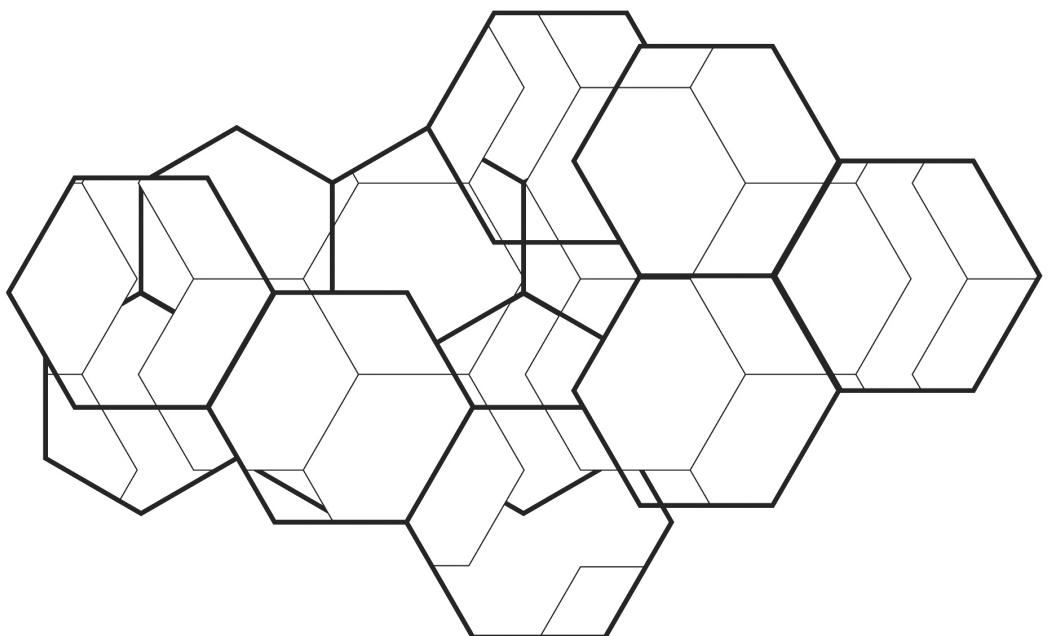
СОДЕРЖАНИЕ

<i>От редакции</i>	5
<hr/>	
hommage	
Валерий ШУБИНСКИЙ. Фехтование невидимой шпагой.....	7
Андрей НИКОЛЕВ. По ту сторону Тулы. <i>Роман</i>	13
Василий КОНДРАТЬЕВ. Жизнь Андрея Николева	129
<hr/>	
roman	
Александр ИЛЬЯНЕН. Highest degree.....	137
<hr/>	
тонкая красная линия	
Николай КОНОНОВ. Трехчастный сиблинг.....	185
Станислав СНЫТКО. Лодка на Иматра. <i>Предисловие Дениса Ларionова</i>	198
Маргарита МЕКЛИНА. Пиджаки на столе.....	206
Виктор ІВАНІВ. Семь рассказов.....	214
Александр МУРАШОВ. Рассказы. <i>Предисловие Кирилла Корчагина</i>	222
<hr/>	
ландшафты	
Андрей ЛЕВКИН. Вена, операционная система.....	239
Александр ПОКРОВСКИЙ. Пропадино.....	247
Антон РАВИК. Сын?.....	254
Сведения об авторах.....	260

РУССКАЯ ПРОЗА

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

ВЫПУСК А



Санкт-Петербург
ИНАПРЕСС
2011

Редакция

Никита Бегун
Денис Ларинов
Станислав Снытко

Художник

Андрей Богуш

Связь

ruproza@mail.ru

Права на публикуемые произведения принадлежат авторам.

ОТ РЕДАКЦИИ

Пилотный выпуск нашего журнала существует в рамках притяжения нескольких узловых точек, среди которых трудно вычленить главные (не в последнюю очередь потому, что мы имеем дело с проектом становящимся, но не фрагментарным): во-первых, большинство авторов тем или иным образом связаны с Санкт-Петербургом и несут символический ореол этого города даже спустя много лет после того как покинули его, а во-вторых, для каждого без исключения автора важно (пере)открытие языка новой чувственности, оказавшегося под прессом идеологических концептов и наслоений простейшего словесного вещества, рождающегося в рамках повседнева (впрочем, подобные апофатические цели не являются сверхидеей издания). Своего рода апофеозом – «вершиной, взятой на старте» – является, на наш взгляд, роман Андрея Николева «По ту сторону Тулы». Имеющий довольно типичную для текстов подобного рода судьбу (публикация в 1930-е годы и полувековое забвение после), он оказывается – наряду с текстами Кузмина, Добычина, Вагинова, Олеши, Белинкова и некоторых других – некой точкой отсчета для той части прозаического сегмента, в которой больше всего ценились и ценятся стилистический блеск, интэртекстуальность и метафизический скептицизм:

«– Ну, вы мне американами очков не втирайте. Я и сам кончил Московский коммерческий институт... Уж у кого другого, а уж у греков его было хоть отбавляй... Чувствую, что мне бы родиться на мраморе, а тут вот пропадай, да и жена меня, понимаешь, бросила. Вот ты думаешь, я здоровяк, а может, я сплошной комок нервов? Где Волконские, где Шереметевы? Искалечило нас всех.

– Мне двадцать лет и ждет меня корона, – подмигнул Алексашка...»

Публикация снабжена аналитическим материалом: статьей **Валерия Шубинского** «Фехтование невидимой шпагой», посвященной разбору основных стратегий чтения романа, а также дополненной версией легендарного эссе безвременно ушедшего **Василия Кондратьева** «Жизнь Андрея Николева», впервые опубликованного в «Митином Журнале» в 1989 году.

При этом, ещё одной отправной точкой для нас является вышедший в 1926 году в Ленинграде (и переизданный в 2007 году в Санкт-Петербурге) сборник статей младоформалистов «Русская проза» под редакцией Ю.Н. Тынянова и Б.М. Эйхенбаума, посвященный анализу «теневой» русской прозы XIX века.

Актуальный, так сказать, виток открывается отрывком из (анти)романа **Александра Ильинена** «Highest degree», продолжающегося создаваться online в рамках микроблога социальной сети «Вконтакте». Никогда еще опции блога так не подходили творческой стратегии автора. Tabula rasa социальной сети становится местом возникновения текста, в котором, по словам Александра Скидана, «Без-

глагольная событийная канва подшивается к дневниковой скорописи, частностям, блесткам фонем, ложных биографических и литературных генеалогий. Так скользят прогулочным взглядом мимо колониальных витрин, причащаясь их нерукотворным фетишам, копиям, изваньям». Скользжение, травматический извод прустовской **«мнемичности»** представлен и в новелле **Николая Кононова «Трехчастный сиблинг»**, герои которой играют по сценариям одновременно Серебряного века и студенческой революции 1968 года. Повествование, постоянно перестраивающееся при помощи издевательской иронии, служит описанию выхода субъекта из травматической ситуации, усугубленной «безвременьем» или, быть может, «новым временем», – какая разница, если люди созданы, чтобы уничтожить друг друга. С Кононовым активно ведет творческий диалог **Станислав Снытко**, в миниатюрах которого персонажи, происходящие от маленьких людей 20-х годов прошлого века, превращаются в статистов абсурдистского спектакля. Такие же тени остаются от персонажей рассказа **Маргариты Меклиной «Пиджаки на столе»**, уравненных с вещами в десемиотизированном пространстве. Единственное, что отличает людей, – это рождение (негативность которого не преминет подчеркнуть рассказчица) и смерть (являющаяся центральной проблемой текста). Экспликации несчастного сознания посвящены небольшие тексты **Виктора Иваніва**: социальная и метафизическая незащищенность субъекта здесь не подвергается сомнению. Радикализируясь от текста к тексту, Иванів предъявляет по-кафкиански обнаженного человека в поисках корней: *«А так приезжал поездами, выходил из вагона в кепке бейсбольной. Негритос негритосом, с челночными сумками, пересек всю страну, расстегнув нараспашку ворот. И шатучими руками с размаху упал. Помимо тебя! Это сделают помимо тебя!»* И, словно в пике всему вышеописанному, **Александр Мурашов**, ровесник Меклиной и Иваніва, предлагает холодную игру, требующую от читателя завидной эрудиции и чувства юмора: травматическое выведено здесь за скобки или модифицировано самым неожиданным образом.

Отдельно стоит сказать о плавающей рубрике «Ландшафты»: венский энвайромент, развертываемый **Андреем Левкиным** в тексте **«Вена, операционная система»**, где в несколько пародийном ключе подается один из основных концептов немецкой культуры второй половины прошлого века – переоткрытия прошлого, «вскрытия могил» (вспомним «Волчью шкуру» Ханса Леберта). Другой полюс – социальная сатира – представлен **Александром Покровским**, чей роман **«Пропадино»**, отрывок из которого мы здесь публикуем, призван напомнить о тех клаустрофических ландшафтах, в которых мы обитаем: но как истинный продолжатель традиций русской классической литературы Александр Покровский прибегает к гоголевскому юмору, который отчасти снимает невероятный трагизм существования в «русской провинции» («в метафизическом, разумеется, смысле»). И в заключение –рубрики и номера – следует новелла **Антона Равика «Сын?»**, призванная обозначить деструктивные элементы, существующие в рамках любого текста (например, чеховского, неявных отсылок к которому в тексте предоставлено).

Валерий Шубинский

ФЕХТОВАНИЕ НЕВИДИМОЙ ШПАГОЙ

1

«Открытие» писателя Андрея Николева началось с его поэзии – и это совершенно закономерно. При всей количественной малости наследия (около полусотни коротких стихотворений и поэма «Беспредметная юность») и его подчеркнутой «камерности», социокультурной непрятательности переоценить его трудно. Николев почти в одиночку воплотил уникальный способ существования «бывшего человека» в среднесоветскую эпоху. Иные – как Всеволод Рождественский или Павел Антокольский – полностью отказывались от сущностной части своего поэтического «я», что давало возможность успешно продавать единственному покупателю технические навыки и эмпирические знания. Иные, самые талантливые и смелые, вступали с новой языковой и культурной реальностью в сложный и конфликтный диалог – это был прежде всего путь Мандельштама, но также путь Вагинова – самого близкого к Николеву поэта. Третья, как Шенгели, ни в чем не менялись и все же рассчитывали на достойный статус в новой словесности, наивно полагая, что достаточно политической и идеологической лояльности.

Николев отбросил все унаследованные темы и идеи – все, кроме сущности, кроме дыхания, интонации, голоса; голоса, несущего легчайшие следы былых смыслов, а ныне говорящего о *пустяках*, пока не оказывается, что речь идет о *пустоте* – то есть обо всем, о вечном, о всеобъемлющем.

Не в комнате, а в Нем одном
(свет запредельный за окном)
сижу и словно каюсь.
Такой-то час, такой-то день –
в число любое миг одень,
к которому я прикасаюсь.

И еще:

Я живу близ большущей речищи,
где встречается много воды,
много, да, и я мог бы быть чище,
если б я не был я, и не ты.

О, играй мне про рай – на гитаре
иль на ангелах, или на мне –
понимаешь? ну вот и так дале,
как тот отблеск в далеком окне.

Возникающие в этом прозрачном до последней степени мире реалии внешнего мира (*нового* мира, само собой) воспринимаются с отчужденным удивлением. Автор – всего лишь носитель этого удивления, он как будто скрыт за занавесом. Поэтому он кажется «загадочным», хотя, казалось бы, Андрей Николаевич Егунов, филолог-классик, переводчик Платона и позднеантичной прозы, автор монографии о переводах Гомера, живший, когда позволяли общественно-политические обстоятельства, то есть до 1933 и после 1956 года, в Ленинграде, многим знакомый, обладатель типичной для интеллектуалов его поколения драматической биографии, таинственной личностью не был.

На самом деле как раз в биографии обнаруживается «двойное дно». История про бывшего ссыльного, попавшего в качестве оstarбайтера в Германию, в американскую зону оккупации, патриотично перешедшего в советскую зону и без всяких оснований арестованного НКВД, стала рассыпаться уже в 1990-е годы при знакомстве со следственным делом: на самом деле Егунов перешел, наоборот, из советской зоны к американцам и был ими выдан. Совсем недавно выяснилось, что и в Германию он попал, судя по всему, не как оstarбайтер, а добровольно: в Новгороде, где Егунов осел в 1938 году после томской ссылки, он в дни оккупации оказался замешан (видимо, под влиянием своего знакомого Бориса Филистинского, впоследствии крупного литературоведа и поэта Второй эмиграции Бориса Филиппова) в коллаборационистской деятельности. Насколько серьезно замешан – большой вопрос, так как историк Б. Ковалев, исследовавший жизнь Новгорода «под немцами», путает Андрея Егунова с его братом Александром, тоже писателем, тоже оказавшимся в это время в Новгороде, но в любом случае речь не идет о чем-то большем, чем пропагандистская работа на оккупантов. Тем не менее по нормам военного времени, тем более советским, это была измена. Если эти сведения верны, осуждение *только* за попытку перехода к союзникам было удачей.

При чтении стихов Николева кажется, что их автор мог соприкасаться с жестокостью и грязью века разве что страдательно – настолько летучая, ангеловидна его природа. В действительности Андрей Егунов был человеком из плоти и крови, подверженным естественным соблазнам, включая, вероятно, соблазны власти, успеха и органической связи с социумом, и его путь был сложен, как у всех людей его поколения. Забывать об этом не стоит, особенно при чтении единственного его опубликованного и сохранившегося романа «По ту сторону Тулы».

Антония Диогена (I–II вв. н. э.), «который сам Егунов упоминает среди «низовых» произведений древнегреческой литературы», своего рода античный приключенческий роман. Отсылка ироническая, ибо в книге Егунова не происходит никаких реальных «приключений», тем более фантастических, чудесных.

Дальше Маурицио касается иной, лежащей на поверхности не только для филолога-классика ассоциации. Фула, или Туле ассоциировалась в 1920-е годы с оккультными теориями, широкому читателю (в том числе и в СССР) известными, в частности, по роману Г. Майринка «Ангел западного окна». Роман этот в 1920-е годы читал Кузмин, отсылки к нему есть в «Форели»².

Ultima Thule – крайняя северная точка мира (отождествляемая с Исландией или Гренландией), предмет устремлений, точка волшебного преображения. Другим словом – революция. Мир, в котором живут герои, – мир по ту сторону этой точки. В то же время речь как будто идет всего лишь о мире «по ту сторону Тулы», то есть о (глазами петербуржца) «внутренней России», наполовину воображаемой, наполовину книжной, центральным пунктом которой является святилище мертвого Льва – Ясная Поляна.

И уже это определяет конфигурацию романа, его исходные точки: хрупкий внутренний мир петербуржца постпетербургской эпохи, мифы, которые он таскает с собой; новая жизнь с обязательными приметами, такими как *индустриализация*, и порожденные этой жизнью идеологемы; внутренняя российская жизнь, увиденная сквозь приемы и сюжетные ходы классической прозы, и эти ходы сами по себе, отдельно взятые, как объект игры.

Здесь опять стоит вспомнить Вагинова, его романы: ведь исходная структура их не так уж далека от только что описанной. В «Козлиной песни» автор еще явно на стороне «бывших» и готов отстаивать их мир во всей его самоочевидной декадентской вымороченности; дальше, особенно в «Бамбочаде» и в «Гарпагониане», ценой сохранения тонкости и трепетности бывших людей оказывается статус безобидных и бесплодных чудаков или мелких авантюристов. И здесь возникает призрак третьего писателя – Юрия Олеши, очень отдаленного от Вагинова и Егунова биографически и стилистически, но не по мироощущению.

Понятно, что пара Кавалеров – Бабичев есть лишь проекция более ранней пары Обломов – Штольц. Отношения николевских Сергея Сергеевича и Федора Федоровича – в этом же ряду, но своеобразны не только тонко отмеченный в статье Олега Юрьева³ «античным оттенком» (то есть гомоэротическим подтекстом, который приятель Кузмина чуть откровеннее, чем его предшественники и современники, выводит на поверхность), но прежде всего тем, что Сергей Сергеевич, специалист по исландской литературе, работающий *тишбарышней* в управлении

¹ Доклад на конференции «Феномен заглавия» в РГГУ за 2005/2006;

текст – <http://science.rggu.ru/article.html?id=51150>

² Элементы этих мистических теорий использовались в нацистской пропаганде; можно предположить, что Егунов в лекциях, которые ему пришлось читать в 1941–1943 гг. в Новгороде, мог касаться этой темы, по-своему ее перетолковывая.

³ «Заелисейские поля, или Андрей Николев по обе стороны Тулы».

<http://www.newkamera.de/lencchr/nikolev.html>

петергофских музеев, сам писатель. А энтузиастически преданный идеи соцстроительства Федор Федорович Стратилат, молодой горный инженер, руководящий устройством дудок (шахт без крепей, объясняет словарь Ушакова) в деревне под Тулой, – его персонаж и/или предполагаемый прототип его персонажа. Олеша передоверяет Кавалерову-рассказчику свое великолепное зрение, но не свою писательскую субъектность; герой реален в той же степени, что и мир, о котором он говорит, – не больше. Роман Николева – книга про писателя, его труд и его материал.

И здесь мы снова вспоминаем Вагинова – «Труды и дни Свистонова». С тем важным отличием, что границы между миром прежде пребывающим и миром описанным, между природой природной и природой природствующей у Николева несравнимо более зыбки. Уже сами по себе изысканно-пародийные повествовательные приемы сигнализируют об условности происходящего. Дело не в том, что текст начинается с полуслова (описание прибытия Сергея в деревню следует ближе к концу романа), не в границах между главами, проходящими в середине фразы, не в псевдопропущенных главах, не в слияниях и расхождениях одноименных персонажей, даже не в загадочной попутчице Сергея, которая есть не кто иная, как Елена Троянская. Дело – в цитатности, причем двуслойной.

С одной стороны, хлебосольная и забывчивая бабушка Федора, его мать-актриса, эксцентричная провинциалка Леокадия, за которой как бы ухаживают герои, даже попадья, к концу книги загадочно превращающаяся в акушерку, – несомненные гости из русской прозы XIX века от Тургенева до Чехова и от Толстого до Лескова. Но поверх этого слоя ложится другой, и это – явственные аллюзии к массовой советской беллетристике 1920-х годов и стоящим за ней идеологическим схемам.

Вот посещение Сергеем и Федором неких «соседей», как становится ясно, – неких воображаемых дворян столетней давности. Сначала – стереотипное описание усадьбы, потом...

«Клумбы с цветущими розанами расположились по обе стороны. Но ярче розанов алео что-то другое, как раз то, чего и устыдился Федор.

Появились розги, и уже от первого их хлестанья проступили полосы, на мгновенье белые и сразу затем багровые. Лица парня, лежавшего ничком, не было видно. Криков тоже не раздавалось; порка протекала благолепно и не мешала Зюзи ходить в тени лип с французской книжкой в руках».

Сцена заканчивается совершенно гротескно: старик-отец умирает от удара, узнав, что его гости не только не «из гусар», но и *не очень* дворяне, а дальше:

«Федор запел:

– …До основанья, а затем…

Все зашаталось. Мелькнул тонкий запах воздуха под сводами вековых лип, траченный молью судейский мундир, белая фуражка с дворянской кокардой…»

И здесь оборвем цитату: и так уже ясно, как псевдоречь переходит в речь.

Дальше – больше. Появляется вкрадчивый кулак со специально кулацким именем Сысоич, с «Девятым валом» на стене и (подразумевается) припрятанным обрезом; рядом подозрительный Мотя, который «не пьет, не курит, не руга-

ется, зато „ожаждет новых ощущений“, для чего исполняет роль мясника на деревне» (а телят режет, декламируя Есенина¹). Следующий шаг – описание подлого убийства Федора Стратилата (как оказывается, случившегося лишь в воображении Сергея).

Едва ли не самый яркий пример двуслойности – кооператор Сергей Сергеевич, тезка главного героя: одновременно чеховский комический провинциал и вороватый торговый работник, припрятывающий *дефицит*, из советской благонамеренной сатиры вплоть до Жванецкого. Правда, в контексте 1929–1930 годов он оказывается не просто вором, а как бы не зловещим *вредителем*, который «скоро выйдет из подполья».

Под конец Сергей начинает «кроить» в своем воображении будущую повесть, в которой Федор превращается в оперного певца (или даже певицу), повесть, в которой беллетристические штампы сочетаются со штампами идеологическими:

«Народный артист изменяет революции и остается за границей, ходит по гостям с банкой зернистой икры в кармане, которую поедает чайной ложкой, не годя о конфискованных своих домах, но Федор Стратилат верно служит народному делу.

Случайно ему приходится выступать в Ясной Поляне. С Федором рядом стоит жгучая красавица, вывезенная им из Тулусы... Но местное кулачье, возглавляемое попом, не дремлет. Когда Федор спит, оно подкрадывается к нему и вырезает ему голосовые связки».

Это уж чистый Хармс (косвенно соприкасаться с которым Егунов должен был, хотя о прямом знакомстве свидетельств нет). Потом «кулачье» превращается в «фашистов», а местный поп... в папу римского.

Но, похоже, та реальность, в которой действует зловещий Сысоич, а Федор вместо пения роет «дудки», точно так же «скроена», хотя и не так откровенно пародийна. Закрадывается подозрение, что в данном случае Штольц со всем до него надлежащим в значительной мере, если не полностью, порожден воображением или творческим даром Обломова. В сущности, несомненным оказывается лишь внутренний мир писателя и специалиста по исландской литературе, пишбашни мужеска пола из управления петергофских музеев, хрупкого и насмешливого петербуржца *последнейшей выточки*.

Именно поэтому в романе, в сущности, ничего не происходит.

Мать Федора, «Лямер», между прочим, говорит:

«Интереснее всего игра с теми предметами, которых нет. Первый любовник фехтовал невидимой шпагой, ее неощутимая рукоятка была плотно захвачена его рукой. Мнимое острие вонзалось в грудь невидимому противнику и, пройдя сквозь грудь, показывалось со спины.

Не в силах видеть это страшное зрелище, я закрывала себе лицо небывающим черным покрывалом, потом отбрасывала его и брала в руки воображаемое

¹ Не забудем: кампания по борьбе с «есенинщиной» в самом разгаре, причем связанная с начавшейся коллективизацией, хотя одним из инициаторов ее был (по иронии судьбы) правый уклонист Бухарин.

яблоко... Оно было отравлено, я знала это, и трепет, исходивший из него, проникал в меня».

Но если перед нами сеанс фехтования невидимой шпагой, кто противник? Эпоха? Может быть. Может быть, подлинное содержание романа – попытка «пишбарышни» стать советским писателем. Неудачная, ибо по органике своей герой не подходит для этой роли. Он может тысячу раз признать правоту происходящего, но зазор между ним и временем не исчезнет. Его капитуляция тщетна (но уже бесповоротна), отсюда то «примиренное с собой отчаянье», о котором пишет Юрьев. Отсюда те свойства воспринимаемого им (воображаемого им?) мира, которые сразу же бросаются в глаза: приурковатая буколичность и невинная жестокость:

«Из корзинки учтиво вышли две кошки, за ними выползло штук восемь котят. Они, видимо, не очень различали, какая кошка кому приходилась матерью, и равно ластились к обеим. Сергей оступился, стенанье раздалось, и искалеченный котенок пополз паралитиком, влача уже негодные задние лапки».

Если приглядеться, такое – почти на каждой странице. И, как ни велик соблазн увидеть в этом предчувствие «грядущих казней» (или отклик на казни уже идущие), – это все идет скорее изнутри, чем извне. Из раздраженного, удивленного, испуганного взгляда петербургского денди.

Что можно к этому добавить? Что другой, несохранившийся роман Николева назывался «Василий Остров» – столь же каламбурно, и что при чтении «По ту сторону Тулы» этот каламбур не кажется неожиданным.

Андрей Николев

ПО ТУ СТОРОНУ ТУЛЫ

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Те не успели ответить, как были оттеснены стремительным натиском. Утренний Федор одной рукой повис на шее Сергея, другой потрясал увесистым Сергеевым чемоданом. Кусты смородины в палисаднике просияли, и с листочка, задетого локтем, пролилась полновесная капля росы.

– Звезды блестят, светит луна, звуки летят, пробуждают от сна. Но при луне горестно мне – прежних ночей вспоминаю блаженство с ней. Воротить бы дни былые, счастья радостны мечты, испытать бы огневые ласки страсти и любви.

– Что за черт, – сказал Сергей, – при чем тут луна? Сейчас утро и довольно жаркое. Кто это там играет на гитаре?

– Да, все время стоит жаркая погода. Пройдемте в комнату, не будем мешать им. Видите?

Три добродушнейших собачьих морды выставились из-под балкона. Старущий голос, исходивший из кухни, звал:

– Лобзай... сюда...

«Полуденные страсти, – подумал Сергей, – лобзай меня, твои лобзанья мне слаше мирра и вина».

– Остальные двое, – говорил Федор, – это, позвольте вам представить, Фингал и Оссиан, древние псы, паразиты трудящих масс, остатки проклятого прошлого. Который вам больше нравится, Сережа?

– Вот этот. Он прыгает космато и тычется незрячей мордой мне в колени.

– Ему выстрелили дробью в морду, когда он воровал яблоки. Теперь он исправился и присмирился, дружит с Оссианом и отучил его лаять. Но вы, Сергей, все-таки не туда смотрите.

– Задремал тихий сад, от цветов аромат льется, никогда так, милый друг, мила ты еще не была. Для тебя, для тебя, мой кумир, я забуду презренный мир, пусть свидетелем мне ночь и сад и луна, что душа вся тобою полна, полна!

Из-за кустов в самом деле выглядывал округлый край гитары, а вдалеке у ограды сада, слушая гитару, стояло белое батистовое платье. Оно то отворяло калитку, то закрывало ее на себя, отчего шел неистовый скрип.

– Вот наш с вами приют, – вводил Федор Сергея в комнату, – не правда ли, уютно наше убежище Монрепо?

– Я не читал Салтыкова-Щедрина, – возразил Сергей. – А кто эта девушка у калитки, в белом платье? Какая Россия – прямо хоть отбавляй.

– И имя какое поэтическое: Леокадия! А привезли вы мне трусики и бумагу от мух?

– Вот они, синие, красные, зеленые, выбирайте, какие вам к лицу. Вот бумага. А вот в качестве принудительного ассортимента и мои стихи.

– Спасибо, бросьте это все куда-нибудь сюда.

На столе было тесно от сковороды с уже съеденной яичницей, от бутылки, стенки которой хранили след недавнего молока, и от рассыпанных всюду папирос.

– Нельзя сидеть в комнате в такую погоду, располагайтесь, Сережа, лучше здесь в холодке, под елкой, а мне пора на работу. Вернусь, тогда и поговорим обо всем, – и Федор стал впряженять лошадь. Ремни шлепали, уздечка бренчала среди утреннего безмолвия.

– Как у вас здесь тихо, Федя. А где же ваши пенаты, о которых вы мне писали?

– Вероятно, собирают малину. Прислушайтесь хорошенъко, они слышны.

По дорожке к дому семенила в меховых туфлях маленькая старушка. Старомодный большой кожаный кошелек, привешенный на ленточке к ее шее, был раскрыт и, видно, до отказа наполнен собранной малиной. В такт маленьkim шагам старушка старательно напевала безжизненным голосом: «Ветерочек чуть-чуть дышит, ветерочек не колышет в чистом поле ни листа, в темном лесе ни куста, ля-ля, ля-ля».

– Ах ты, мой ветерочек восьмидесятилетний, пес тебя дери, – запустил Федор руку в кошелек.

– А ты по чужим кошелькам не лазай, негодяй веселый. Да чего ты сияешь? Дождался-таки приятеля?

Подойдя к Сергею, бабушка протянула сморщенную ручку и представилась:

– Стратилат. Очень рада. Будьте как дома. Жаль, что у меня нет одеколона.

Сказавши, она прошла в дом, а из кустов появился тот, кто играл на гитаре. Он взял несколько минорных аккордов.

– И думать не моги, а лошадь мы сейчас распряжем. Какая тут, к дьяволу, работа, раз приятель приехал. Он ведь тут без вас, слышьте, в отшельничество впал: на гулянку ни ногой и не пьет ничего. Все отнекивается: вот приедет приятель, тогда можно будет повеселиться. Да и я уж за компанию сегодня лавочку прикрою, и так каждый день торгуешь. Эй, тряхнем стариной, по-студенчески: «Народ, народ, один удел мне дан с тобой, в очах пылает гнев, душа кипит грозой».

Чуткая лошадь повела ухом: она думала, что гитара будет ей нацеплена на голову – излишняя, непривычная упряжь.

– Ну, мы сегодня к тебе всей гурьбой, – закончил кооператор.

– Ладно. Бабуся, закупи всего, что нужно.

– На сколько человек?
– Двадцать, – отвечал кооператор.
– Господи боже, Федя!
– Бабуся, не прекословь.
– Да я не прекословлю, конечно, твои деньги, да только сам знаешь...
– А ты отдай деньги Сергей Сергеичу, он сам все и купит. Это не о вас речь, Сережа, – вы еще, кажется, не знакомы? – и он стал представлять друг другу кооператора и Сергея: – Мой приятель – Сергей Сергеич. А это тоже мой приятель и тоже Сергей Сергеич.

Визг заглушил взаимные приветствия. Ребятишки с писком катались по траве, задирая подолы рубашонок. Из корзинки учтиво вышли две кошки, за ними выползло штук восемь котят. Они, видимо, не очень различали, какая кошка кому приходилась матерью, и равно ластились к обеим. Сергей оступился, стенанье раздалось, и искалеченный котенок пополз паралитиком, влача уже негодные задние свои лапки.

Среди неразберихи можно было понять только следующие слова приезжей:
– Я похоронена в Ферапне... неверно говорят, будто я была повешена на дереве...

Кооператор не видел этой протянутой ему руки.
– Давайте сюда деньги, бабушка, и не беспокойтесь: у нас на все казенный прификс.
– Федор, – прошептал Сергей, – вы знаете, я ведь не один, куда бы нам поместить приезжую?
– Что же, – отвечал Федор, – бабушка у меня добрая, она может приютить и Елену. У бабушки, помню, жила бездомная старуха, спала на стульях, а так как в комнате было тесно, то вынимали ящик из низа шифоньерки, и старуха лежала, всунув ноги в шкаф. Впрочем, еще лучше вот что. Эй, Гриша Ермолов, отведи-ка приезжую в шалаш.

Показался Гриша Ермолов в фетровой шляпе.
Раздался марш. Медные трубы играли.
Федор вскочил на телегу и уже хлестнул лошадь. Сергей на ходу прыгнул к нему:

– Можно мне поехать вместе с вами на работы, посмотреть?
Федор стал объяснять устройство буровых скважин и дудок, но встречная курица навела его на другие мысли:
– Бабушка все жалуется, что не хватает денег, как ни экономь. Я знаю, она ужасно забывчива: ей принесут курицу, она торгуется, торгуется, наконец выторгует за рубль, заплатит. А баба завтра опять придет получить за эту же курицу, и так ходит несколько дней. В результате курица нам обходится пять рублей.
– Неужели мы с вами будем разговаривать о курицах? Я бы тогда не приехал.
– А если я хочу говорить о курицах?
– А я не желаю.
– Что вы меня мучаете, как обезьяну! Не стесняйте, пожалуйста, индивидуальность ребенка.

— Вы не ребенок, а дылда.

Лошадь понеслась вскачь, увлеченная происходившей на телеге потасовкой.

Подвыпивший мужичонка топтался посреди дороги. Когда облезжали его, он пустился в разговоры:

— Вы без шапки и я без шапки, значит, вы меня не раздавите. Моя баба в Москву поехала, ее там в больницу посадили. Хотите, бычка продам.

Девочка тянула его сзади за рубаху и плакала:

— Тятька, идем домой.

— Странное дело, — сказал Федор, — в здешних краях слово «инженер» стало означать «барин». А какие же мы с вами баре? Впрочем, вы даже и не инженер. Ну хватит, Сережка, уже приехали. Только вы, пожалуйста, молчите, а то вы с этими вашими финтифлю...

Рабочие за руку поздоровались с Федором. Сергей присел на куче песка у разведочного воротка. Канатом был обмотан деревянный вал, двумя стойками подпертый с боков. Федор продел ногу в канатную петлю.

Так катаются на гигантских шагах.

Федор сейчас оттолкнется ногой от земли и полетит, описывая круги в утреннем воздухе. На взлете увидит он всю эту слегка всхолмленную местность, поля, колючие от уже сжатой ржи, далекие буровые вышки.

— Спускай, — сказал Федор, разматывая сантиметр.

— С ветерком? — подмигнул парень, стоявший у ворота.

— Ну давай хоть с ветерком.

Стремительно ушли в дудку ноги Федора, потом плечи и фуражка. Он исчез с земли.

«Индейцы так закапывают живьем», — подумал Сергей и произнес:

— Майн Рид!

Рабочие оглянулись. Сергей прикусил язык. Из дудки раздалось глухо:

— Молчите вы, наконец.

Канат перестал разматываться. Из глубины доносилось:

— Подымай! Так. Подошва красного песку. Кровля. Метр двадцать. Так, еще давай. Еще.

Фуражка Федора показалась из-под земли, потом рука с записной книжкой и карандашом. Потом он весь выпрыгнул наружу. Брюки его замарались красным.

— Все в порядке, — сказал он. — Ну, пока, ребята. Вы, Сережка, посидите здесь в рощице, вас нельзя брать с собой, вы все дело портите. Я осмотрю еще несколько дудок, а к обеденному перерыву подъеду тоже сюда.

Сергей был высажен у белых стволов. Ручеек радовался полуденной тени. Было приятно болтать в нем босыми ногами и чувствовать, как между пальцев струится тонкий песок.

Девушки вышли из-за берез.

У каждой в руках было по большому белому грибу. Сергей сейчас же узнал их имена. Это были Дуня, Феня, другая Дуня, Домаша. Никому из них не было больше двадцати лет, и все они оказались сельскими учительницами.

Компания уселась на бережку. Сергей посередине, лежащий навзничь. Он

видел цветочки пестрых деревенских ситцев, русые волосы на затылке, движущиеся от вольного ветерка, а повыше – зеленые листочки и очень яркое небо, покрывавшее четырех девушек.

Железнодорожники употребляли слово «путь» в женском роде: пятая путь, эта путь, на одиннадцатой пути. Они были правы, и это их слово попадало в один ряд со словами «жуть», «муть», «суть». Не оттого ли чуть-чуть мутило Сергея вчера, когда он озирал раскинувшиеся по обе стороны от вагона рельсовые сочленения, окружно сливавшиеся на стрелках друг с другом. Ему хотелось бы пожить некоторое время вон в том бездейственном вагоне, зеленеющем на одиннадцатом пути, подле канавки и травки. Взять бы с собой необходимый скарб: бритву, мыло, полотенце, одеяло, подушку – и поселиться там на нижней лавочке. По утрам бегать на станцию за кипятком и лететь стремглав обратно в вагон, боясь, что он уйдет из-под носа. Смотреть на неподвижный за окошком пейзаж: картофельный огород, железный дрязг, пятиэтажный дом с мелкими окнами – и воображать причудливые картины высоких городов с башнями на берегу океана. Ходить по коридору недвижного вагона, хватаясь за стенки, чтобы не упасть от сотрясений стремительного поезда. Читать все одну и ту же книжку, безразлично какую, – все равно она станет милой, так как была прочитана в вагоне.

Компания по-братски разделила хлеб и стала запивать его водой из ручья. Дуня ладошкой черпала и подносила ко рту Сергея, но рука эта слегка дрожала, и вся вода уходила между девических пальцев, капая на желтый подол.

Тогда Дуня провела мокрой рукой по лицу Сергея, промолвив:

– Вот вам, умойтесь.

Наконец, всех разморило, грибы были отложены в сторону, начались песни. Дуня с Домашей принялись первые:

– На платочку два цветочка, голубой да синенький. Про любовь никто не знает, только я да миленький. С неба звездочка упала на душистый на сирень, проводи меня, залеточка, неужели тебе лень? Сошью платье я себе напериди стрелочкой, погонись, милой, за мной, как лиса за белочкой.

Феня и другая Дуня отвечали на это:

– На груди букет приколот, украшает грудь мою, поверь, милая подружка, не от радости пою. Расстегните белу платью, душно сердцу моему – шел ко мне, зашел к подруге, как не совестно ему? Где мы с миленьким стояли, снег протаял до земли, где мы с милым целовались, там цветочки расцвели.

Федор вошел в рощу и снял фуражку. Сергей вскочил к нему навстречу. Федор, недовольный, присел на пенек.

– Устали, Федор?

– А вы, Сережа, не устали? Вы ведь здесь тоже чем-то заняты.

– Вот эти мужчины, вечно ссорятся, – воскликнула Дуня, сорвала крапиву и начала стрекать Федора по рукам, приговаривая: – Вот вам, не будьте злыми.

Федор отстранился, Сергей протянул свои руки:

– А ну-ка меня, я тоже не хочу быть злым.

Уже целые пучки крапивы пошли в ход. Девушкам нравилось, что Сергей не моргая и со сжатыми губами так упорно протягивает вперед руки, уже покраснев-

шие и покрывшиеся белыми волдырями. Они не знали, что Сергей про себя думал в этот момент о Муции Сцеволе.

Наконец девушки убежали, метнув всю крапиву в лицо сидящим.

— Свою работу я люблю больше всего, — говорил Федор, — вы подумайте, Сережа, ведь это древний тульский район. Урала тогда еще не было, Кривого Рога тоже, а царям нужны были железные орудия хотя бы для пыток. Чем же было истязать народ? Вот отсюда-то и брали руду.

— А короли, — спросил Сергей, — помните тульского короля?

— Он был просто дурак, как все короли: бросить золотую чашу в воду. Это называется расточать народное достояние.

Посмотрели на замшелое дно ручья. Сергею виделся блестевший там на дне вычищенный кирпичом медный тульский самовар. Сергей бросил травинку в воду и следил, как она уплывает прочь, к полям, где ската рожь и вырыты дудки.

Федор протянул руку:

— Это все мои владения.

— Значит, Федор, вы поверили моим стихам?

— Я и не помню о них. Это мои владения, потому что я здесь работаю. Мои скважины, мои дудки. Горы, раскрытие горноделием, растительные продукты природы, отыскиваемые в сыром виде, добываемые, обрабатываемые, отделяемые, очищаемые и подчиняемые человеческим целям, — вот что интересует меня. А какая красавица вот та вышка, как, по-вашему, Сережа?

— Вы знаете, Федор, это глупо, но я не могу отделаться; вы говорите: дудки понастроены, выходит, что это музыкальный инструмент.

— Что же! Мы на них и заиграем скоро. Вся страна запоет.

И Федор хлестнул крапивой Сергея по лицу, но уже поблекшие, съежившиеся ее листья не были жгучи.

— Заметили вы того парня, который крутил ворот? — продолжал Федор. — Он мне очень нравится. Когда этот Федя спускает меня в дудку, я спокоен: канат разматывается равномерно. Сейчас, должно быть, Феде принесли завтрак — квас, как здесь говорят. По-нашему, это скорее окрошка. Я вас потом представлю его невесте, Марынке, чтоб вам не было у нас скучно. Вообще, вы должны, Сережка, приезжать теперь ко мне каждое лето, где бы я ни работал, — на Алтай, в Сибирь, в Танутинскую республику.

— Нет, — сказал Сергей, — в Танутинскую не поеду: там много комаров.

— Не больше, чем в вашем Петергофе. Или у вас там и комары воспитанные?

— Скажите, Федор, верно ли, что у вас здесь чай продают без карточек?

— Да, если только кулачье не скупило его, чтобы устроить кризис. Здесь ведь, в Мирандине, — кулак на кулаке. Сперва, когда я приехал сюда на работу, никто не хотел сдать мне помещение. Пришлось поселиться поодаль от деревни, во флигельке. Кооперация вот там, видите, подле церкви. Идите все прямо, а потом направо.

— А вам, Федор, купить чего-нибудь? Мыла? Зубную щетку, одеколон, хлородонт? Отчего вы вообще не моетесь?

— Мыло купите, только не духовитое. А одеколон мне ни к чему, то есть я его, конечно, всегда пью с политурой. Ну, пока, пора мне на работу.

Выйдя из рощи, Сергей заметил, что пыль на дороге побелела от полуденного жара. Собака выскочила на Сергея из развалившейся избы. Обгоревшие бревна, обуглившиеся доски окружали уцелевшую торчащую трубу кирпичной печки, в которой пищали щенята.

— Как звать тебя? — стал разговаривать Сергей с собакой, — должно быть, Дамкой? Эй, Дамка, Дамка, ну чего ты, милая?

Сергей сюсюкал, посвистывал, причмокивал, но Дамка приподняла губу над краем своих зубов, показав крепкий оскал.

— Глупая, — продолжал Сергей, — чего ты беспокоишься? Я люблю твоих щенят не меньше, чем ты, то есть, конечно, даже больше. Сейчас мне не хочется брать их на руки, а то бы я повозился с ними.

Дамка прочитала любовь в глазах Сергея и, зарычав, исчезла в печке.

Сергей с падающим сердцем и ослабевшими коленями вбежал в кооперацию и упал на стул.

— Милости просим. Для Федоровой вечеринки пакет уже готов, а вам чего прикажете?

— Чай, — воскликнул Сергей, — как можно больше чаю и потом мыла.

Кооператор обрадовался:

— Понимаю. Хомуты да деготь — это у меня для декорации; гвоздей не держу. У меня и товар и покупатель тонкий: инженерия. Да ты меня не бойся, я рецепт знаю: когда испугался чего-либо или огорчение, тотчас выпить стакан холодной воды, намешав три чайных ложки сахара. А еще лучше пива.

Свет проникал в лавку только через отворенную дверь, так как никаких окон не было. С мыльных обложек улыбались красавицы, снабженные роскошными бюстами и надписями: роза, ландыш, гиацинт. На стене зеленая нимфа выникала из воды с драгоценным снародием в руках. Серая толстовка висела на распялке. Сергей пририсовал к ней продолжение: снизу босые ноги, сверху бороду, в ее кармашки поместил сморщеные руки — такой стариk мог бы обучать княжну геометрии.

Кооператор тем временем закрыл дверь наглухо. Все исчезло. Осталась теплая, немного потная рука кооператора, который тащил куда-то робкого своего покупателя.

Сергей почувствовал, что от кооператора пахнет свежей обувью, печенем «Новый быт» и дыханием человека, который не употребляет для зубов пасты хлородонт. Ее выдавливают белой душистой колбаской на щетину зубной щетки. Паста пенится во рту вместе с теплой водой, и когда полощешь горло, то видишь потолок ванной: он меньше и темнее, чем в остальных комнатах.

— Сюда, сюда, — тащил кооператор Сергея в соседнее помещение, освещенное мутным окошком наверху, — это вы правильно поселились не в самой деревне — там бы к вам ходили под окна смотреть, что вы делаете. А ведь у нас с вами тайны — я понимаю. Вот она говорит, будто уже теперь вечерний свет ей больше к лицу, будто жить ей всего три года осталось, потому что после сорока на лице лишь обломки проклятого прошлого, тогда будто ей и пригодится ее невинность. А я ей говорю: мы еще поживем, не волнуйтесь. Только не волноваться. Я тайком и вычисления сделал. Митенька говорит: куплю револьвер, надо на всякий слу-

чай научиться стрелять без промаха. Это он неверно. Нужно все в тишине – я ведь понимаю. Вы не сродственники его будете? Не из одного учебного заведения? Я сам, брат, слышьте, окончил Московский коммерческий институт.

Когда глаза Сергея привыкли к полумраку, он различил ободранную, но, впрочем, красного дерева мебель, которой была уставлена комната. Все это было с неприятными спинками, рассохшееся и частью развалившееся, но самого дворянского пошиба. Над диваном висела застарелая таблица с портретами вождей. Кооператор подвел Сергея к противоположной стене, тоже к таблице, старательно вычерченной.

Учет людей по профессиям, переваливших за восемьдесят лет: Мамки – 2. Пастухи – 3. Гофмаршалы – 3. Кардиналы и епископы – 6. Купцы – 11. Живописцы – 3. Матросы – 2. Музыканты – 2. Экономы – 10. Офицеры – 21, из них 3 фельдмаршала. Папы – 1. Философы – 18. Ученые – 23. Школьники – 4. Солдаты – 12. Государственные министры – 4. Могильщики – 1. Врачи – 6. Кооператоры – ?

Кооператор переводил взгляд с Сергея на портреты вождей и приметно подхихиковал:

– Понял насчет командных-то высот?

Вошла Дарья Федоровна и спросила, подавать ли обед, но кооператор мечтательно ходил по комнате. В углу под киотом висело фарфоровое пасхальное яичко, бумажные розаны, уже очень ветхие, были густо натыканы за образа.

– Скучное положение, – жаловалась Дарья Федоровна, – сын от скарлатины помер, так запретили вскрывать гроб. Что же, обедать-то будете?

– Что обед, до обеда ли тут, когда Федоров приятель приехал. А потому скучное положение, что жить не умеете.

Вошедший Алексашка облобызился с кооператором и стал рассказывать:

– Друг милый, вот уже третий день уезжаю в Москву, да никак не могу уехать – все работа по культпросу, – молодой инженер подмигнул.

На столе появилась еще пара пива, пенистая, как светлые кудри инженера. Все чокнулись, и Алексашка продолжал свой рассказ:

– Румыния – дрянь-страна. В каждом доме, в окне, понимаешь, продают гадость, в каждом доме непременно адвокат, а жена его занимается гадостью. У меня там все белье украли. На постелях тысячи подушек, стопкой, наверху самая маленькая, но ложиться на них считается неприличным. Одно слово – боярская дрянь. Ну да что вспоминать фронт, дело прошлое. Ну-ка, за здоровье нынешнего просветительного фронта!

Выпив, Алексашка ушел.

Кооператор плеснул остатками пива в таблицу с портретами вождей.

– Мне, слышьте, все известно. Как Федор Федорович сюда приехал, пошла Домаша к его хозяйке, якобы в гости, засиделась и заночевала. В той комнате, что у Федора между балконом и его чертежной, постелила себе Домаша на полу, у самого порога. И что же вы думаете? Федор перешагнул, понимаешь, через нее вежливым таким манером и отправился чертить чуть что не всю ночь. Домаша от обиды тоже всю ночь глаз не сомкнула. Ну а я, слышьте, сразу понял: отшельник и чертежник... Я ведь и сам, понимаешь... я на твое честное студенческое слово полагаюсь.

— Я не студент, — возразил Сергей.

— Рассказывай! Да ты не стесняйся: на то у меня и красный уголок оборудован.

Сергей повернулся на диване красного помещичьего дерева и пребольно ущемил себя рассохшимся его сиденьем. Пока проходила боль и пока Сергей украдкой потирал ущемленное место, он успел совершить с Федором маленькую прогулку. Впрочем, сперва Сергей шел один и глядел на колеи дороги. Они были наезжены многочисленными крестьянскими телегами.

Сверху на снопах сидели ребяташки, шавки тякали на лошадей, высунув язык как можно больше, потому что собаки вовсе не потеют, и в жару язык служит им единственной отдушиной. Федор подошел сбоку и взял Сергея под руку. Сергей потащил его вперед, Федор сперва застыдился и не хотел двигаться дальше, хотя идти было очень удобно: славно подметенная дорожка вела к дому. Клумбы с цветущими розанами расположились по обе стороны. Но ярче розанов алео что-то другое, как раз то, чего и устыдился Федор.

Появились розги, и уже от первого их хлестанья проступили полосы, на мгновенье белые и сразу же затем багровые. Лица парня, лежащего ничком на скамейке, не было видно: подол рубахи навернулся ему на голову. Криков тоже не раздавалось; порка протекала благолепно и не мешала Зюзи ходить в тени лип с французской книжкою в руках. Округлые листики лип образовывали подвижную тенистую сетку на барежевом ее платье. Она всем сердцем, девическим и невинным, погрузилась в раздумья Лелии, чья неутомимая любовь заставила Адольфа броситься в водопад. Приметив Федора с Сергеем, двигавшихся по дорожке прямо на нее, Зюзи сдвинула хорошенъкие свои бровки.

— Куда прешь, — воскликнула она, — людям не велено ходить по парку.

Тут Сергей понял, что, действительно, они с Федором явились в неподходящих костюмах. Хорошо еще, что они были не в трусиках, а в брюках, но все остальное никуда не годилось: Федор был в безрукавной спортивной майке; голые его подмышки золотились русым пухом, босые ступни едва прикрывались профырвленными сандалиями.

Уже Зюзи готовилась с криком «ах» упасть безздыханно на желтенький песок, как вдруг Сергей нашелся:

— Не пугайтесь, ради бога, не пугайтесь, — сказал он по-французски, выговаривая как можно лучше, — я и мой друг, мы, конечно, люди, то есть несчастные жертвы рока: на нас напали разбойники. Впрочем, их предводитель уверял нас, что пламя неразделенной страсти терзает его. Мы оставили сэра Ральфа сидящим на опушке леса и свивающим венок из листьев дикой омелы.

— Все равно, — возразила Зюзи, — согласитесь, я не могу разговаривать с молодыми людьми наедине. Это неприлично. Если вы просите моей руки, обратитесь к папа.

Все трое миновали место экзекуции. Спина парня уже не проходила на человеческое тело, и Федор перестал стыдиться. Это было крошево из прутьев лозяника и мяса, брызжущего кровью.

— Папа, папа, как это мило, — воскликнула Зюзи, подымаясь по ступенькам балкона, — к нам нежданнныне гости из Мирандина, очаровательный визит.

Она упорхнула оправить туалет.

— Милости прошу, — вынул старик фуляровый платок из кармана. — Пойдемте, я покажу вам скотный двор и псаарню. Надеюсь, вы ночуете у меня?

— Нет, мы на сеновале.

— Да, бывают охотники. Вот и покойный Анемподист Палыч тоже... Эй, Пропшка, подать сюда...

Приветливый стариk засуетился. Подслеповатый, не заметил он костюма Федора и Сергея.

Те захотели ответить любезностью, поэтому сказали:

— Мы могли бы вам показать, если вы приедете к нам в Мирандино, фотографию вашей правнучки с надписью на обороте «Memento mori». Серпухов, 13 сентября 1903 года.

— Прошу прощения, я несколько тут на ухо. Что вы изволите мне показать в Мирандине?

— Фотографию вашей внучки.

— Я, конечно, не получил такого блестящего образования. Зюзи, пойди-ка сюда, что значит по-французски «фотография»?

— Это, папб, наука такая.

— А, да, конечно. Но внучки у меня нет, Зюзи еще рано думать о свадьбе, Вольдемар тоже молод — нынче осенью определился в Петербург, в дворянский полк. Впрочем, пожалуй: Володьке ведь уже шестнадцатый годок минул. Сами понимаете, дело молодое. Почем знать, быть может, у меня и есть петербургская натуральная внучка, но только таких-то фотографиям, извините, не обучают; всех обучать, так никаких наук на них не хватит. На деревню их, там пускай на толокне и растут. Хе-хе, потешили старика. Сам был молод, знаю: «Люблю разгульный шум, умов, речей пожар и громогласные шампанского оттычки... Вы не из гусаров ли? — оттирал стариk выкатившуюся из красного омертвелого века слезинку.

— Нет, — отвечали Федор и Сергей.

— Как нет? Но, надеюсь, вы дворянне?

— Благодарю вас, не очень.

Негодящий стариk вскочил и пошатнулся. Федор протянул руку поддержать его. Подслеповатым глазам старика явилась золотистая подмышка Федора, и он упал замертво на натертый воском пол.

— Папб, папб, он умер, боже! — кричала Зюзи, бросаясь на труп отца.

Федор запел:

— ...До основанья, а затем...

Все зашаталось. Мелькнул тонкий запах воздуха под сводами вековых лип, траченный молью судейский мундир, белая фуражка с дворянской кокардой, пестрееющая сетка солнечных кружков на песке аллеи, все это вперемежку с унылой песней: «Нашу бедную Параню хотят с барином венчать — две собачки впереди, два лакея позади».

— Ничего себе стишки, — заметил кооператор, — но нынче их уже не поют. Знаете, двадцатый век — век пары и электричества! У нашего брата теперь тон-

кость чувств дошла до точки: «Эх, помнишь, я пришел к тебе больной, ты ласк моих ждала – и не дождалась».

– Да, – продолжал кооператор, – жаль, что Лёв Николаич не писал стихов, а бывают прекрасные, так и проникают в сердце, особливо девичье. Позавчера Домаша пришла строгая да сумрачная. Я ей и подпустил: «Почему это грусть в прекрасных чертах молодого лица?» – «А потому грусть, – отвечала она, – что жрать охота». А я ей опять: «Мне безумно мучительно хочется счастья и слез и люблю без конца». И что же вы думаете? Ведь осталась обедать со мной, ну, я из кооперации банку шпротов прихватил, чтоб ей за обедом не обидно было.

Сергей посмотрел на брюшко кооператора, на румяные его щечки и произнес отчетливо:

– Я тоже пишу стихи.

– Ура, – завопил кооператор, – люблю студентов и поэтов. Да настоящий студент всегда поэт: «Через тумбу, тумбу раз, через тумбу, тумбу два». А позвольте запомнить вашу фамилию?.. Очень приятно. Вы потомок того, великого?

– Как же, родной сын.

– А вот Лёв Николаич в Ясной Поляне наплодил детей кучу, и все бесталанных, прямо хоть плачь. Стало быть, не всегда талант передается. Ну-ка, брат, читай свой стих.

– Сейчас, – сказал Сергей, – одну минутку. Вот, готово…

Кооператор полез целоваться:

– Вы – оазис в Аравийской пустыне. Смотри, береги себя, для будущего мы с тобой еще доживем. Ну, брат, раз доверие, так доверие. Ну-ка, подвинься. Раз, два, три…

Сергей соображал: сейчас будет показан карточный фокус, и загаданная карта окажется лежащей сверху колоды. Потом начнут играть в фанты. Проигравшему покроют голову платком, он станет оракулом. Все будут подходить к нему, касаться пальцем его макушки и спрашивать, что делать этому фанту. Он назначит одного зеркалом, другого зажигальщиком фонарей, а третьему прикажет вертеться на одной ножке.

– Вот, – сказал кооператор и отодвинул увесистый стол, единственная ножка которого, начинаясь колонкой, потом расширялась в красный овал, меньший, чем доска стола, но все-таки большой и удобный, как скамеечка для ног.

На полу обнаружилось кольцо, лежащее в выдолбленном углублении, словно ювелирная вещь в своей коробочке. Кооператор раскорячился толстенькими ляжками. Схваченная за кольцо, поднялась потайная дверка. Стали видны две-три верхние ступеньки деревянной лестницы, уходящей в черную эту дыру.

– Это могила? – полюбопытствовал Сергей.

– Нет, там все, что нужно для жизни. Не бойтесь. Я тебе доверяю. Ну-ка, брат, спускайся в склеп.

Зажженная свеча оплывала сбоку, обдаваемая кооператорским дыханием.

Внизу оказался цементированный пол и воздух, лишенный времени года: он пахнул не летом, не зимой, а вечностью: салом, конфетами, керосином. В - подвале было прохладнее, чем при спуске по лесенке, когда живот сзади насе-

дал на Сергея, а свеча в воздетой руке угрожала закапать ему макушку горячим стеарином.

Медный подсвечник был поставлен на бочонок.

– Вот здесь я уединяюсь среди дефицитных продуктов. А в этой плетенке – мараскин, я выписал его из Москвы. Мой священный принцип: дефицитное для дефицитных. Все равно на всю деревню не хватит, так стоит ли отпускать по восьмушкам да по щепоткам? Народу лучше страдать, это возвышает душу, а нас мало, мы должны поддержать себя для будущего. Здоровый желудок – залог пищеварения. Погодите, мы потом окажемся всего полезнее: доля народа, счастье его... Хотите колбаски? Довольно жирная, – вертел кооператор ножом.

– На чем это я сижу? – спросил Сергей. – Подо мной что-то твердое, с острыми углами.

– А вы встаньте и полюбуйтесь.

Кооператор развязал мешок и извлек оттуда кусок колотого сахара, похожий на Казбек.

– Разве не красота?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

– А вот тут – сахарный песок, глядите.

Он бросал пригоршнями песок на пол. При свете свечки казалось, что идет снег.

– Ну что, хрустит? – расхаживал кооператор по подвалу. – Понимаешь, стоялся я по красивой жизни. Знаешь, морозный такой денек, воскресенье, утром чаек вприкуску, филипповские калачи, благовест, тянешь китайский настой сквозь кусочек сахарку, потом в Сокольники на санках. Бубенцы, узорная ковровая полость, сияет на ней и в январе розан. А рядом с тобой тоже розанчик. С ней под ручку гуляешь среди сосенок, под ногами хруст.

– А я видел северное сияние, – сказал Сергей, – это было на углу Невского и Садовой. Над огнями «Павильон де Пари» свивались лиловые и синие полосы. Было очень холодно, и я сел в трамвай.

– Что сахар! – вопил кооператор, – это презренная проза, топчи ее, брат, не стесняйся и верь, что погибнет Ваал и вернется на землю любовь!..

Сверху в самом деле раздалось игривое щебетание.

Кооператор, держа руки так, как играют на гитаре, запел призывную песнь, аккомпанируя себе на мнимых струнах:

– Поцелуй – это миг наслажденья, поцелуй – это миг торжества.

На лесенке показались французские каблуки – светлые туфли на босу ногу. Кто-то спускался, пятясь задом и напевая. Кооператор припал к этим ножкам и, несмотря на отбрыкивание, успел влепить несколько поцелуев в плоскую ступню. Потом белые батисты взметнулись в его руках, и незнакомка гулко спрыгнула на пол.

– Ах, кто это?

— Ничего, ничего, это мой лучший друг, он не выдаст... Слышьте – не рой другому ямы.

Кооператор на мгновенье посмотрел на Сергея с таким же выражением, как только что на сахарный песок.

Сергей поцеловал протянутую ручку и сказал:

— Мне кажется, я уже видел ваше платье сегодня утром: оно стояло и то отворяло, то затворяло калитку. Вы – Леокадия, не правда ли?

— О, так мое имя уже дошло до вас? Ах вы шалун! Мы только знакомы, как странно... Скажите, вы тоже такой отшельник, как Федор Федорович? А я сюда на минутку – прохладиться. Жарища адова, так мало интеллигенции, не с кем общаться.

Она разглаживала руками эфирное свое платье, пострадавшее при стремительном этом спуске. Колечко с бирюзой проголубело на закорузлом мизинце.

— Ах да, – вспомнил Сергей, – мне уже пора.

И он начал взбираться по лестнице, провожаемый словами кооператора:

— Деликатность – это я всегда уважал. Ну, до скорого. Слышьте, подожди меня у ворот.

Наверху оказалось совсем светло. Мебель красного дерева стояла скучная, портреты вождей еще не высохли от пива.

Среди пола зияла освещенная изнутри яма, оттуда слышалось:

— ...Богиня...

— ...Сумасшедший безумец...

После этих вскриков свет погас – осталась молчаливая дыра. Откидная дверца лежала с ней рядом.

«Захлопнуть дверцу, заставить увесистым этим столом – тогда через месяц найдут там в подземелье два скелета, сплетенные в смертельной любви! А я буду ходить по деревне и хранить загадочное молчание при вопросах: куда же девался наш кооператор? Где прекрасная Леокадия?.. Ах я дурак, – хлопнул себя по лбу Сергей, – ведь там все дефицитные продукты, там можно прожить годы и годы! Впрочем, кооператор говорил, что он больше года нигде не засиживался... Писк новорожденного младенца зазвучит из-под пола. Взломают половицы, и из подземелья выйдет Лев Толстой, обросший длинной бородой, и Леокадия высокочит эдакой Мадонной с младенцем на руках. Младенцу нарекут имя «склеп», или, как здесь говорят, «склёт»... Ах я дурак, но ведь воды там нет. Они будут умирать медленно, мучительно, пересохшие уста напрасно станут искать поцелуйной влаги. Мараскин не прохладит их. Несомненно, в подполье молчаливая Леокадия разучится говорить. Но кооператор ножом станет рыть подкоп, и кроты вылезут, шурясь от солнца, где-нибудь на хлебном поле, среди жнущих беременных баб. Или вдруг подземный источник до смерти напоит их, и они будут плавать, запаянные в подвале, как рыба в консервах... Вообще, я на краю гибели, – думал Сергей, глядя на черное затихшее отверстие, – не успел я приехать, как уже готов совершил преступление. О Лев Толстой, спаси меня, ведь это твой уезд!»

Сергей выбежал прочь из комнаты на вольный воздух.

Но на крылечке стало еще тосклинее. Лошадь без всякого интереса щипала

запыленную траву. Бессмысленные, отвратительные куры пили воду из помойной плошки. Но дальние поля сияли, затопленные солнцем. Федор сейчас там, он работает и, вероятно, утирает пот рукавом. Там аллеи с решетчатыми деревянными стенками и сводами покрыты частыми побегами и густыми листьями виноградных лоз, так что ходишь в них, словно у себя в квартире по коридору; громадные виноградные кисти, спустившиеся со сводов внутрь, манят к себе глаза и уста, а устроенные цистерны с разливающейся по каналам водой благодетельно освежают расслабленные дневною жарою члены.

Сергей сел на приступочке, вынул из кармана книжку. Среди окрестного округлого пейзажа готический шрифт показался особенно мелким, острым и крытым черепицей.

Баба плюнула, заметив, что кооперация заперта, и попросила Сергея прочитать бумажку, висящую на дверях.

– Закрыто на обед? Управы на него нету.

Между тем в воротах кооперативного дома показалась на телеге Леокадия. Она сидела на чем-то довольно внушительном и прикрытом соломой. Сергей поспешил помочь ей и придержал скрипучие створки ворот.

– Нет, нет, не смотрите на меня: я сейчас не в авантаже – солнце неприличное, – Леокадия натянула себе на лицо косынку и обдернула короткое платьице, прикрывая солому и выставляя напоказ голые свои ляжки.

– Вы прекраснее Маргариты на соломе.

– Шутки в сторону, я вам не Маргарита. А, понимаю, это из ваших стихов, – мне Сергей Сергеич говорил. Дайте, дайте мне почитать, я люблю веселое. Но сейчас некогда, прощайте! Н-но, тварь! – подхлестнула Леокадия лошадь.

– Умоляю вас, скажите, как мне вернуться домой?

– Однако вы какой-то дорогой пришли же сюда в лавку? Комик вы противный.

– Да, но меня до смерти напугала там собака.

– Молодой человек, вы, я вижу, не промах: и собаку как ловко приплели. А меня вы не боитесь? Ну, так и быть, подвезу, но только я рассчитываю на вашу скромность.

Леокадия вытянула голую свою ногу, указывая Сергею местечко на краю телеги.

– Люди злы, я уже с четырнадцати лет никому не верю. Н-но, тварь! Почем знать, может быть, и у вас есть тайные замыслы. Ведь не для того же, чтобы стынуть в одиночестве, приехали вы сюда? Да что вы так упорно смотрите на меня, безумец?

– Я смотрю, на чем вы сидите. Вам не колко?

– Я не понимаю ваших двусмысленностей. Еще одно слово, и я сброшу вас с телеги.

– Да нет, мне показалось, что вы сидите на том же, на чем недавно сидел я... там, в подземелье...

Глазам Леокадина мужа, вышедшего на крылечко встречать подъехавших, представился Сергей, сталкиваемый с телеги острым каблучком Леокадии.

– Ну что, уже вернулся с работы?

Тот утвердительно кивнул головой и удалился обратно в комнаты.

— Где ты, Моя невинность? — кричала Леокадия. — Поди сюда, мне одной не управиться. Ну, прощайте, идите все прямо, а потом направо. Постойте, я видела из окошка, как вы шли в коопération, но нарочно не остановила — думаю, пускай пройдется. В Минске говорили, что мне свойствен легкий демонизм, как, по-вашему? — загадочно усмехнулась Леокадия и протянула руку Сергею так высоко, что явно она предназначалась для поцелуя.

— Ах да, — припомнил Сергей, — сегодня у Федора Федоровича вечеринка. Может быть, и вы придете?

— Чтобы я пошла в гости к молодому человеку? Да вы с ума сошли! За кого вы меня принимаете?

Уходя, Сергей видел, как Моя невинность вышла из дома, подошла к телеге, вытянула из-под соломы увесистый куль и, предшествуемая Леокадией, скрылась во внутренних покоях.

Церковь — куб семнадцатого века, с приткнутым к нему ампиром колонн, осталась позади. Сергей вступил в фруктовый сад, окружавший Федоров флигель.

Тени мало было и здесь от невысоких и редко рассаженных яблонь, но как раз в таком саду могли бы тянуться полновесные дни. Вдобавок здесь было полное единение, так как деревенским запрещено было вступать в эти пределы.

Сравнивая с Петергофом, Сергей находил, что средняя Россия, по которой он сейчас гулял, страна гораздо более южная. Можно было без опаски прилечь на несырую землю. Вереска и бруслики не было, рос здесь бурьян, и кружками чернела почва под яблонями.

Сергей прогуливался среди стволов, обмазанных белым. Отягченные ветви яблонь расчертывали небо затейливыми голубыми фигурами. Посредине питомника водоем был обсажен волосистою ивою.

Когда Сергей опустил руку в воду, она оказалась нагретою и пахнущею яблоками. Два-три плода, словно варенье, плавали в ней. Это походило на компот. Поодаль в желтолознике был устроен шалаш. Там, в уголке, постелено тряпье, пропахшее не только Еленой, но еще и веселым кисловатым запахом, потому что кучки пестросортных плодов душно тлели там рядом.

Хорошо сидеть и перебирать бумажонки — выписки, вырезки, когда в ящике письменного стола лежат загнивающие яблоки.

— Уважаемый, здесь ходить нельзя. — Сергей проснулся от руки, обнимавшей его.

— Может, я не так говорю, как надо; ты, конечно, старший, — продолжал садовник, — но с нас взыскивают. Сам понимаешь, у нас тут сунслеппер, розовки разные, плодовитка, барвинка, коричник, свинцовка — соблазнов много.

— Но, товарищ Ермолов, как же иначе мне ходить в шалаш, не по воздуху же летать? Это умеет только крылатый лукавец. А почему у тебя, Гриша, фетровая шляпа? Для деревни это редкость.

Гриша близко подсел к Сергею:

— Эту шляпу принесла девушка из Долгого.

— Из Долгого? Это туда был продан яспополянский дом?

— Да, но его уже разобрали на кирпич. Так вот, принесла к сапожнику и велела из нее сделать сапоги на зиму. А сапожнику стало жалко. Он меня любит, вот и подарил мне, а девушка ругалась, да с головы уж не снимешь. Деревенская ломь смеется, а по мне, хорошо. Жаль, что ее в церковь нельзя надевать. У баб-то платочки яркие, а нашему брату приходится с непокрытой головой стоять. А поп у нас строгий: когда подходят девки к кресту, он, которую заприметит, возьмет да по голове крестом как стукнет и начнет браниться на всю церковь: «По-городскому стали одеваться! Юбки по колено, ноги, как полено. Тварь! Богородица не так ходила».

— Спать хочется, Гриша, — отвечал ему на это Сергей, — не знаю, куда приткнуться, везде жарко. Скучаю я, а Федор все еще на работе.

— А ты иди на сеновал, там удобнее, чем в шалаше.

— Ну, прощай пока.

Сергей прошел мимо балкона. Бабушка сидела, окруженная хозяйствкой и еще какой-то старухой. Они разговаривали разговоры, впрочем, старуха молчала. Очевидно, это была старая побирающаяся по деревне дворянка, которую Федор называл «Исадием ада». Название привилось, бабушка тоже именовала ее Исадием, и слово это стало казаться нежным. Исадие отправлялось с утра по домам, приходило, садилось и моментально засыпало. Ее будили и заставляли рассказывать, что она видела во сне. Она гадала и на картах, суля исполнение желания, письмо и небольшие деньги.

— Федоров приятель приехал, — слышалось с балкона, — и как будто воспитанный. Не то что буровой мастер, — тому предложишь: не угодно ли вам еще тарелочку окрошки, — так прямо и говорит: «Да, угодно». А мы сегодня без обеда, так уж извини, Исадие, завтра приходи.

При слове «обед» Исадие проснулось, стало отплевываться и уверять, что видело во сне свадьбу: бабушку венчали с церковным старостой.

Хозяйка заметила мимоидущего Сергея.

— Ты бы лучше вот кому посулила свадьбу.

— Ему-то? Дурак, кто женится. Умница, которая замуж выходит, — поджало губы Исадие. — Ну-ка ты, молодчик, покажись. Хочешь на мне жениться? Ты не смотри, что у меня зубов нет, зато валетов у меня в колоде много, самый мой нелюбимый — червонный. Всегда с трефовой дамой ложится. А я его возьму да отложу прочь. Лежи-ка здесь, голубчик, подальше; вот оно — исполнение желания. С дамой-то, может, кто другой ляжет.

Исадие внезапно заснуло перед опешившим Сергеем и негодующей Макаровной. Разговор перешел на другие предметы:

— Макаровна, нынче вы горох сеяли?

— Самую малость. Да, к вам давеча Ариша приходила, масло предлагала по девяносто копеек. Гриненник надбавила. Говорят, шитовская хозяйка все масло возьмет, — как муж яблоки продаст, гак, говорит, расплачусь.

— Шкура.

— Да разве с нашим бабьем сладишь? Бабы и есть. Что ваш Федор здесь не женится, правильно делает. Покойный муж тоже с осмотрительностью действо-

вал – купит невесте ландрину, угощает: «А ну-ка, прикиньте три фунта изюмцу по тринадцати копеек. Да вы не волнуйтесь, кушайте, пожалуйста. А ну-ка, пять аршин ситчику по одиннадцати копеек». А копеечка-то где? Извините, нам не подходит. Тогда все дешево было: пуд мяса за рубль за двадцать. Нынче где он, ландрин?.. А с вами договориться надо, – обратилась она к Сергею, – долго расчитываете пробыть?

– Три дня.

– В Туле бы с вас в гостинице по пятерке запросили, ну а я с вас недорого возьму.

– Да ведь он у Федора в гостях, – вмешалась бабушка.

– Все равно. Вот он по балкону ходит, пол снашивается, в комнате ночевать будет.

– Нет, Федор писал мне, что на сеновале.

– Эх вы, петергофские, во всем у вас экономия. Счастье ваше, что у меня живете.

При слове «бабы» Исчадие снова проснулось и сказало:

– Ничего не помню.

– Как так, – полюбопытствовал Сергей, – говорят, под старость память, наоборот, обостряется? Неужели действительно надвинется непонятная ночь?

Исчадие брызнуло слюной, в ее рту не оказалось не только зубов, но и десен: это была коричневая дырка, не окаймленная губами. Из нее исходили звуки: «Оля и Поля бегали в поле, а Лидочка Воронцова давно уж в могилке».

– Ты чего мне здесь перед глазами вертишься? Полезай-ка в мою колоду – я вас всех живо стасую, – накинулось Исчадие на Сергея.

Тот ощущал себя тонким, состоящим из картона, с синей рубашкой сзади и немного потрепанным, с ободранными углами, так как в него часто играли.

Сергей опустил глаза. Как всякий настоящий валет, он вместо ног повторялся в опрокинутом виде и в нижней своей половине – словно отражение в воде или антиподы, живущие на округлом, как двойное, сросшееся брюшко валетов, земном шаре. Ему стало ясно, что сейчас в Америке живет его валет, такой же безногий, как и он.

Бабушка объяснила:

– Уйдите, не раздражайте ее понапрасну.

Сергей прошел к сеновалу и повалился на сено.

Соломенная крыша сенного сарая поддерживалась разными балками и пальками. Иные не были обстроганы, и на них белела кора. С одной балки свешивалась вниз ветка с листиками. В прорехи виднелось небо, и весь сеновал снаружи был охвачен солнечным жаром.

В получьме мухи теряли ярость и довольствовались мирным расхаживанием по лицу лежащего.

Если в Эрмитаже, в шатровой зале, леть на пол, то лощеный паркет, который обычно всего более там бросается в глаза, перестанет быть виден. Картины, размещенные на боковых перегородках, тоже станут невнятными со своими низинами, болотами, мельницами и ручьями. Можно вдоволь наглядеться на потолок, пока музейный сторож не попросит встать.

Посыпалось шамканье туфель, и бабушка появилась со свежими, сложенными вчетверо простынями.

— Слезьте-ка, дружочек, на минутку: надо вам с Федей постелить постель засветло. Да, чтоб не забыть: побожитесь-ка мне сейчас же...

— Как, бабушка, вы требуете клятвы? Но в чем?

— Что вы не будете здесь курить. Долго ли до беды! Хозяйка потом тысячи три спросит, сами видите.

В самом деле, сеновал был заполнен, кроме сена, еще необмолоченным хлебом и соломой. Все это золотилось в тех местах, куда падал через плетеные стеньки свет.

— Вспыхнет, так и выбежать не успеете, — продолжала бабушка, хлестко набрасывая белый полог на высокое сено.

Сергей поставил на днище перевернутой бочки зеркало, мыло и бритвенницу.

— Скоро ли вернется Федор?

Бабушка вышла из сарая, заслонилась скелетной рукой от света. Прозрачная прожелтела кожа между косточками.

— Теперь уж скоро, всегда в шестом часу возвращается. Пойду насчет самовара, а вам спасибо за подарок.

Сергей присел у подножия сенного ложа. Тульский пейзаж виднелся через растворенные ворота сарая. Дети копошились у канавки. Пятилетний мальчик плевал в лицо трехлетней девочке. Та после каждого плевка начинала реветь, но затем, утервшись, с любопытством ждала следующего. Белобрысый настойчиво махал над головой длинноющим кнутом. В воздухе свивалась петля, и раздавалось хлопанье. Неосмотрительно задевал он близстоящую яблоню, и плоды шлепались оземь. За стеной сеновала.

ГЛАВА ПЯТАЯ

слышалось чмоканье — это стреноженная лошадь, свободная от полевых работ, колченого скакала, вздыхая о более свежей траве.

Сергею стало страшно. Он перебирал бабушкины рассказы о злых людях и о Мотеньке: лицо, испещренное рябинами; он мажется и пудрится пудрой «Джиоконда». Ездит в Тулу и торгует там шинами. Не пьет, не курит, не ругается, зато «жаждет новых ощущений», для чего исполняет роль мясника на деревне. Когда режет теленка, то сперва, приставив нож к его детской, нелепой шее, запевает:

Ты жива ль еще, моя старушка?

Жив и я, привет тебе, привет! —

и при этом слове вонзает нож. Придя в лавку, Мотенька потребовал себе какао.

— Разбогатели, Митрий Петрович, пить будете?

— Дурачье, это только деревенские пьют, а в городах его нюхают, — и Мотень-

ка тут же раскупорил коробку, взял понюшку какао и вдохнул. Коричневое чиханье наполнило лавку. Все посторонились. Мотенька торжествовал:

– Вот он – хмель для кудрей, ощущение новое!

С тех пор он постоянно носит с собой коробочку. Предлагал девицам. Те, послюнявив палец, пробовали на вкус темный этот порошок, но находили, что горько.

– Так вам уже до свадьбы горько? – лез Мотенька целоваться.

Лихо пляшет вприсядку «фокстрот», но последнее время стал отламывать коленца, и девки наотрез отказались с ним плясать, несмотря на городские его прибаутки: «Мне сказали на вокзале, что девчонки дешевы, самые хорошие. Все пижоны наряжены в пиджачишки джимые, все девчонки обольщены, которые любимые».

– О чем мечтаете, Сережа? – говорил Федор, входя в сарай.

– О Мотеньке, Федя.

– Вот была охота. Ведь это социально чуждый элемент.

– Я хочу с ним познакомиться.

– Ну нет, не компрометируйте нас на всю деревню: вы-то скоро уедете, а мне потом придется расхлебывать.

– Я боюсь за вас, Федор.

– Нет, уж вы лучше за себя бойтесь. Все это у вас от безделья. Не могли даже свои вещи как следует прибрать: в чемодане у вас полнейшая геология – грязные носки рядом с зубной щеткой, между пластами – расселина, заполненная обломками различных пород. Посмотрели бы вы, как почтительно обращается со своими вещами Фильдекос: с уважением вдевает он запонки в рукава рубашки, ценит зажимку для галстука, с достоинством завязаны у него шнурки на сапогах.

Федор хворостинкой дразнил толстого Фингала, который приплелся его встречать.

– Федор, бесстыжий гад, что вы делаете с моими стихами?

– Я хочу научить пса петь эту песенку – говорят, у слепых очень тонкий слух. А что я бесстыжий, это верно. Спросите-ка на деревне. Я по приезде прошелся как-то в белых московских брюках, так все встречные плевались.

– Погодите, Федор, прежде всего мы должны выработать программу дня. Две экскурсии: на Куликово поле и в Ясную Поляну; потом основательное ознакомление с деревенским бытом, остальное время – отдыхать.

– Хорошо. До Куликова здесь верст шестьдесят. Я достану пижонку – так здесь называют мотоциклетку, – вас посаджу в пристяжную лодочку. Но только отдыхать вам сейчас не придется. По случаю вашего приезда я решил вымыться. Идите-ка работать; надо и вас приспособить.

Федор указал на свое лицо и руки, запыленные и грязные. Глина облепила жесткую его прозодежду.

Началась работа Сергея, то есть обряд умывания Федора. Это происходило на лужку, подле сеновала. Сергей вытягивал из колодца звонкие ведра. Намыленный Федор плескался, отдувался. Не обошлось и без фырканья, но боязнь Сергея была смыта этой водой.

Когда Федор отнял полотенце от глаз, перед ним на бричке сидело его начальство, возвращающееся после обезда работ.

— Это мой приятель Сергей, — отрекомендовал Федор, — а это мое Обожаемое начальство.

— Федор Федорович, голубчик, — говорило Обожаемое, — извиняюсь, сегодня обедать у вас не буду, а вот вам спешная работка, чтобы к завтрашнему дню обязательно. Дело-то плевое: выписать данные, начертить поперечный разрез шурфа, его размеры и направление квершлага. Наклонные штреки тоже.

Федор попытался протестовать.

— У меня сто пять дудок, — говорил он, — как же так все это к завтрему сделать? Что же вы, Обожаемое, раньше думали?

— Я, Федор Федорович, сам работаю до потери сознания, — возражало Обожаемое, теребя бороденку, — не щажу своих сил, и все для социалистического отечества. Чтоб мне в двадцать четыре часа! Мобилизуйте кого хотите — бабушку, приятеля, но чтоб мне это было сделано. Я, можно сказать, люблю работать, — и Обожаемое в упор посмотрело на Сергея.

Тот потряхивал ведром, глядя в сторону.

Стало ясно, что Федорово Обожаемое начальство думало так: «Что-то здесь есть; молчит, а какое-то слово, говорят, сказал по-иностранныму и с Федором на работу поехал. Да разве англичанин станет стихи писать? Не иначе как рабкор какой или селькор».

Прощаясь тогда с Сергеем, Обожаемое сказало:

— Позвольте вашу уважаемую...

— Что?

— Вашу уважаемую руку, говорю. Не рука, а золото, как же, читал, читал!

Сергей выронил ведро с водой. Федор подскочил, босые его ноги оказались в студеной луже, впрочем, быстро впитавшейся в траву.

— Вот вам и фунт изюму, Сережка. А тут, как нарочно, эти гости сегодня, и обеда нет, — все деньги пошли на них... А есть хочется до смерти. У вас нет денег, Сережка?

— Только на обратный отъезд.

— Вот это идея: я возьму их у вас, вы не уедете и будете жить у меня десять лет.

— Почему десять? А если я хочу у вас двадцать лет жить?

— Вас никто в Петергофе не узнает, если вы вернетесь туда сорокащестилетним!

— Это правда, значит, мне придется уехать через три дня, — тогда узнают. То есть через два дня, — этот день уже кончается.

— Быстро, увы, проходят дни счастья, — заголосил Федор, хлопая Сергея мокрым полотенцем по носу.

День в самом деле был уже на ущербе. Стоящий на травке самовар розовел, озаряемый закатом. Бабушка сапогом раздувала его. Скотина мычала, возвращаясь с полей.

Из кустов появились фигуры, сорокалетние и, по-видимому, уже нагружившиеся. Жоржик Гусынкин нес за ними увесистый ящик.

— Беда, — вопили они, — все девки заняты: нынче Фильдекос уезжает, так у них какой-то там девичник. Зовут всех к себе. Но уж раз мы тебе обещали, так сперва сюда, а потом айда всей гурьбой к ним.

Бабушка поспешила укрыться в комнату. Ящик был выгружен на стол.

— Вы что ж не едите шпротов да и по части водочки слабовато?

— Я их терпеть не могу, — оправдывался Сергей.

— После обеда — оно понятно, сыты, значит. Тогда пивцом не худо прохладиться.

Кооператор старательно пережевывал маслянистые шпроты (рыбий хвостик слегка виднелся у него в углу рта), причмокивал и приговаривал:

— Кто хочет жить, тот пусть ест медленно, надо каждый кусок пережевывать двадцать четыре раза, по числу часов в сутках.

— Налей бокал, в нем нет вина, коль нет вина, так нет и счастья, в вине есть страсть и глубина, — запел Алексашка.

— Ну, Федор, за Дуню! Иль за Домашу?

— За всех, — отвечал Федор.

— Всех разом нельзя. Этот стаканчик за Феню, а этот за Дуню.

Кооператор начал перечислять, и вышло восемь стаканов. Руки Федора стали дрожать.

— А ты не спорь, ты повинуйся, — подливал кооператор водку и пиво, — я уж свое дело знаю. Знаешь анекдот насчет «спокойно»? «Спокойно, снимаю!» — ничего себе ловкач. А то вот еще...

Алексашка в свою очередь рассказал анекдот из румынской жизни. Федор покраснел. Уход его не был замечен: уже рассказывалось о том, как где-то под утро варили крюшон из гречневой каши и налили воды, в которой мылась посуда.

В темной комнате бабушка прикладывала мокре полотенце ко лбу лежавшего Федора. Сергей достал пирамидону.

— Только не говорите им, Сережка, а я сейчас.

— Ничего, полежите, они и не заметят.

— А вы вернитесь туда и займите их разговорами, а то неудобно.

На балконе уже зажглись свечи, облепленные вечерней мошкой. Шло чоканье, и мохнатая бабочка трепыхала на столе в пролитой пивной луже.

— Тоска! — вопил кооператор, пальцем разводя Средиземное море, — ведь вот была жизнь, и не стало жизни. Бывало, «Бэль Элен» в Каретном ряду, в Эрмитаже... Медынцева тогда пела, выходит вся в трико, здесь всюду стеклярус... Голос немного сиплый, но занозистый... Хорошая страна — древние греки: всюду лебедя, дамочки, синева... Орест там ходила бы без трико, со стеком в руках... Пышечка тоже хоть куда: «Дзы! Ла! Дзы! Ла! Дзы!»

— Позвольте, — вмешался Сергей, — вот и в этом году в Эрмитаже производили опыт: катили по паркету, осторожно, чтобы не задеть малахитовых ваз, штанги и гири к ним, знаете, круглые такие диски, десять, двадцать фунтов: они потом навинчиваются. Вошла кучка физкультурно одетых юношей. Стали глядеть на картины и выжимать штанги. Ученые записывали влияние «Тайной вечери» на мускульную энергию. А насчет древних греков, Сергей Сергеевич,

так это неправильно, – у них сахару не могло быть. Это только после открытия Америки...

– Ну, вы мне американами очков не втирайте. Я и сам кончил Московский коммерческий институт... Уж у кого другого, а у греков его было хоть отбавляй... Чувствую, что мне бы родиться на мраморе, а тут вот пропадай, да и жена меня, понимаешь, бросила. Вот ты думаешь, я здоровяк, а может, я сплошной комок нервов? Где Волконские, где Шереметевы? Искалечило нас всех.

– Мне двадцать лет, и ждет меня корона, – подмигнул Алексашка. – А где же Федор Федорыч?

– И меня тоже жена бросила, – заторопился Сергей. – Странный такой случай – не то я его где-то слышал, не то он со мной случился. Дело в том, что у меня есть жена.

– Это не диво, – потягивал Алексашка из рюмки, – и молоденькая небось?

– Пожалуй, да, так лет сорока восьми.

– То-то вы такой серьезный.

– Так вот, я и пошел в банк, вижу множество зарешеченных окошечек. Сверху плакат: «Прежде чем продавать облигацию, спрявься, не выиграл ли ты». Спрашиваю: «Где у вас тут разменная касса?» – «А вам на что? – продаете или ссуду хотите получить под залог?» – «Да вот хочу разменять одну сорокавосьмилетнюю на две двадцатичетырехлетних».

Кооператор и Алексашка фырнули пивом:

– Ну и приятель же у Федор Федоровича! Такого никакая жена не бросит.

– А вот, представьте, бросила.

– А, так ты понимаешь, брат, что это значит? Нег, обида-то какова! – ударил кооператор себя в грудь. – Ты пойми, все люди, которые дожили до девяноста лет, были, примерно, женаты. Я тебе потом статистику покажу.

– Да, да, – продолжал Сергей, – я вот сюда собрался ехать, а она возьми да брось меня.

– А с чего бы? – заинтересовался Алексашка. – Вы человек молодой, с виду интеллигентный.

– Из-за очередей бросила, – простонал Сергей, наливая собеседникам полные стаканы водки. – У нас дом – полная чаша, совершенно, понимаете, полная, всего вдосталь. Но не может она спокойно видеть очередей: ее так и подмывает... «Как же, – говорит, – ты моей работе мешать смеешь? Нужно же мне узнать, откуда в седьмом номере вчера на обед судака брали и из-за чего Шурочки своего хахала огрела». Собрался я уезжать, она и спрашивает: «А что там, в Тульской губернии, есть очереди?» – «Нет, – говорю, – там в кооперации мой лучший друг и тезка, Сергей Сергеич». – «Ну, тогда не поеду», – говорит, и, понимаешь, так-таки и бросила.

Все трое собеседников поникли над столом.

– Брошенные мы, несчастные мы, – стонал кооператор. – Фильдекос там теперь с девками прохладается, а Леокадия у себя дома спит с Невинностью. Положила голову на подушечку, закрыла беленькие свои глазки и спит, голубица.

Тогда запели протяжно и уныло, глядя в обступившую балкон тьму. Коопе-

ратор рывком брал на гитаре неслыханные аккорды: «Капают, как слезы, капли испарений, тени двух мгновений, две увядших розы. Счастья было столько, столько, сколько капель в море, сколько, сколько листьев на седой земле, а остались только, только две увядших розы в синем хрустале».

– Го-го, – раздалось гиканье, жилистые волосатые руки протянулись из тьмы к столу. Бутылка опрокинулась, стеклянные дребезги зазвенели.

– Айда к девкам, – горланили буровые мастера.

Кооператор с Алексашкой были подхвачены под руки.

– Мы с Федей сейчас вас догоним, – сказал Сергей.

Все виденье исчезло в темноте.

Тогда выполз из комнаты и Федор с полотенцем на голове. Бабушка плелась за ним вслед, став столетней от бессонного этого вечера.

– Погоди, Федя, дай убрать.

– Есть, бабушка, хочется до смерти.

– Да, есть хочется, а кто все деньги на это убухал? Чем мы завтра обедать будем? Объедками этими, что ли?

– Федор, ну что, вам легче? – спросил Сергей.

– Совсем прошло, да я и не люблю лечиться.

Федор положил руки на стол и тотчас же принял их. Липкий стол пахнул городской пивной, горохом и воблой.

Федор, размотав свою чалму, стал махать ею, чтобы разогнать недвижный воздух.

Решили выполнить приказание начальства. Керосиновая лампа была зажжена, разведочные журналы разложены на столе.

– Нет, бабуся, пес тебя дери, у тебя ничего не выходит, хоть ты и мобилизована, – нельзя проводить дрожащие линии. Иди-ка лучше разогрей самовар.

С лучинкой в руках бабушка бормотала:

– Неужто война с Китаем?

– А вы, Сергей, совсем бездарны. Разве это похоже на дудку? Знаете что, почитайте-ка мне вслух, ведь черчение – это почти механическая работа. Какие книги вы привезли с собой?

– Только три. Одна очень страшная, там говорится, что земля надвигается. Другую вы знаете, третья – русский перевод.

– А, та самая, которую мы с вами начали читать еще тогда, в Петергофе? Желтенькая, маленькая? Но сейчас лучше читайте перевод, оно понятнее.

Оссиан, Лобзай и Фингал выползли из-под крыльца и улеглись всклокоченным ковром у ног Федора. Вертикальные линии стали появляться у него на бумаге.

– Знаете что, Федор, нарисуйте-ка и себя на дне дудки.

– Не лезьте, Сережка, не мешайте работать.

– Хорошо, – отвечал Сергей, – только скорей кончайте, а то ночи не хватит на все сто пять дудок.

– А вы тоже кооператор, Сережка. Это я нарочно тогда, чтоб подразнить Обожаемое. Я знаю его характер, у него всегда спешка, всегда гонка. У меня заранее были готовы все чертежи, а эти две дудки я сейчас кончу.

— Да ты у меня себе на уме, весь в меня пошел, — сказала бабушка, целуя Федора, и стало видно, что они действительно похожи, тем более что Федор сидел желтый от недавней головной боли.

— Хорошо читает твой приятель. Маргариту до слез жалко, а этот, как его, такой нехороший. Однако самовар поспел, детки. И я, уж так и быть, с вами чайком побалуюсь.

— Я тоже не дурак выпить, бабуся, а рассказцы такие могу загнуть, что даже Фингал покраснеет.

— Ну, паразиты, идите кушать.

Федор бросал вверх куски хлеба огромным пзам, прыгавшим до потолка балкона.

Бабушка исподтишка перекрестилась, садясь за стол.

— Отчего у вас такие чертики в глазах, Федор? — спросил Сергей.

— Не знаю, от пирамидона, должно быть, а может, от гостей, от вашего приезда, от Маргариты. День-то сегодня выдался такой необычайный — с утра кутерьма. А еще, может, оттого, что на меня по вечерам нападает антирелигиозное настроение.

И Федор, прихлебывая чай, стал изображать похороны: гнусаво пел он «Господи, помилуй» и сразу же переходил на похоронный марш. Это означало, что церковные похороны сменились гражданскими.

Бабушка при звуках Шопена ожила:

— Вот и у нас в Козихинском переулке на Пасху артисты пели. Иной раз даже из Большого театра, и такой концерт разведут, что ничего не разберешь, потом уж только сообразишь, что, должно быть, пели «Ангел вопияше».

— Это очень подходит к вам, Феденька, — заметил Сергей Федору, голосившему из всех сил.

Закончив пассаж медных труб, Федор пустился рассказывать:

— В церкви передают свечи к образу, стучат по плечу, стоящий впереди ставит не к тому образу, податель свечки ругается...

— Не передавайте стакана, это вам. Нехорошо ему пить такой крепкий чай, он еще мальчик, да еще на ночь.

— Не стесняйте меня, пожалуйста, мне на той неделе двадцать два года, — писал Федор, изображая флейту. Потом, кончив высокую ноту, накинулся на бабушку с поцелуями: — Ах ты, старуха моя, пес тебя дери, а ты в екиманию веришь?

— В какую такую екиманию?

— Ну, в Иоакима и Анну.

— Как не верить, в них всякий верит.

— А я вот не верю.

— Ах ты негодяй! Смотри, повстречаешь какую-нибудь такую Аннушку, тогда и сам поверишь.

— А вот не поверил же, хоть и повстречал здесь разных Дунь, а в городе Марусь. Значит, твоя екимания и не верна.

— А ты не спорь, твоя жизнь еще впереди. Беспременно Аннушку встретишь.

— А что, если я их обоих встречу: и Иоакима и Анну?

— Замужнюю, стало быть? Только бы тебе языком трепать. Отправлялся бы лучше поскорей на сеновал, уж поздно.

— Спокойной ночи, бабушка, — сказали Федор и Сергей.

В темноте надо было миновать покатый лужок между домом и сеновалом.

— Феденька, закрывать ворота? — спросил Сергей, входя в сенной сарай.

— Да, лучше, а то еще заберутся ночью сюда паразиты трудящих масс.

Сергей обеими руками потянул на себя несуразные створки ворот. Стало еще темнее, а зажигать огонь на сеновале было нельзя.

— Где вы, Федор?

— Здесь, идите на мой голос, — аукался Федор, как в лесу.

Сергей полз на сено, и от его карабканья постель, устроенная бабушкой, пришла в негодность: простыня оказалась под сеном, подушка — в ногах. Впрочем, быть может, это произошло и оттого, что Федор, лежа на сене, стал делать перед сном шведскую гимнастику.

— Ну, теперь давайте лежать тихо и разговаривать. О чем бы?

— Конечно, о женщинах, так полагается: ведь мы с вами молодые люди. Мне представляется такая картина, — говорил Федор: — кожаный кабинет, мягкие абажурные лампы. Муж сидит за письменным столом, перелистывает книгу. На диване жена, одетая по-вечернему, — они сейчас едут в театр слушать оперу или в гости на веселую вечеринку. Длинная юбка, высокий, до подбородка, воротник. Ей не меньше тридцати восьми лет. Ведь молоденькие Муруси и Симочки — это все такие дурочки, я совершенно теряюсь с ними. Чем женщины больше одеты, тем лучше. Однако ужасно хочется курить.

— Да, но мы обещали хозяйке. Может быть, нам лучше было бы спать в комнате?

— Нет, как можно. Вы подумайте, Сереженька, как хорошо прожить все лето и почти не бывать в комнатах. Довольно мы зимой будем заперты в коробке. А здесь, на сеновале, вы замечаете, Сережа, как воздух гуляет сквозь плетеные стенки? Лицу прохладно, а телу тепло от сена. При социализме вовсе не будет комнат. Мне кажется, я уже теперь чувствую будущий свежий воздух. Знаете, Сережа, мы как-то с Володей были на бегах в Москве. Ну, конечно, жокеи, кепки, но главное, лошадки, крепенькие трехлетки, четырехлетки, они так и рвутся вперед. Бросили бы и вы, Сережа, ваши финтифлю, разве сено не лучше?

— Да, — отвечал Сергей, — и пахнет, и колется. Я различаю под собой стебельки клевера, тимофеевки, придорожника и антоноцвета.

— Это уже третий покос за лето, — сказал Федор. — Я бреюсь чаще, мне раз в неделю надо уж обязательно.

— А мне через день или даже каждый день, но кожа не выносит: не то порезы, не то ссадины. А скажите, Федор, что вы чувствуете на дне дудки? Отчего вы ворочаетесь? Может быть, нам было бы лучше спать в саду, совсем под открытым небом?

— Нет, Сережа, я не люблю простора сверху, он меня стесняет.

— А вы замечаете, Федя, вот мы с вами сейчас не курим, и это дает особый привкус нашему разговору.

– Ну, это ваше вечное копанье, Сережа, это не по мне, я больше люблю математику.

– Что же, Феденька, ведь это тоже «теория бесконечно малых».

– Значит, это вроде вашей «теории авантюр»?

– Да, Федя, понимаете, приходится ездить из Петергофа на заседания. Спутники, коровы в окне, оттенки неба. Потом, вернувшись домой, составлять протоколы. Вот вам мой петергофский случай двадцать первого июня...

– Проклятые бесконечно малые, их тут хоть отбавляй!..

– Что вы меня ругаете, Федор?

– Да не вас, а блох тут пропасть, никакого персидского порошка не хватит на все сено. Ну, рассказывайте да поподробнее. У вас, должно быть, каждый месяц все разные случаи?

– Так вот, заглавие: «Поездка в город и обратно». Туда: вагон почти исключительно занят не то трудовой школой, не то интернатом. Девочки и мальчики различного возраста, две учительницы. Очевидно, возвращаются с экскурсии, загорелые, голодные (говорят о столовой). У окна один из самых старших, уже в пиджачке, сереньком, под ним летняя рубашка с открытым воротом и каким-то переплетом на груди, с продетой зеленой ленточкой, громогласно, на весь вагон, устраивает, как он говорит, диспут: «Конечно, в нашем возрасте еще невозможно серьезное чувство, так, бывают вспышки. Вот ты, например, работаешь над заданием, тебе хочется, чтобы оно вышло получше»... Девочки с довольноным видом оправляют платки. Меньшие мальчики вставляют книжные замечания. У семнадцатилетнего инициатора диспута глаза бегают по сторонам, видно, он делает лицо для младшего возраста... Обратно: поезд еще не отошел. Наискось против меня рабочий парнишка (большие загрубелые руки, довольно конопатое лицо, лет так девятнадцати, двадцати, в общем, ничего особенного). Мой сосед – тоже парнишка, примерно такого же вида. Разговаривают они промеж себя с прохладцей, покупают грошевые конфеты и грызут их. Вдруг оживление... – «Смотри-ка, а ведь это твой комендант», – говорит мой сосед... Парнишка напротив оживляется, вскакивает, приникает к окошку. На перроне у окна появился человек лет под тридцать, в затасканном френче, с потертую шинелью в руках...

– А я бы и не обратил внимания на такие мелочи, – сказал Федор.

– Феденька, авантюры на каждом шагу.

– Хороша авантюра, нечего сказать, ведь вы только зритель.

– Конечно, но с меня довольно. Я потом целую неделю сочиняю прошлое и будущее, сталкиваю друг с другом.

– Раз вы авантюрист, Сережка, вы еще, чего доброго, устроите смычку со здешним кулачьем.

– Да, Федор. Для этой цели я иногда не ем по суткам, иногда сплю весь день.

– А я люблю свою работу, все-таки и я строю будущее.

– И прекрасно, Федор. А вот вам еще одна моя авантюра: рабочий воскресный отдых в Петергофе... Конец дня. Лужайка, духовой оркестр. Некоторые пляшут «шерочка с машерочкой». Научные сотрудники презирают. Поодаль – авто-

мобиль кооперации. Продают булки с колбасой внутри... А действительно, какие ядовитые здесь блохи...

— Это от паразитов трудящих масс, они залезают днем на сено.

— Так вы видите, Федор, что я люблю людей.

— У вас, Сережка, голова вообще засорена хламом. Надо вам устроить основательную чистку.

— Конечно, потому-то я и люблю — роешься в гуще и отыщешь. А когда любишь, то весь исходишь чем-то. Поехать в незнакомый край, хотя бы всего за версту, — неизвестно, какие там будут люди и места, но какие-то будут. Терять-то нечего, а все же есть интерес не быть. И сперва по приезде бывает тоскливо, а потом привыкнешь и не замечаешь.

— Бытие определяет сознание, — вставил Федор.

— Да, Федя, так и не заметишь, что когда-то умер. Сегодня днем, под яблоней, сквозь сон я чувствовал зеленый воздух, полный щебетанья.

— А я тоже задремал на телеге, когда возвращался с работы, — заметил Федор, — и проснулся весь облепленный мухами и слепнями. Мерзавцы, что я — труп, что ли, или кусок сахара?

Сергей вздрогнул:

— Откуда вы знаете о сахаре, Федор?

— Что такое?

— Нет, нет, это так, нечаянно.

— То есть как так?

— Нет, я хотел сказать, что ужасно хочется курить.

— Это само собой, но почему вы вздрогнули, Сережа? Тут что-то есть. Вы сами говорили, что у вас нет от меня тайн, а вот такой пустяк, и не хотите сказать.

Федор отодвинулся, недовольный.

— Федя, слушайте, это скорей общественное дело.

— А вы думаете, общественное дело меня не касается? Ну и несознательный же вы элемент, Сережка.

Сергей, ежась, рассказал. Негодующий Федор сопел и высчитывал:

— Что у нас завтра? Суббота. Значит, послезавтра воскресенье. Отлично.

— По-моему, совсем не отлично: мне уже надо будет уехать.

Федор вскочил и зашуршал по сену вниз.

— Взошла, Сережка, взошла! — кричал он, распахивая ворота. В сеновал попали белые лунные полосы. Снаружи все ходило вприсядку от лунного веселья.

Федор с Сергеем, не одеваясь, выбежали в сад и, стоя в рубашках под яблонями, стали окуривать луну. На струйки их дыма она отвечала умильными улыбками. Засмотревшись, Сергей оступился, непривычная его ступня сперва накололась на что-то, потом, подобно руке, но только не так гибко охватила что-то круглое.

— Смотрите, Федя, сколько их здесь нападало.

— Бросьте, это понявинское, кислятина, не стоит, пойдемте вот туда.

Аркад действительно оказался сладким, крупным и белым, совсем как луна. Федор раскорякой ползал под яблоней, рубашка его временами касалась

земли. Внезапно выпрямившись, он сделал пируэт, блеснув голым коленом, и метнул яблоком в луну.

– Вот ее бы отведать, пес ее дери!

Было слышно, как яблоко шлепнулось где-то поодаль.

– Ну а теперь спать, спать, Сережка! Вам-то хорошо, а ведь мне завтра на работу. Хватит этих финтифлю.

Снова закрылись ворота сеновала, и опять началось восхождение на высокое ложе. Но так как это происходило довольно резво, а полоски луны лишь невнятно проникали сквозь плетеные стенки сарая, то простыни окончательно перепутались с сеном.

– Черт знает что такое, колется отовсюду. Даже в нос попала какая-то травинка.

– Эх вы, петергофский человек, не умеете наслаждаться сельской жизнью. Ну, однако, хватит, спокойной ночи.

Федор охапкой сена запустил в лицо Сергея. Тот, фыркая и отплевываясь, таким же способом пожелал ему спокойной ночи.

Но этому не суждено было сбыться: открываемые ворота заскрипели, послышалось чирканье спичек.

– Не зажигайте, кто это? А, Гриша Ермолов. Я сейчас к тебе выйду.

Озаренный спичкой, из тьмы был выхвачен садовник в фетровой шляпе, протягивающий какую-то бумажку Федору.

– Файгиню, Файгиню едет, – воскликнул Федор, с телеграммой в руках, – отчего вы не прыгаете, Сережа? Это вас расстраивает?

– Нисколько. Я рад за вас, но согласитесь, Федор, мне нет причин плясать: я еще незнаком с вашей матушкой.

– Сейчас же едем в Тулу встречать утренний поезд. Вас я не мог встретить, так как вы не дали телеграммы. Но скорее, едем, возьмем с собой консервы, по-завтракаем в поле, приправой нам будет свежий утренний дух. Эй, Жоржик, запрягай.

– А какова ваша матушка? – спрашивал Сергей, уже сидя в шарабане и засстегивая пуговицы второпях натянутой одежды. – Ведь матери бывают разные: мамаши, маменьки, мамуси, мамули.

– Нет, я вам ничего не скажу о Файгиню; вот вам еще одна лишняя авантюра – поломайте-ка себе голову, – и Федор так подхлестнул лошадь, что Сергей едва не выпал из экипажа.

– А как ее имя-отчество?

– Я вам ничего не скажу, подождите до утра. Да, наконец, вы можете ее называть товарищ Стратилат.

– Да, но это неудобная фамилия: будет непонятно, к кому я обращаюсь, – к ней, к бабушке или к вам.

– Тем лучше, ведь мы все одно и то же. А фамилия у нас не неудобная, а грузинская. У нас кто-то из пррапрадедов… Оттого-то у меня и такая тонкая талия, а нос острый.

– А вы умеете танцевать, Федор?

– Терпеть не могу. Да и всю эту вашу салонность давно пора по шапке.

— Конечно, долой гран-рон. А похожа на вас ваша ля мер?

Федор, ничего не отвечая, уверенно гнал лошадь в темноту. Впрочем, и вся-то видимая лошадь состояла из одного крупa.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Она поднимала хвост, и это напоминало о подкладке пальто или пиджака, когда вдруг на груди, сквозь материю, обнаруживается торчащий суховатый конский волос.

Сергею было холодно.

Между тем, пользуясь отсутствием луны, звезды простирали ярко. Крупные светила розовели, уверенные в себе, в своем месте и в своем завтрашнем дне. Они привычно расчерчивали небо на обязательные созвездия. Мелкота, напротив, частенько не удерживалась и падала, как это обычно бывает в августе.

— Вы опять смотрите, Сережа, на звезды? А я вот не охотник до них. Это странно, потому что звезды наряду с Советским Союзом единственное место, которым не владеет мировой капитал. Казалось бы, я должен любить их, а вот не могу себя заставить.

— Зачем же заставлять? Вы идете по улице, над пятым этажом блестит звезда. Вы смотрите попеременно то себе под ноги — на панели следы какого-то сморканья, — то наверх, на ее подмигивание. Впрочем, вы не правы, Федя, капитал посягает и на звезды.

— Это вы насчет междупланетных путешествий на ракетках? Ну, это будет еще не скоро, до того времени капиталу капут, и наша планетка веселее побежит вокруг солнца, а может быть, она сама станет солнцем, и все будет вращаться вокруг нее. Ее форма изменится — вместо шара она станет пятиконечной. Разные эти Марсы, Юпитеры и Венеры придется переименовать. Впрочем, уже есть планета Владилена.

— Я вот и хотел сказать вам, Федор, что Ротшильд купил одну из вновь открытых планет — какую-то Весту, Юнону или Цереру — и назвал ее Рахилью в честь своей дочери.

— У кого же он купил ее?

— У астронома.

— Продажные твари, мерзавцы. Н-но, тварь, — подстегнул Федор лошадь.

— Смотрите, Федор, вот Малая Медведица, вот Полярная звезда, там Петергоф. А здесь, глядите, какая ясная поляна: много частых звезд, от них светится даже темный промежуток.

— Тула тоже там, на север от нас. Файгиню сейчас, вероятно, уезжает из Москвы. Курский вокзал, носильщики, публика, кое-как приткнувшаяся на лавочках... На Файгиню пышное шелковое пальто. Она сейчас, должно быть, смотрит на медную бляху носильщика и старается запомнить его номер.

— Знаю, Федор. Я на Курском вокзале ходил за кипятком в третий класс... До сих пор говорят: «третий класс»... Все смотрели на меня, на моем пузатом чайнике виднелся яркий такой розан.

— А вам не холодно, Сережа? Наденьте-ка мою тужурку.

— Нет, нет, не снимайте ее с себя. Ведь я с севера. Мне и так очень жарко, почти как на сеновале.

— Сейчас он пуст. Не помню, закрыли ли мы ворота? Вероятно, Фингал с Оссианом забрались туда и валяются на наших простынях. Угрелись, должно быть, проклятые. А как же он продал? Что, он очень нуждался в деньгах? В Москве, я видел на толкучке, бонтонный старик продавал свою никому не нужную звезду. Очевидно, он раньше был сенатором.

— Нет, Федор, тут другое. Я думаю, он потому так легко продал, что не любил ее. Это понятно, ведь этот астроном был профессионал. Пишбарышня с тошнотой снимает колпак со своей машинки: она знает, что шесть часов подряд осуждена она щелкать, и сухой этот стук лучше, чем что другое, напоминает ей о тридцати трех одиноких годах, сколько бы она ни выставляла официально, что ей только двадцать восемь. Кабинетный человек с отвращением развертывает книгу, окруженный корешками солидных словарей. Так и этот астроном где-нибудь в своей Пенсильвании повернул рычаг, крыша павильона раздвинулась — и хоть бы какая-нибудь неожиданность! Нет, участок неба именно такой, каким ему полагается быть в этот час и в это время года. Скучное, знакомое лицо. О, если бы на нем прыщик вскочил или морщинка избороздилась. Вечная, подозрительная моложавость, хоть шестьдесят лет его наблюдают. И ничего космического, а скорее что-то косметическое... Знаете, говорят, будто Марья Федоровна себе эмаль пустила под кожу и вечной куклой, согбенной, но с шестнадцатилетним отливом крепкой своей кожи появлялась на придворных приемах. Не хватало только золотого багета с выкрутасами, чтоб она была точь-в-точь похожа на свою олеографию, висящую в присутственном месте или в участке.

— Не знаю, — сказал Федор, — я не помню старого режима, мне было всего девять лет, когда он кончился.

— Да и я плохо помню, но я в кино видел: на каждом углу городовой. Вот, должно быть, страшно было ходить по улицам!

— А на Западе и до сих пор так. Вы там, в Петергофе, чувствуете Запад?

— Еще как! Подойдешь к морю, бросишь окурок, вообще всякую заваль, и приговариваешь: плыви, голубчик, в Лондон.

— Ну, Сережка, вы уж, кажется... А что же насчет астронома?

— Знаете, Федор, он, должно быть, тоже любил кино. Какие там кинозвезды! Теперь астрономы редко смотрят в телескопы: привинтят к объективу аппарат — пусть себе вдоволь снимает небо. Оно и лучше — фотография, во-первых, не врет, а во-вторых, ей никакая физиономия никогда не надоест. Небо — механический аппарат, ну, значит, для аппаратов и сделано. А астроном идет в бар — в Пенсильвании их много — там и фокстроты, и все, чего душа требует, а душа прежде всего требует денег. Тут что угодно продаешь Ротшильду. Наутро пришел в павильон, отвинтил кассетку, стал купать пластинку в ванночке, можно вдосталь мечтать о том, что на ней сейчас появится пушистый локон Глории Свенсен, ее полотняная улыбка, виденная вчера в «Космосе»... Что вы, Федор, лезете всей пятерней мне в лицо! Так можно и глаз выколоть.

– На то и темнота, Сережа: я на ощупь.
– Да руки-то у вас чистые ли? Пахнут почему-то дегтем и...
– И лошадью. Это от вожжей.
– А вы бросьте их, они мешают.
– Как же мы тогда доедем?
– По звездам. До изобретения компаса всегда так ездили. Видите, вот это Близнецы, Овен, Стрелец, Козерог, Рак, Эклиптика, Бойль – Мариотт, Федор Стратилат...
– Что на него смотреть, эка невидалъ. Я лучше на вас буду смотреть, ведь мы давно не видались.

И Федор приблизил свое лицо почти вплотную к Сергею, так что Федоров нос показался огромным и расплывчатым.

– Хватит, Федор, смотрите на дорогу, а то мы никогда не доедем. Берите-ка вожжи.

Сергей поглубже сунул руки и карманы и старался подавить дрожь, прорывшую его от августовской ночи. Ехали уже какими-то безлесными местами. Полустепной дух веял вокруг шарабана.

Пальто у Сергея не было не только здесь, но и в Петергофе: он его продал, чтобы поехать к Федору, и сейчас он ясно чувствовал северную студеность этого далекого края, среди которого он разъезжал уже почти целые сутки. Федор, однако, говорил все невнятнее. Он засыпал неприметным для себя образом, что было немудрено: с самого раннего утра он не имел ни минуты покоя.

Сергей поччял совсем близко от себя запах кожаной тужурки Федора, потом что-то отяжелевшее склонилось на него.

Это безвольное, теплое тело продолжало держать вожжи, но само колыхалось при каждом толчке шарабана, довольно мирно, впрочем, одолевавшего дорожные ухабы.

Одной рукой Сергей придерживал уснувшего Федора, другой пытался высвободить вожжи и кнут. Сергею на выбор предоставлялось или разбудить измаявшегося, или взять бразды правления в свои руки, несмотря на полнейшую теперь темень и странное смещение всех звезд: Большая Медведица оказалась уже не справа, а слева, а Малую Сергей никак не мог найти, хотя усиленно шурил глаза и задирал голову кверху: очевидно, она где-то затерялась.

«Все уже прошло, – думал Сергей, – миновал первый мой тульский день. Если бы сейчас взошла луна, от меня и от навалившегося на меня Федора протянулись бы лишь тени по дороге. Скитаться мне опять по Петергофу, как тень, думать о том, что зарплату будут выдавать еще через четыре дня, следовательно, надо как-нибудь дотянуть и утешаться другим».

Тень взглянула на облетевшие листья – желтые, красные, медные, это напоминало ей самовары. Но просветы между деревьями были заполнены нетульской влажной дымкой... И по обе стороны от Тени спутники обсуждали актуальнейшую тему, не от наварцев ли происходит название Наварин?

Мнения разделились: слева настаивали, что да, справа позволяли себе усомниться. Впрочем, это сражение при Наварине вряд ли обещало быть кровопролитным, и все шли мелкими шагками. Тени было неудобно молчать.

— Вот цвет наваринского дыма с пламенем, — указала она на затуманенные дали и близстоящий красный клен.

— Да, очаровательный Петергоф, не менее прелестный, чем рубатовский Петербург, — твердили местные петергофцы. Затем последовали приличные случаю цитаты. А так как уже приближались к фонтанам и статуям, то Тень тоже привела цитату:

— «Затеи сельской простоты», — и, глядя на водометы, прибавила: — Давно пора хотя бы переименовать Петергоф, как это сделано с Петербургом.

Тень почувствовала вокруг себя ветерок — это спутники отскочили от нее. Как луна обращена к земле всегда одной стороной, так и петергофцы бывают обращены друг к другу постоянно лишь одним боком. Тень обнажила перед ними другой, неожиданный свой бок, но спутники не хотели последовать ее примеру.

Чтобы доконать их, Тень стала напевать:

— «Помнишь ли ты тот напев неги томной, что врывалясь к нам в окошко полуночною порой? Ты внимала, к моей груди прислонившись головкой!»

Петергофцы взглянули на красную от осеннего холода лапу Тени.

Все сели у моря, миновав Монплезирский садик, уже опустелый от вынесенных оттуда кадок с пальмами, стоявшими там летом. Костюмы на всех были черные, как черный хлеб, и Тени от осеннего запаха гниющей воды, на берегу заваленной валежником и листьями, захотелось есть.

— Теперь не худо бы хлебца пожевать, — сказала Тень и бросила окурок в море. Стала швырять камешки в плоское море. Один из камешков потопил плававший окурок. Телега показалась в аллее, — это возчик привез новый груз хвоста и валежника, чтобы им окаймить берег. Парк, видимо, расчищали после лета. Лошадь поводила ноздрями от сырого морского духа.

Тень думала о том, как ездят верхом, и подбирала слова:

— Веселый, Блестящий, Сияющий, Жилистый, Среброхолкий и Быстробег, Светлоногий, Златой, Легконог, Златохолкий — то коней имена, витязей носят они.

— Ну, эта лошадь вряд ли их вынесет, — поправили его спутники, — ведь это почти что жеребенок.

Сергей потянул из всей мочи, но, лишь только вожжи были высвобождены из рук Федора, тот внезапно проснулся и снова завладел ими.

— Фу, черт, что вы делаете? Куда вы правите? Н-но, орел, в час до неба!

Зубы Сергея стучали от тряски и стужи, он боялся откусить себе язык. Федор теперь правил, привстав с места. Он махал кнутом, но в этойочной неразберихе большинство ударов приходилось не лошади, а Сергею.

— Раз-раз, — стегал Федор, не замечая, что Сергей корчится от нечаянного этого бичевания и не может защититься, так как вцепился в шарабан, чтобы не выпасть.

— Ну, Сережка, бодрее! Довольно дрыхнуть! Н-но, ленивая! — и разревшившийся Федор затянул: — «И в жар, и в зной, и в час ночной».

Сергей подтягивал:

— «И не грубы, прямо в зубы кроссы твои».

Раз! — удар был особенно силен. Сергей не закричал, но почувствовал себя

летящим по воздуху, с крылатыми руками, простертymi вперед. Твердого сиденья шарабана под ним уже не было. Потом его лоб и нос коснулись мягкой росистой травы. Это было совсем не страшно – внезапный ласковый этот полет.

– Файгиню сейчас потягивается, подъезжает к Туле и оправляет прическу... А вы живы, Сережа? – прозвучал Федоров голос.

– Жив, а вы?

– Я тоже.

– Но где вы?

– Я под шарабаном, на травке. Идите сюда.

– Я ничего не вижу.

– Идите на мой голос, – Федор громогласно продолжал петь: «Он незаметно точит стрелы, удары их остры и смелы»... Так, так, Сережа, приподнимите этот край.

Федор вылез из-под шарабана. Лошадь с двумя передними колесами куда-то умчалась.

– У вас нет спичек, Федор?

– Были, но куда-то вывалились. Плохо наше дело, вот эти проклятые финтифлю...

– Чего вы злитесь, Федор?

– Как не злиться! Файгиню подумает, что я забыл о ней из-за вас. Посмотреть бы, цел ли у нас шкворень.

– А разве она знает о моем приезде?

– Да, я писал ей, то есть, конечно, тогда только предположительно.

– Ну, это еще поправимо, мы ей завтра все расскажем.

– Да, все, только про шарабан не надо: она будет волноваться, а ведь мы целы и невредимы. Есть, однако, хочется до смерти...

– Федор, друже, горемыка бедный, ой, не мешкай, молви, где у нас консервы?

– Там же, где и спички.

Сергей с Федором стали ползать вокруг шарабана. Брюки на коленях у них скоро промокли, ладони рук умылись росой. Наконец взгромоздились на перевернутый шарабан, уселись плечо к плечу, покрывшись внакидку Федоровой туожуркой.

– Хорошо сейчас на дне дудки, – говорил Федор, – тепло, ниоткуда не дует.

– А поместились бы мы там вдвоем?

– Стоя – да, да и то было бы очень тесно.

– А я вот о чем думаю, Феденька, к чему нам теперь ехать на Куликово поле?

Глядите вокруг: ничего не видно. Пусть это и будет оно. Знаете: «Пасти трупу человеческому на поле, пролиться крови на речке Непрядве». Почем знать, может быть, через пятьсот лет будут представлять в театре этот наш ночлег на Куликовом поле.

– Ну, я предпочел бы на сеновале.

– А вы прижимайтесь теснее, тогда и не будет холодно. Давайте вместе наблюдать рассвет.

Сергей шел по улице, около Пяти углов. Двухэтажный дом, где когда-то был

ресторан «Слон», напоминал ему Москву, главным образом тем, что стоял против пятиэтажного башенного модерна. Сергей повстречал знакомого, и оба стали обсуждать, куда идти, на Разъезжую ли, на Ямскую или в аллею к цирку Чинизелли. Обменивались еще и другими соображениями:

- Как живешь?
 - Ничего, помаленьку.
 - Ну а как там, все в том же положении?
 - Конечно, что с ним станется. Ну, прощай пока.
- Сергей проснулся одетым в Федорову тужурку, а сам Федор плясал вокруг шарабана и кричал:
- Взошло, Сережка, взошло!

В самом деле, все уже просияло солнцем: шкворень, о котором говорили ночью, лицо Федора с брызгами росы на носу, словно ему пора было высморкаться, ночные овраги, грозившие смертью, канава, в которой лежал шарабан, греchiшное поле, розовое в этот час, лошадь с передком экипажа, щиплющая поодаль кусты, отдаленные многоцветные холмы, ясно-синий покров неба, коробок спичек на дороге.

– Что это там так блестит в колее? Находка! Это, конечно, шлем Осяби или Пересвета. Ведь тогда тоже был август, солнце так же всходило и шестьсот лет тому назад.

Сергей поднял серебристую консервную банку. Лошадь продавила ее копытом и через пробоину вытек весь томатный соус. Зато можно было ухватить краешек жести и в раскрытой наконец банке обнаружить бычки, которые Федор и стал совать пальцами то себе, то Сергею в рот.

- А теперь надо согреться. Ну-ка, Сережка, в пятнашки!

С задетых кустов осыпалась роса, первые птицы застремкотали: «О светло-светлая и красно-украшеная земля Русская, оле жаворонок-птица, в красные дни утеша, взыди под синие облаки, посмотри к сильному граду Москве».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

– Извини, Файгиню, что мы тебя не встретили на Куликовом поле. Это уж так вышло.

- Что же я, по-твоему, татарин, что ли? Да отчего ты такой бледный, Федя?
- Мы провели бурную ночь, Файгиню.
- Вот-вот, – вмешалась бабушка, – я из-за них тоже глаз не сомкнула; подлинно, что очень бурная ночь. А снилась мне змея: выглядывает из щели в полу и норовит выползти. Мы туда льем кипяток, и видно, что змея склизкая, точно ее керосином облили.

- А где же твой гость, Федя?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Сергей явился, прикрытый сеткой от пчел, со снарядом для окуривания в руках. Он только что помогал хозяйке осматривать ульи. Когда приподняли крышку, Сергей увидел соты – наверху пустые, предупредительно вставленные в улей, чтобы пчелы не тратили сил на изготовление воска, внизу же – полновесные, уже отягченные медом. Осовевшее от дыма многоное пчелиное стадо мохнато копошилось. Цветочная пыль, пережеванная и отрыгнутая насекомыми, пахнущая коричневатыми их брюшками, желтой капелькой стекала из узкой, рациональной их пасти. Сергей с радостью узнал от хозяйки, что еще рано брать мед.

– Гостей у меня нет, Файгиню, – отвечал Федор, – а вот паразитов трудящих масс – много, позволь их тебе представить: Фингал, Оссиан, Сергей, Лобзай, – все мои приятели.

С одним из этой компании мать Федора поздоровалась за руку, от остальных отмахнулась.

– Ничего, ничего, я на вас и не смотрю, – говорила она Сергею, в замешательстве сдергивавшему с себя решетчатое свое забрало. – Но, Федя, я не понимаю, как ты меня зовешь. Что это за гадость: Файгиню?

Федор взасос целовал затылок матери и теребил ее платье:

– Файгиню, не противься злу. Сама виновата: моды и робы, шелк, никаких рукавов, платье-рубашка, платье-бебе, мне бы его носить, а не тебе, мадам Файгиню. Недаром меня зовут Федором. Я от тебя вообще унаследовал букву «ф», а Фингал, конечно, тоже из нашей фамилии.

Мать хлестала Федора по щекам, он начал ее подшлепывать, называя это «методами воспитания». Дело кончилось фокстротом, в котором и неповоротливый Фингал принял посильное участие, но вскоре запыхался и исчез. Федор корчил рожи, изображая элегантнейшего фрачника, чему, впрочем, немало мешала жесткая его прозодежда.

Наконец мать оттолкнула сына:

– Знаешь, в октябре премьера. Я буду петь Маршальшу. Приезжай непременно.

– Ладно, Файгиню, так и быть, контрамарка за тобой. Прихватим с собой и Сережку.

Сергей стоял поодаль, забытый. Бабушка, кряхтя, притащила начищенный самовар, но Федор отказался пить чай, торопясь на работу.

– Ну, пока, до приятного свиданья. Сергей – мой заместитель, он расскажет тебе про нашу тихую сельскую жизнь. Ты, должно быть, устала с дороги, вот он тебя и усыпил.

– А можно мне с вами на работу? – спросил Сергей.

– Нет, нельзя. Довольно уж вы вчера опростоволосились, оставайтесь дома: на что тэбэ баран, тэбэ есть Иван – тэбэ не скюшно.

Федор, захватив с собой хрусткий огурец и малость хлеба, вскочил на телегу и ускакал.

На балконе чинно сели за стол. Сергей протянул руки к стакану, но сразу же отдернул их, так как мать Федора воскликнула:

– Что, горячо? Ничего, я на вас не обращаю внимания. Только почему они у вас так вспухли?

– Это от девушек, – бормотал смущенный Сергей, – вчера еще ничего, а сегодня волдыри, и даже кончики пальцев как будто онемели – отравление. Но это пройдет.

– Конечно, все проходит, Сергей Сергеич, но только, знаете, не надо давать рукам воли. Что же, они вам очень понравились?

– Да, очень. Правда, жаль, что Дуня утирается рукавом, а Феня так сильно потеет, но, в общем, все хорошо, Лямер.

– Что такое?

– Простите, это вчера мы с Федором условились вас так не называть.

– Ну, знаете, если уж на то пошло, то и вам надо придумать прозвище, Сергей Сергеич. Как бы мне вас называть? Федор ничего для вас не придумал?

– Нет.

– А вы для него?

– Тоже нет. Проще всего какое-нибудь сокращение, теперь это вообще в ходу.

– Отлично. Я вас буду называть Эсэсом. Согласны?

Сергей помолчал с минуту, потом произнес, помешивая ложечкой несуществующий в стакане сахар:

– Да, я согласен. А Федора назовем Эфэфом?

– Нет, не стоит. Про себя я его обычно называю «неприкаянным ангелом». Заметили вы его походку? Голова почему-то свешивается вниз, словно ему тяжело от невидимых крыльев. Иногда он в задумчивости кладет руку на грудь. О чем он тогда думает? Должно быть, о преферанссе. Но, однако, мы отвлеклись. Скажите, кто же из них всех красивее?

– О! – отвечал Сергей, – здесь есть одна: вообразите себе молнию, когда, изламываясь средь черных туч, она разом освещает землю, когда столетние дубы трещат и разом валятся с ног, когда белизна кудрей, смешиваясь с...

– Короче, – перебила Лямер, – как зовут эту Инезилью?

– Леокадия, мы с Федором до смерти увлечены ею.

– Вот как, стало быть, вы соперники. Смотрите, чтобы не было пролития крови. Вы знаете, Эсэс, что такое обыгрывание предметов? Режиссер не должен ставить на сцену ничего, что по ходу пьесы не было бы потом обыграно. Этот балкон, на котором мы с вами пьем чай, или вот этот тульский самовар, стаканы – все это составляет реквизит нашей пьесы... Ты что, паразит трудящих масс, хочешь хлебца? На, получай, – бросила Лямер кусок подошедшему псу. – Если этот брюхатый Фингал появился на сцену, его тоже нужно обыграть как следует, иначе незачем ему появляться.

– Осторожнее, – сказал Сергей, – смотрите, как бы он вас не обыграл слюнявой своей пастью.

– Но интереснее всего, – продолжала Лямер, – игра с теми предметами, которых нет. У нас ставили одну пьесу вовсе без реквизита. Первый любовник ис-

кусно фехтовал отсутствующей шпагой, ее несуществующая рукоятка была плотно охвачена его рукой. Мнимое острье вонзилось в грудь поверженному противнику и, пройдя насквозь, показалось из спины. Не в силах вынести страшного этого зрелица, я закрывала себе лицо небывалым черным покрывалом, потом отбрасывала его и брала в руки полновесное воображаемое яблоко, делая хроматическую гамму вниз. Оно было отравлено, я знала это, и трепет исходил из него, проникая в меня. Смотрите: вот сейчас у нас с вами нет сахара, очевидно, у Федора паек не велик. Видите, как я насыпаю сахар из мешочка в сахарницу, беру две, нет, три чайных ложки и пью сладкий этот чай. О, каким сладчайшим становится мое лицо – это оттого, что мне уже давно хотелось сахару. Хотите и вы? Вот и вам три ложки. Подождите, прежде чем пить, хорошенько размешайте.

– Все это так, – отвечал Сергей, – но эта сладость лишний раз напоминает мне жестокую Леокадию. Если она актриса, то у нее есть один-единственный недостаток: вероятно, она уроженка Западного края, поэтому произносит «ч» твердо, а по-рою, избегая польского ударения, смешает его и вообще с предпоследнего слога: здесь так скучно, так скучно, не с кем общаться, одно сплошное кулаччио.

– Это ничего не значит, – возразила Лямер, – в старых оперных либретто частенько бывают нелепые слова... А с Леокадией я познакомлюсь непременно... Но я вижу, вы в затруднении, о чем со мной говорить. Тогда давайте помолчим, послушаем, о чем это говорит моя бель-мер с хозяйкой.

Бабушка, откушав три чашки чая, работала. Она уже успела распороть шляпу, в которой приехала Лямер, и стала шить ридикюль из ее шелкового дна. Хозяйка, положив гладильную доску на край сундука и на стул, вынимала из корзины сморщенное, скатанное белье и попутно сообщала мирандинские новости: кто неладно живет с отцом, у кого корова пала, кто с кем путается. Сравнивала со старым временем: кто к церкви на тройке подъезжал, кто из здешних помещиков тащил к себе в дом баб, кто обыгрывал своих лакеев в карты, кто картошку себе на обед выдавал счетом, у кого дочь, естественное дело, застrelилась, а другой сын служил фабричным инспектором. Оказывается, были здесь помещики и из поляков: пан Должевский ревмя ревел, когда читал польские стихи, впрочем, этой же книгой с польскими стихами был свою жену по загривку.

Бабушка слушала, так как нельзя было не слушать, но, впрочем, не особенно разделяя радость хозяйки и больше увлекалась своим рукodelьем. Сергей понял, что все это говорилось для Лямер, с расчетом на долгие с нею излияния. Но та сидела молча, задумавшись, и ничем не поддакивала хозяйке, которая настойчиво водила утюгом, а время от времени брала в рот воду и шумно прыскала на засохшее, закорузлое белье. Хозяйка бранила баб, неистовой ходил утюг в ее полных руках, и на сорочке получилось коричневое прожженное пятно.

Сидящие на балконе услыхали, что в сельсовет иходить нельзя, потому как там сидит сельсоветчица, а с бабой всегда поругаешься. Прозвучало энергическое «не в лоб, так по лбу», слушатели узнали, что сельсоветчица умеет хорошо искать в голове, у нее и специальный деревянный гребень заведен для разгребания волос, но что, впрочем, хозяйка ненавидит белье и что, известное дело, молодым людям все занято.

Наконец Иса Макаровна, помахивая утюгом, подошла вплотную к Лямер. Та вскинула на нее голубые свои глаза, но все еще молчала. Тогда хозяйка, не выдержав, произнесла:

— Я сирота и была на воспитании у здешней помещицы, царствие ей небесное, хоть и кровопийцей была. А нынче, славу богу, церковь падает, у детей и то никакого нет почтения.

Дальше последовало много быстрых слов насчет религии: дети взгромоздили на стол табуретку, сняли иконы и стали играть ими, будто ходят друг к другу в гости. Обратная сторона икон оказалась пыльной, и ошалевшие, перепуганные тараканы метались там.

— Вот, нарочно, моя Варвара-великомученица приходит к тебе в гости и говорит: «Не взыщи, что я пыльная: прямо с поля, обчиститься не успела». А мой Никола, нарочно, ей отвечает: «Плевать! Мы и сами пыльные, славу богу, не хуже вас». — «Нет, я пыльнее!» — «Нет, я пыльнее!» И, нарочно, наскачили друг на друга и ну ругаться. А у моей Варвары оклад крепкий, она им и зацепи Николу по морде. А тараканы это, нарочно, Варварины ребятишки: семья большая, а хлеба мало; муж ее, нарочно, бросил и с богородицей путается. А Варваре жаль таракашек, она как заревет, а тут, нарочно, боженъка приходит и на нее окрысился: «Не реви, дура, я те пореву; да нос утри, наказанье мне с тобой». Бабка ахала, умоляла оставить иконы. Тогда дети подбегали к окнам и угрожали их разбить. Ребро иконы уже касалось стекла. Бабка смирялась и тихонько плакала в уголке. Слезы ее капали на всполошившихся тараканов.

Лямер и на это ни слова не ответила хозяйке. Та в заключение прибавила:

— А только мы — рабочие люди. Нам некогда разговоры разводить. Извините, если чем не угодили, — и проследовала на кухню. Высунув оттуда голову, она крикнула: — А платье-то где стирать будете?

— Я сама, — ответила Лямер, — это работа нетрудная. До консерватории я многое испытала в жизни и не боюсь никакой черной работы. Если б у меня не было голоса, почем знать, может быть, я была бы уборщицей, прачкой, курьершей. Иногда, раскрыв рот, я смотрюсь в зеркало. Мне хочется увидеть мои голосовые связки. От них у меня все: зарплаток, успех, даже Федор, так как модный тенор вряд ли женился бы на мне, не будь у меня голоса. Когда он пел выходную арию герцога: «Если мне полюбилась красотка, то Аргус сам не усмотрит за ней», — тысячи Аргусов из зрительного зала смотрели на стройные его ноги, обтянутые белым шелковым трико. Мне завидовали, в Рязани меня даже называли «синьора Стратилато». Теперь все это в могиле: умелое филирование звука, фиоритуры и теноровые ноги. Лишь трико я храню вместе с нашими подвенечными свечами и флердоранжем.

Лямер понизила голос и наклонилась к Сергею:

— Вам нравится бабушка? Она о вас самого лучшего мнения: говорит, не успела намекнуть, как уже вы ей одеколон подарили. Она хорошая, моя бель-мер, но, сказать откровенно, не люблю я старух: могилкой попахивает. Нет, «быть свободной, быть беспечной, в вихре счастья мчаться вечно и не знать тоски сердечной».

Лямер вместо бокала подняла стакан с золотистым чаем.

— Нет, — сказала она, — не подходит; для этого надо быть в длинной, пышной юбке с оборками. Я вообще против нынешних мод. Как нам холодно бывает зимой, сколько ревматизмов. Это все вы, мужчины, виноваты, вы их сочинили для нас. Понимаете, Эсэс, была империалистическая война, скопление огромных армий. Вы были, Эсэс, на фронте?

— Как будто бы нет, но можно считать, что был.

— Ну да, ваше поколение все выросло под артиллерийским огнем. Окопы, снаряды, халупы... И вот, Эсэс, посмотрите-ка на модную послевоенную парочку где-нибудь издали, например на улице; он сохранил еще костюм девятнадцатого века: длинные брюки и прочее, оттого он и серъезен; но она-то как одета? Это трико моего мужа: у нее ноги открыты, даже колени, юбка-кургузка, почти мужское пальтишко, стрижена голова, маленькая шляпка, словом, костюм пажа, какой-то шестнадцатый век или что-то в этом роде. Мода требует плоской фигуры. Где широкие бедра, сущие плодородие, где груди, отягченные молоком? Фокстротирует этот двусмысленный ангел, забыв о длинных, ниспадающих складках женских одежд. Но, я думаю, моды эти пройдут вместе с военным угаром.

Так рассуждала Лямер, а Сергей мысленно ходил тем временем во вчерашнюю рощу, но уже не с Федором. Когда взошли на горку, конечно, встретили девушки. Они с любопытством посмотрели на Лямер, вернее, на ее платье. Ни одного узора, никаких анютиных глазок не было на его гладкой материи. Осведомились, в каком состоянии руки Сергея, но он сунул их в карманы и перевел разговор на другое. Предлога не надо было и придумывать: девушки сидели в ряд на бревне, понурые, тоскливые. Черная Дунина челка была даже не завита.

— Уехал? — спросил Сергей. — Вы грустите? Спойте по-вчерашнему — это было хорошо.

Но Феня, Дуня, другая Дуня и Домаша вместо ответа смотрели вдаль: за далеким бором таилась Тула, расплывчатая, так как в воздухе парило. Кулацкая деревня была зато вполне различима, с виду, впрочем, совершенно невинная: кирпичные избы, овины, хлевы, изгороди.

— «Я на горку страдать вышла, чтоб милому было слышно. Пройду Тулу, пройду город, сидит милый, вышил ворот, — зайду к милому в мастерскую», — начала Дуня. Девушки переглянулись, зашептались: страдательные песни, страдательные песни.

Разделились, как и вчера, на два стана и запели попеременно:

— «Нас страдали семь подруг, но сказали на нас на двух. Дорогой ты мой товарищ, расскажи, по ком страдаешь. Поверь, милая подружка, от слез мокрая подушка. Давай, милый, пострадаем, какова любовь, узнаем».

— Еще, пожалуйста, еще, — сказала Лямер, которая слушала очень внимательно. — Но по ком вы страдаете, кто уехал?

— По Федоре, — шепнула Дуня, закрасневшись. Лицо ее смотрело страдальнее, чем у всех.

— Но он здесь, никуда не уезжал. Если вы хотите его видеть, идите пить чай к нам. Эсэс вам расскажет о красоте Леокадии.

— Вот она страдает, ей есть с чего, — рассмеялась Дуня, — а нам плевать, наше дело сторона.

Феня, подмигнув Лямер, закружилась, раздувая юбку:

– «Страдатели, страдатели, не давайте знак матери. У меня страдатель новый, мил ты мой, король бубновый, а еще страдатель Мишка – лет семнадцати мальчишка».

Феня бежала впереди всех, Лямер с Сергеем тоже понеслись вниз под горку. Все запылились. На ходу Сергей объяснял Лямер, чтобы она не запуталась, что здесь целых три Федора: Фильдекоса тоже зовут Федором, а кроме того, есть и так называемый другой Федор, рабочий. Лямер в ответ только смеялась:

– Конечно, здесь на деревне может быть хоть десять Федоров и десять Сергеев, неужели вы думаете, я не отличу, кто мой сын и кто его приятель?

Лямер, кончив пить чай, и в самом деле смеялась:

– Однако это забавно вышло, Эсэс: я ведь хотела разузнать все о вас, а разболтала о себе. Правда, Федор писал мне, но всего две строчки, я не могла понять, чем вы живете.

– Синьора Стратилато, – отвечал на это Сергей, – вам, конечно, известно, чем живут итальянцы: они занимают друг у друга.

– Нет, Эсэс, серьезно, какая у вас профессия?

– Я машинист.

– Неужели? В поезде, дорогой сюда, я много передумала, но этого никак не предполагала. Скажите, с вами не опасно ездить?

– Лямер, вы в заблуждении. Я восьмое чудо света, украшение нашего Союза, я единственная пишбарышня мужского пола и служу в конторе петергофских дворцов-музеев.

Лямер нахмурилась:

– Но как дошли вы до жизни такой?

– Путем образования. Оно у меня необычайно тонкое: я специалист по древнеисландской литературе, порхаю по цветочкам культуры и не могу найти себе применения. Если бы еще по норвежской, было бы легче, Норвегия – страна крестьянская, главный город – Осло.

– Вот как, – сказала Лямер, – а со здешними крестьянами вы познакомились?

– Еще бы. Одно сплошное кулачье, как говорит Леокадия.

– Эсэс, опять обыгрывание? Погодите, Леокадию я сама обследую. Вообще, имейте в виду, что этот второй день вашей тульской жизни будет женским. Вчера вы уединенно проводили время с Федором. Сегодня – оживление, все лампы зажжены, механик наводит рефлектор, и в ослепительном блеске на сцену выходим мы, женщины. В середине первого акта мы подъехали к театру, пустынными переходами прошли в свои уборные, на мгновенье мелькнула нам сцена звуками оркестра, теплом, пением, работой. Стоящий за кулисами намалеванный куст показывает холстинную свою изнанку и деревянную перекладину. Мы видим колосники, плотников и молотки. Но нам нет дела до первого акта. Мы гримируемся, одеваемся. Сейчас начнется второй акт, колоратурная ария королевы, женский хор и балет. Светские франты приезжали обычно прямо ко второму акту, смотреть на нас.

– Не знаю, – возразил Сергей, – я лично приехал аккуратно к первому действию. Вообще, я не люблю опаздывать на спектакль.

— По-моему, — сказала Лямер, — я тоже поспела вовремя. Да вы представьте, Эсэс, что было бы, если бы примадонна запоздала: занавес давно поднят, сыграно вступление, хор пропел, мужчины исполнили свои речитативы, а ее все нет как нет. Томительная пауза замечается даже слушателями. Дирижер, чтобы спасти дело, дает знак оркестрантам играть то, что они знают наизусть. Публика перестает роптать и, вставши, слушает. Те, кто не успели перед театром прочесть вечернюю газету, начинают думать, что в ней сообщаются важные политические новости. Наконец примадонна, наспех загrimированная, выбегает впопыхах на сцену. Румянами замазан у нее нос, бровей вовсе нет, так как она забыла их подвести, тесный ренессансный лиф нацеплен поверх современного короткого платья. Высокий воротник болтается на спине. Все понимают, что королева действительно в страшном смятении... При получении зарплаты Маргариту Валуа штрафуют за опоздание, но режиссер хлопает себя по лбу: его осеняет мысль, — только в таком виде королевы и доходят до современного зрителя. Следующая его постановка вся выдержана в таких тонах... Ну, что, Эсэс, кажется, Федор прав: на что тэбэ баран, тэбэ есть Иван.

Лямер сошла с балкона и остановилась, освещенная солнцем.

— Как сильно бьет мне в глаза эта рампа. Я ничего не вижу. Надо мной синева, полуденный мрак неба. Это разверстый зрительный зал, откуда на меня несет настороженным теплом смутной толпы, ждущей первых моих звуков. Оркестр между нею и мною строит снизу из своей норы звучащую изгородь до самого потолка. Сквозь этот частокол должна я прорваться туда, к тем, для кого я существую, и вот я бросаю им через забор первую свою, еще дрожащую, ноту.

— Разве вы до сих пор волнуетесь, выходя на сцену?

— Еще как! Всегда. Даже сейчас. Но я люблю самый этот момент выхода на сцену.

Лямер простерла привычным оперным жестом руку, указывая на темный купол неба. Светлые ее волосы горели на солнце. Глядя воспаленными глазами прямо наверх, она взяла вступительную ноту, которая начинала мелодию, для Сергея незнакомую.

Неизвестно, остались ли довольны слушатели, сидевшие там, в темном небесном зале — конечно, в первых рядах, те, у кого ставки побольше, кто уже с лысиной, хотя и про них нельзя было с уверенностью сказать, что они ежедневно обедают, а на галерке — юные, визжащие, впрочем, и те и другие с профсоюзовыми билетами. Чуть только в пении встречались промежутки, заполненные оркестром, сейчас же раздавались приглушенные разговоры:

— Мария Петровна чудные достала чулки из-под полы.

— Скушайте конфетку. Я случайно достал две штуки.

— Спасибо, я ее лучше возьму домой: у нас ни крошки сахара.

— В антракте, Петя, не зевай: надо первыми попасть в буфет, чтобы застать пирожные. Я нарочно и платье одела похуже: все равно изомнут у прилавка, как ринутся к бутербродам с сыром. Коробку-то не забыл? Говорят, по три бутерброда продают. Дети ведь ждут, не спят.

На лбу певицы выступила испарина. Кончив, Лямер стояла в позе, естественной при аплодисментах. Но все молчало, даже Сергей.

Внезапно хлынул дождь, совсем летний, удивительный для августа месяца. Падали серебряные гвозди, шляпками вниз. От свежести, прохлады и веселого падения капель растерянность Сергея прошла.

Предварительно он еще раз взглянул на Лямер, поспешно взошедшую на балкон, и сказал:

— Хорошо! Браво! Теперь я вам расскажу о себе. Прежде всего — я коренной петергофец. Там есть дворец Марлим, уютный белый домик, «Домик Мбрли», как говорят в Петергофе. Знаете, бывает «Дом Книги», так это «Дом Мбрли». Едва я вошел в нижнюю его залу, как снаружи все затянулось беловатым мелким дождем. Гулкий каменный пол отдавал мои шаги. Никаких посетителей, кроме меня, не было. Зала эта при Петре служила для склада садовых орудий, собранных плодов и ягод. С ней рядом — голландская кухня, в которой хорошо было бы сидеть и читать пятый том неторопливого романа. Каплуны жарились бы на вертеле, тарелки с синеватыми разводами уже расставлялись бы на столе. Все садились бы и ели, каждому на завтрак полагалась бы целая курица. А потом еще и обед и ужин. Я подумал, что в наше время мне на весь день хватило бы куриной ножки или крылышка.

— Не эфирничайте, пожалуйста. При вашей комплекции вы, наверное, съели бы, ну, скажем, полкурицы, — заметила Лямер.

— Нет, уверяю вас, что потом я поднялся во второй этаж. Там тоже было пусто. Сеня Ларионов честно отбывал свое дежурство посреди петровских стульев, у шнурка, который преграждал доступ в резной кабинетик Пино. Если перегнуться через шнур, то увидишь на столике, в стеклянной коробке, лошадиный зуб, вырванный у какого-то вельможи самим Петром. Мы ходили с Сеней под руку по всем комнатам второго этажа, видели гардеробную, дырявый плащ и огромнейший халат, а на стенах потускневшие картины. «Знаете, Лесной — это под Ленинградом, — объяснял мне Сеня, — туда идет трамвай номер...» Можно было различить беловатый, в яблоках, круп лошади, пунцовую куртку солдата, отчетливые листочки на ветке дерева, заслонявшего центр битвы... Потом мы смотрелись вместе с Сеней в зеркало. Лишенные амальгамы, темные, уже ничего не отражающие, восемнадцативечные его пятна приходились Сене среди носа. Он смеялся, отказываясь от конфет, уверяя, что музеиные работники уже закормили его до отвала и что сегодня он уже одолел целый фунт леденцов. Все же он сгрыз несколько шоколадных кофеинок, рассказывая об антирелигиозном спектакле у них в школе и о том, что ему, как восемнадцатилетнему, дали играть роль попа: приклеили коричневую бороду и небольшие рожки. Через открытую на балконе дверь видна была в парке белая ваза и неразборчивые деревья, затянутые смягчающей марлей. Когда же наконец дождик перестал, мы попробовали подняться с петровских стульев, но это оказалось не так-то легко: мы приклеились к допотопной их коже. Сеня объяснял, что это нам в наказание за то, что мы нарушили правило: на музеиные предметы нельзя садиться. Я спускался по закругленной дубовой лестнице. На потемневшем потолке ничего нельзя было разобрать, кроме вытянутых

ног и розовых пяток суетящегося небесного мира. А Сеня с верхней площадки смеялся и махал мне рукой... Дома, взглянув на стену, я обнаружил, что провел не менее трех часов в этом «Домике Мбрли», и почему-то у меня во рту было такое чувство, будто мы с Сеней, арестованные дождиком, болтали все время не по-русски, а по-голландски или, на худой конец, по-английски.

Выслушав рассказ Сергея, Лямер заволновалась:

— Ах, Федор, Федор, он сейчас в поле. Промокнет, бедный.

— Ничего, — утешал Сергей, — Федор спустится в дудку, сверху его прикроют щитком, он будет слушать, как стучит дождь по деревянной крышке. Там хорошо петь, труба высотою в тридцать метров — отличный резонатор.

— Пусть так, но остальные рассказы еще за вами. Я буду их нумеровать. Сейчас был номер первый.

Лямер задумалась, машинально перебирая клочковатую шерсть Лобзая, где заметно бегали блохи.

— Все бежит между пальцев, все, за что мы хватаемся, распадается, все расплывается, словно пар. Ищи прошлогоднего снега! На самом деле, как это могло быть, что я была маленькой Рэзи? Скоро будут говорить: «Смотри, вот идет старушка Рэзи». Время, Квин-Квин, это удивительная вещь; оно течет между мною и тобою, безмолвно, как песочные часы. Нередко я встаю среди ночи и останавливаю все часы. Надо быть легкой, с легким сердцем, легкими руками держать и брать, держать и отдавать... Октавиан... Бишетт... он уже взрослый — Федор... Федор...

— Я это знаю, — сказал Сергей.

— Разве? Но это еще не шло в Москве, хотя оркестровые репетиции уже были.

— Нам с Федором очень понравилось.

— Ах да, ведь вы из Ленинграда.

— Извините, из Петергофа.

— Извините, я забывчива. По-видимому, я старею. Нельзя этому поддаваться.

— А сколько же вам лет?

— Ай-ай-ай, Эсэс. А еще бабушка считает вас воспитанным. Нам никогда не бывает больше двадцати девяти: шесть лет подряд нам двадцать шесть, столько же — двадцать семь. После того как нам исполнилось двадцать девять, счет ведется в обратном порядке — снова наступает двадцать восемь, и так до бесконечности.

— Но ведь Федору, — настаивал Сергей, — не сегодня завтра стукнет двадцать два, как ни считайте, — и по юлианскому, и по григорианскому летосчислению.

— А вам сколько? — перебила Лямер.

— Мне двадцать шесть.

— Ну, значит, мы с вами ровесники.

Лямер резво закружилась по балкону, но споткнулась и упала бы с неровных досок ничем не огражденного балкона, если бы ее не поддержал подошедший. Лежа ногами еще на балконе, а плечами и затылком на том, кто ее держал, Лямер, не поворачивая головы, успела закончить свою арию. Потом встала, оправила волосы и оглянулась. Произошло обоюдное смущение. Подошедший, впрочем, бормотал:

– Ну и песня, а о чём в ней говорится, о народе?

Чтобы дать время оправиться здоровающимся, Сергей стал переводить: «Говорил я давно, под душистою веткой сирени стало душно невмочь, опустился пред ней на колени».

– Ах, – отвечал кооператор, – со вчерашнего дня Сергей Сергеич мой лучший друг. Неразговорчив, сосредоточен в себе, как все студенты, но с ним не скучно. Главное, чувствуется свой человек. Жесты у него скрупульные, а выразительно выходит, вроде как в кино, когда ей труп принесли, и она только пальцем повела да бровью дрогнула. Не без слабостей, понятно, да ведь каждая женщина – это особый мир. Но об этом я в вашем присутствии молчу, сударыня, и присоединяюсь к вашему салону на балконе. Слышите, я летел к вам на крыльях, с поручением.

Спина кооператора в самом деле выглядела темнее, чем остальная рубаха: видимо, он бежал, согнувшись, и дождь замочил его только с одной стороны.

Лямер взяла протянутую записку и развернула ее:

– Вы позвольте?

– Читай, читай, чего там. Да я и без того знаю, что написано. Ну и женщина же, я вам доложу, – пальчики оближете. И образованная: окончила не то что какие-нибудь там ступени две или три, а по всей прошлась, так сказать, лестнице. Сам-то я, увы, не могу пойти, селедки надо выдавать.

Лямер стала читать письмо вслух, скороговоркой (Герман читает записку Лизы, сцена в казарме). Кончив, Лямер спросила:

– Далеко ли идти?

Кооператор подмигнул на Сергея:

– Он дорогу уже знает, тоже ведь не дурак. Красота, а не тяжелая, я ведь ее прикинул на вес.

Последние слова относились к Лямер, отошедшей в сторонку оправить волосы. Бабушка стала потчевать кооператора чаём. Вскоре выяснилось, что кооператор ее отлично помнит: она ходила в церковь в Козихинском переулке, где он пел мальчиком в хоре. Стали подсчитывать, сколько кому годов и сколько лет тому назад это могло быть. Потом разговор перешел на здешнего отца Александра и на ветхозаветных праотцев. Оказалось, что Авраам, человек великой решительной души, жил сто семьдесят пять лет, Исаак – сто восемьдесят, Яков, друг мира, – сто сорок семь, воин Измаил – сто пятьдесят семь, а прекрасный Иосиф – всего сто десять лет.

– Красота-то, видно, даром не проходит, – заметил кооператор.

Бабушка забеспокоилась о Федоре. Кооператор утешал ее, что пророки живут и еще меньше: Илья – девяносто лет, Симеон – восемьдесят, и что вообще бывают исключения.

– Вот ваша красота еще тогда, в Козихинском, меня поразила, даром что я тогда еще мальчионком был. Крестное знамение вы уж больно красиво на себя кладли, грудь пышная, чело суровое, а кругом свечи, золото мерцает, клубы ладана.

– Какая тут красота, – затрясла бабушка головой, – мне и тогда уж лет пятьдесят как минуло.

– Ничего, Сара на сто двадцать седьмом году родила сына, – протестовал

кооператор. – А вы чего оживились, как о женщинах речь зашла? – похлопал он Сергея по плечу.

– Я больше насчет актрис, – отвечал тот, не замечая нахмутившуюся Лямер. – Вот Луцкая на сто двенадцатом году своей жизни еще выступала на сцене. Обнимая ее, Авраам не знал, зачинает ли он сына или входит в беззубую, пахнущую хлородонтом, могилу, а танцовщица Коппала спустя девяносто лет после своего первого дебюта с букетом цветов приветствовала Помпея.

– Да, это верно. Медынцовой тогда тоже вряд ли могло быть меньше сорока, но, понимаешь, разные эти трико, сцена, а главное, правильный образ жизни. Какая, вообще, по-твоему, картина человека, предназначенного к долгой жизни? Его родители должны быть здоровы. Вот отец и мать у меня мерзавцы, а вообще сложен он пропорционально, среднего роста, цвет лица ни бледный, ни красный, волосы скорее светлые, чем черные, голова не слишком велика, округлые плечи и живот, полные щеки, полная гармония во всех частях. Он открыт чувствам надежды, в самом, что называется, соку, чужд расчета, зависти и гнева, любит тихие размышления, настроен против черни, лет сорока, значит, молод, друг наук и народа, оптимист. Что, разве не похоже?

– Похоже, – подтвердил Сергей.

– А прекрасная у вашего приятеля мать, прямо бель-мер. А что она в деревню приехала, так одобряю: жизнь в деревне, среди деревьев, продолжительнее, чем в городе. К этому тополю, наверное, еще помещик прислонялся, то-то он грустит листочками. Только бы пережить, только бы пережить! – твердил кооператор, глядя на осенние караваны птиц, треугольником черневших в небе. – Счастливые, они уже летят. «Голубка моя, умчимся в края, где все, как и ты, совершенство»… Давайте, сударыня, улетим, – обратился кооператор к бабушке. Та отвела на это так:

– Неужто вам не жаль ничего здесь оставить? Значит, уж не молоды, а хорошо лежать в могилке, когда сверху каплет дождик. На здоровье не жалуюсь, желудок исправен, все у нас в семье по-хорошему. Мелкие неприятности не в счет: вот Федор запретил мне принимать отца Александра.

Лямер при этих словах ушла в комнату отдохнуть с дороги, видимо, полагая, что течение разговора обеспечено и без нее. Бабушка продолжала:

– Федор говорит, кого хотите, а попов не допущу. Или вот сахара нет, мухи, грязь, ребятишки сопливые. Надоело мне здесь. Хозяйка наша спит, не раздеваясь, на постели с двумя детьми и четырьмя котятами. Как она еще их не задавила во сне! Впрочем, и это ничего, а только, знаете, каждый год весна, зима, лето, осень, каждый день то ночь, то день. Одеваться надо, раздеваться, обедать. Что чай с сахаром, что без сахара – один вкус, с детства его знаю. Поесть бы чего-нибудь новенького, неиспробованного. Вот никогда не была ни лакомкой, ни обжорой, а теперь думаю: авось на том свете поем чего-нибудь вкусненького. Полон рот наберу и начну жевать, словно в детстве шоколад. Непонятно, как можно сто девяносто лет на свете прожить. И за половину-то времени соскучишься. В церкви, как начнут читать часы, думаешь, хоть бы времени вовсе не стало и никаких часов тоже. Церковный староста хотел мне в уголке стульчик поставить, да Федор

его от нас вытолкал. Не будь Федора, у нас бы жизнь была невмоготу скучная. Разве что привыкнешь жить, вот отвыкать и трудно. Я хоть старый человек, а ко всему нынешнему из-за Федора привыкла, со всем согласна. Румяный он у нас, волосики и до сих пор пушистые. Иной раз мне хочется его, будто маленького, в корытце искупать, чтоб он глазенки зажимал от мыла.

— Да что же ты мне не сказала, что сахару у вас нет, я думал, у вас чай нарочно такой, для здоровья. Разве сделать для вас, в память Козихинского: для милого дружка и сережка из ушка. Прикажи-ка ты Федору ко мне зайти.

Сергей, сидевший поодаль с книгой в руках, вздрогнул, услыхав свое имя.

— Дайте мне сахару хоть сколько-нибудь. Ну, например, сто десять пудов, — сказал он на ухо кооператору.

— Вот уважишь Леокадию, брат, по-нашему, по-студенческому, так я тебе, может, и двести отвалю, смотря по заслугам. Она мне сама скажет, — так же шепотом отвечал тот.

«Удивительно, он совсем не ревнует», — подумал Сергей.

— Слушай, брат, вот тебе мой совет: производительные силы трать как можно больше; не считай ночей, потребляй горячие напитки, кури; побольше огорчений, забот и горя. Запомнить легко: если хочешь пережить, поступай как раз наоборот... Однако мне пора. Норвежские селедки! Ну, господа, счастливый путь вам. Желаю успеха, — подмигнул кооператор Сергею.

Он убежал, и в тишине стало слышно мерное падение цепов: Макар и Устинья молотили на маленьком току подле дома. Устинья была примечательна своей лысиной, видимой сквозь зачесанные редкие волосы, и любовью к мужу, которому она то и дело советовала отдохнуть. Макар когда-то привык считать себя богатым. Теперь он молотил с таким видом, словно был по ненавистным, обманувшим его керенкам. Единственные слова, слышанные Сергеем от него, были такого содержания: «Этого у нас, господин, нету: в кусты ходим».

— Довольно прохладиться, идемте, — сказала Лямер, взглянув на часы.

По дороге обменялись поклонами с дьяконом, которого выгнала из дома жена. Когда он приподнимал черную свою соломенную шляпу, блеснуло на солнце золото обручального кольца. Подле кооперации повстречали вчерашних девиц. Они действительно выглядели устало. Сергей стал утешать:

— Я знаю, я сам страдаю от одиночества. А вы не думайте, Фильдекос вас помнит, велел вам привет передать: говорит, ввек не забуду, и на то лето обязательно сюда приеду, так что, видите, все хорошо.

Сергей переводил глаза с Дуни на Феню, на другую Дуню, на Домашу, стараясь угадать, к кому из них мог в особенности относиться выдуманный им привет Фильдекоса.

— Да мне плевать на него, — сказала Феня.

Дуня только вздохнула.

— Вы страдаете? — обрадовался Сергей. — Лев Толстой прав: сколько страданий на свете.

— Я страдаю оттого, — говорила Дуня, — что мне не дали командировки в вуз. Счастливица Феня: осенью она будет в Москве практиковаться с Фильдеко-

сом. А тут оставайся, возись с соплявыми ребятишкам, настанет непогодь, распутица.

– А вы отчего не страдаете? – обратился Сергей к счастливой Фене.

– Я не страдаю оттого, что получила командировку. Хорошо, должно быть, в вузе: вечеринки, гулянки. А страдаю я, что нет у меня шелковых чулок. А еще я страдаю, что мой Николай-угодник останется здесь и будет путаться со всякими.

– Ну, ты, Фенька, меня не трожь, сама ты «всякая», – оживилась Домаша.

– Да не про тебя речь: охота ему с тобой путаться.

– А может, и охота? Чем я тебя хуже?

– А тем хуже, что собой не вышла.

– Ай, как я страдаю, – вопила Домаша, – что у меня на губе родинка. Пробовала ее сводить уксусной эссенцией, ничего не вышло, только себя раскровянила. А еще я страдаю оттого, что всякая дрянь надо мной измывается.

Девицы уже готовы были вцепиться друг другу в волосья. Визг, во всяком случае, уже раздался. Под воздетыми руками протемнели подмышки: от жары пропотел узорчатый ситец. Двери кооперации внезапно с шумом распахнулись. Кооператор выбежал, отдуваясь. Его глазам представилась растрепанная картина.

– Девки, брат мой, усталый, страдающий брат, кто б ты ни был, не падай душой! Не падай, стерва, тебе говорю, не падай и не щиплись. Айда в лавку, конфетами угощу – «Красный флот», свеженькие, нынче получил.

Двери кооператива затворились за вошедшей гурьбой.

Лямер внимательно поглядела на Сергея:

– Я вот думаю про нашу хозяйку, ей бы игуменьей быть: локти белые, толстые. Должно быть, умелая особа. Этих девиц отдать бы ей под начало. А скажите, почему его зовут Фильдекосом?

– Здесь есть такой Гриша Ермолов, в фетровой шляпе. Федор уверяет, будто уехавший называл эту шляпу фильдекосовой, а за это его самого так прозвали. Не знаю, может быть, это и не так.

– Так, так, а как хорошо стало после дождя. Прозодежда высокого качества, меня нисколько не промочило, – раздались слова Федора, вышедшего из лощины. Полотняный портфель с бумагами был в его руках.

Федор шел посередине, держа под руки с одной стороны Лямер, с другой Сергея. Его спутники принуждены были плестись по колеям проселочной дороги, тогда как он сам резво шагал по травке. Сперва все молчали, отдаваясь легкому после дождя воздуху. Но Федор не выдержал, стиснув локти спутников, он громогласно стал петь:

– «Ратаплан, барабан, что за наслажденье, чувствую сильнее сердцебиение!
День весь я король, ночью ж мапароль».

– Федя, брось.

– Опять у Феденьки стиль бебе, ему бы детскую книжку с картинками: коровки, барабан, надо кушать суп.

– Ничуть не бебе, я хочу повеселиться хоть до прихода к Леокадии, а то у нее так «скучно».

– Это зависит от нас, везде можно чувствовать себя весело. Давайте распре-

делим роли: ты, Федя, раз ты поешь про ратапланов, должен приударить за Леокадией: и тебе и ей не будет «скучно», да и я, в конце концов, хотела бы, чтобы ты «почувствовал сильней сердцебъене».

– Ну вот еще, что ты меня мучаешь, как обезьянку. Я здесь уже чувствовал в июне такое сердцебъене, что хоть отбавляй. Приехали студентки измерять среднюю температуру. И как нарочно, все высокие и тощие. Фильдекос их так и прозвал термометрами. Я одну из них как-то проводил до дома. После мне проходу не было. А я-то тут при чем? У них температура из-за Фильдекоса подскочила. Пускай Сережка займется этим, а я стану играть с Леокадиным мальчиком.

– Боюсь, что у Эсэса это не выйдет – он слишком исландец.

– Вы ошибаетесь, Лямер.

– Ну, посмотрим.

– А какую же роль вы оставите за собой?

– Я сброшу с себя все роли, являюсь сама собою, буду молчаливой, трагической матерью Федора.

– В таком случае жаль, что вы не в черном закрытом платье.

– Файгиню и Сережка, – воскликнул Федор, – надо, чтобы вы подружились. Будем жить тихо и мирно, установим разделение труда: я буду работать в поле, бабушка – готовить обеды, Файгиню – молчать, чтобы дать отдохнуть голосу, Сережка – мечтать в сарае. Ну и жарко же. В такую погоду хорошо разлагаются трупы.

Лямер отвечала, подумав:

– Я согласна, но только именно все втроем: баран, Иван и Эсэс. Иначе – нет.

Трое ребятишек с визгом и смехом указывали пальцами на идущих. Панама Сергея, некогда купленная им в комиссионном магазине, смешала их.

– Ничего, ничего, – утешал Федор Сергея, – теперь переходный период, а шляпа, право, ничего себе.

Но Лямер оказалась права: все проходит. Прошел и ребячий смех. Уже придвижнулось несколько изб, прилепившихся к темени не то холма, не то большого кургана, кругом их много пестрых цветов. Далее окружность пажитей. От площадки шли две дороги: одна в Акрейку, другая – в Шиздрово. Показался и Леокадин дом. Ставни были открыты, но окна чем-то законопачены изнутри. Уютным плющом было увито крыльце. Федор постучал три раза в приотворенную дверь.

Не дожидаясь ответа, вошли в темные сени.

«Как бы это никогда не расставаться с Мирандином, – думал Сергей. – Способ, пожалуй, есть, и даже простой: перестать быть и вселиться в здешних обитателей. Да и вообще, что такое я? Я вижу, слышу, подмечаю – больше ничего».

Сергей почувствовал, что он любит Леокадию. Да, он ее страстно любит.

– Заготовили ли вы вступительную фразу? Впрочем, сердце вам должно само подсказать, – шепнула ему Лямер.

Сергей, ничего не отвечая, успел подумать так:

«Альдже́рон, велите дать мне чашку чая, я страшно голоден, – так говорят англичане-аристократы. – Буду пить и есть как можно больше. Хороший аппетит и высокий рост – это элегантно».

Все стукнулись о низкую притолку и потирали лбы, когда Леокадия явилась

в сени с керосиновой лампой в обнаженной приподнятой руке. Она застыла на пороге, демонстрируя свое батистовое платье. Секунда, что она стояла так, напоминала цветную открытку, иллюстрирующую «Кво вадис» – «Лигия на пороге дома Виниция», Парижский салон, 1899 год.

– Ах, добрый вечер, добрый вечер, не ушиблись ли вы? Здесь так темно. Что делать, приходится жить в простой избе, – рассыпалась она, вводя гостей в чертог. – Я навела чистоту, сколько могла, но, в конце концов, что здесь поделешь, в русской деревне, ведь это не Минск, не правда ли?

Сергей смотрел на украшение стен: землянички-vasileчки глядели с гипсовых кружков, привешенных всюду на розовых и голубых ленточках, – несомненно это была работа Леокадии. Ею же были украшены ленточными бантиками богатые деревенские образа, заполнившие угол избы. Под ними на столике – голая гипсовая нимфа, правой рукой тянущаяся к висевшему над ней, закованному в серебро Николаю-угоднику и выкрашенная в зеленый цвет, поддерживала непомерно вздувшимся бедром округлое туалетное зеркало.

– Однако у вас очень изящно, – сказала Лямер, усаживаясь. – Я только не понимаю, почему вы заткнули все окна одеялами. Почему горят лампа и церковные свечи? Ведь теперь день, обеденный перерыв.

– Ну что вы, вы, столичные, всегда осудите. Я почти не взяла с собою обстановки, знаете, чтобы не было лишнего багажа. Так только прихватила с собой несколько бибелоков. А вообще, мадам, я, думаю, что мы-то с вами понимаем друг друга: после шестнадцати лет лучше страдать от жары, чем от света, а легкая испарина – это даже пикантно.

Федор с Леокадиным мужем совмешали чаепитие с рассматриванием чертежей. Лямер молчала. Леокадин ребенок тянулся к столу, уставленному булками, печеньем и самыми лучшими, какие были в местном кооперативе, сортами конфет. Леокадия шлепнула его по рукам.

– С пяти часов встаёт, и никак его не уложишь днем спать. Мученье с этими детьми! – отодвинула она счасти от настойчивого мальчугана.

Но тут вмешался Федор:

– Давай, Боба, поспорим, кто скорее заснет. Понимаешь, наперегонки. Приз – вот эта конфета, – и Федор, взяв у матери булавку, пришипил конфету к обоям. Казалось, один из обойных цветочков внезапно созрел увесистым темным плодом.

Через несколько минут из соседней комнаты раздалось умиротворенное спенье.

Леокадия улыбнулась и, склонившись над плечом Федора, прошептала:

– Боба уже спит. Теперь очередь за вами. Почему вам не спится? Почему вы не смыкаете очей? Откройте эту тайну, безумец.

Леокадин муж, чтоб заглушить ее, стал вслух читать из разведочных журналов:

– «Исследование по простиранию... обнажение пластов... глубокое и неглубокое бурение... алмазное бурение».

Леокадия хихикнула. Федор взял резинку и начал что-то стирать в разведоч-

ном журнале. Сергей, привстав, успел заметить, что резинка Федора направилась ко второй из следующих строчек:

песчаник бурый
придешь завтра?

Леокадия повела плечом и отошла в сторону.

– Скажите лучше, вы очень интересуетесь Румынией? – прищурила Леокадия глаз. – Я ведь про вас уже знаю. Говорят, вы с женой не ладите и ведете сношения с боярством.

– Нет, – отвечал Сергей, – это я тогда просто так. Неудобно, знаете, в моем возрасте не иметь жены. А о Румынии я никогда и не думаю. Вот только вчера в кооперации.

– То есть как это в кооперации? Как вы смеете!

– Нет, нет, это Алексашка… Он рассказывал. То есть я не знаю, как его зовут. Это кооператор так его называл – Алексашкой. Может быть, вы знаете его полное имя?

– Откуда же мне знать? Я с ним и знакома-то всего с месяц. Нынче утром отринутый безумец уехал. Ах, все уезжают: и он, и Фильдекос. Теперь вся надежда на присутствующих, о которых не говорят. Уезжая, он оставил мне книгу, и представьте, писатель очень интересный – румын, должно быть, жгучий брюнет. Я люблю литературку.

– А это ваши «отметки острые ногтей»? – спросил Сергей, перелистывая потрепанный томик и невольно, про себя, прочитывая отчеркнутое:

«Леана вышла из вагона. Адриан почувствовал в ней женщину до мозга костей и мгновенно запылал, как костер. В голове его все завертелось с бешеной быстротой, сердце прыгало в груди, как взбесившийся в своей тесной клетке лев; закипевшая кровь пламенем разлилась по всему телу, от гривы до когтей зверя. И недаром. Эта проклятая молодая кобылица, казалось, была отлита в огненной геенне желания. Тело по гибкости напоминало змею. У бедного парня пересохло во рту от непреодолимого желания укусить. Глаза заволокло густой пеленой, поднявшейся из бешено пылающего нутра. Он впился в ее шею и, не обращая внимания на ее болтовню, жадно, по-собачьи, втягивал ноздрями запах ее кожи…»

Леокадия отставила закорузлый мизинец с длинным отлакированным ногтем, посмотрела на бирюзовое свое колечко, потом поднесла руку к ноздрям и понюхала.

Сергей продолжал:

– Зачем этот румынский писатель истратил столько жара? Мне нравятся в нем другие места. Вы их не замечали?

– Зачем? – повторила Леокадия с расстановкой, – да затем, что ваша братия, все вы скрытые вулканы. Того и гляди пожар случится. Я ведь вас насквозь вижу, вы – фонарь, изнутри пылающий огнем, – все кругом освещено, не правда ли? Ну, не молчите же так нескромно!

Сергей видел, что Лямер кусала не столько печенье, сколько свои губы, а

Федор, склонившись над чертежом, который он показывал Леокадину мужу, что-то слишком долго водил пальцем все по той же линии.

Сергей раскрыл рот, уже воздух шел у него из легких к голосовым связкам – сейчас он что-то произнесет, и он с любопытством ждал, что же сейчас прозвучит у него во рту?

– Ах, ваше пение, ваше пение, Леокадия Иннокентьевна! – раздались неожиданно Сергеевы восторги.

– Я вовсе не пою, – обрадовалась Леокадия.

– Леокадочка действительно не поет, – вмешался ее муж, оторвавшись от чертежей. – Федор Федорович, Сергей Сергеич, мамаша – не знаю вашего имени-отчества, – давайте-ка ваши стаканы. Чай хороший – «экстра». Кладите по два куска, ничего.

– Я всегда без сахара, – отвечал Федор.

Сергей выудил из банки большущий кусок, еще не расколотый на меньшие дольки, и стал вертеть его в руках:

– Как это напоминает мне девственную природу Кавказа, снега, Казбеки, страсти. Я очень люблю грузин, пылкие сакли, пляски, кинжалы.

– Коли любите, – начала Леокадия и, не окончив фразы, опустила Казбек в стакан Сергея. Вытесненный чай залил цветистое блюдечко.

– Ах этот низкий, волнующий голос, – настаивал Сергей, глядя на лампу, зеленую нимфу и гипсовые кружки.

– Я не понимаю, Сергей Сергеич, о каком пении вы говорите, – у меня, увы, нет талантов.

– Как нет талантов? То есть, конечно, вы не Шекспир, не Айвазовский, я вам не стану льстить. Быть может, конечно, у вас и не оперный голос, но дело не в этом, главное, как он хватает за душу, какая экспрессия!..

– Экспрессия? Ах вы лястец!

– Да, все дело в этом: у иной и голос сильнее, но, знаете, не хватает вот этого, как бы сказать?.. А у вас так и хватает.

– Противный, противный, – ударила Леокадия платочком Сергея по рукаву.

Тут Сергей стал выхватывать у нее платочек – тот затрещал, готовый разорваться. На лице Леокадии изобразился трагический конфликт страсти и долга: с одной стороны, грозил ущерб в виде разорванного платочка, с другой стороны, манеры и образ действий Сергея были, несомненно, по-столичному увлекательны. Наконец страсть победила.

– Ну-ну-ну! – прококетничала Леокадия, рванув платочек к себе. Ситец с треском разорвался. Сергей поднес к носу оставшуюся у него в руках половину. Пахло кооперативным мылом для стирки и еще чем-то паленым.

– Это, конечно, «Рев вежеталь», – спросил он, на глазах Леокадина мужа целуя лоскуток.

– О нет, это букет сельского сена, – помахивала Леокадия своим лоскутком. Высучившаяся нитка болталась на неровном его крае. – Странные бывают случаи, – продолжала она, – в прошлом месяце приехало к нам штук тридцать столичных комсомольцев и, представьте, все блондинчики. Ночлега, конечно, не на-

шли. Знаете, у них там какой-то культиход или что-то в этом роде. Заночевали в сарае, на сене. И знаете, ночью сарай как вспыхнет – ни один не спасся.

– Я до такой степени поглощен вашим пением, что уже, как видите, не различаю ароматов, – продолжал Сергей.

– Так, стало быть, вы сегодня были там? – понизив голос, спросила Леокадия.

– Еще бы мне не быть там, раз вы там были! А скажите, кооператор не будет иметь ничего против?

– Ну, проверим, действительно ли это так. Опишите-ка мне этот лесок. А о нем не беспокойтесь: он и сам дефицитен. Надоел, все время говорит про старость. Но, однако, вы начали что-то про лесочек.

– Что же, лесок как лесок.

– Нет, не отнекивайтесь, скажите, какие там были деревья.

– Да разные – дубы, березы...

– Вот и неправда – берез там не было.

– Леокадия Иннокентьевна, – вмешалась Лямер, – Сергей Сергеич из Петергофа и такой городской человек, что куда уж ему различать деревья, он даже ржи не отличает от сосны.

– Ах вы противный столичник!

– Ах этот лесок, – продолжал Сергей, – когда вы мелькали среди кустов, мне казалось, что я не здесь, в Мирандине, а в Версале, в Трианоне. Знаете: «Берега кристальной речки, и пастушки, и овечки»...

– Все вы врете, – овец там, к счастью, не было, да и я, слава богу, не пастушонок какой-нибудь. Здесь, конечно, такая пустыня, а вот в Минске у нас – Большие Липки и Малые Липки. Впрочем, я сразу заметила: то-то вы попросили, чтоб я вас подвезла.

– Ну да, да. Но ваши песни! Вы сирена почище этой нимфы, – Сергей сделал жест в сторону зеленою держательницы зеркала, – от вас нужно залеплять уши воском, если желаешь остаться невредимым.

Леокадия любопытно взглянула на обращенное к ней ухо Сергея, довольно большое и с волосками, выглядывающими из раковины.

– Не хотите ли печенья?

– Страстно хочу, если это дело ваших рук!

– Я никогда в жизни не стряпала, знаете, не к чему, когда есть и кухарки, и судомойки, но здесь приходится.

На протянутом блюде песочное печенье являло завитушки, кренделечки, сердечки, ромбики. Сергей взял сердечко двумя пальцами, продемонстрировал его всем сидящим за столом, потом приложил к своей груди.

– Левее, пониже, – вмешалась Лямер.

Сергей с хрустом разломил сердечное печеньице, глядя в упор на Леокадию:

– «Так сердца моего коснулась ты небрежно...»

– Комик, комик, да вдобавок и поэт, прочитайте-ка нам что-нибудь из ваших стихов.

– Только в том случае, если вы споете в награду мне.

– Ну уж это дудки-с, да и пианино здесь нету.

Федор при этих словах вздрогнул:

– Однако в лесочке вы пели, там тоже не было пианино.

– Ах, я просто спаслась туда от Бобы, знаете, дети так приедаются.

– Ну хорошо, пение за вами; сейчас я вам скажу свои стихи, это из шампанского цикла.

Сергей поднял глаза к небу, то есть к прокопченному потолку крестьянской избы, по которому бегали тараканы, и сказал прерывистым голосом:

– «Наша встреча – Виктория Регия, редко, редко в цвету... Ты придешь – изнываю от неги я, и надежда в мечту, трепещу на лету»... А вы завтра будете в лесочке?

Кончив, Сергей поник главою. Леокадия смеялась грудным смешком. Вдруг все вскочили, чертежи были поспешно убраны со стола, по которому струились потоки чая из перевернутого стакана.

– Извиняюсь, – произнес Леокадин муж.

Все стали прощаться. Сергей приложился к Леокадиной ручке, ткнутой к его устам.

На поклон Федора Леокадия не ответила, передернула губами и прошептала Сергею, указывая глазом на Федора:

– Воображаю, как он будет убит, когда узнает. Ну, сам виноват.

– Не сердитесь, – так же шепотом отвечал Сергей, – у него тоже есть красавица.

– Неужели?

– Да, красавица-вышка, около сто пятой дудки.

– Ничего, все-таки приходите, – приглашал Леокадин муж, – приятно иногда провести время в обществе.

– Ах да, господа, чтоб не забыть, – сказала Леокадия, – сегодня бал у попадьи. Не у жены отца Александра – впрочем, она уже умерла с год тому назад, а в Богучарове. Так что мы еще увидимся. Моя невинность останется дома: он не умеет вести себя в обществе.

Сергей спросил, будет ли там Мотенька.

– На что он вам? Разве недостаточно того, что я там буду? А с Мотенькой я вам не советую знакомиться, это человек не нашего круга. Вообще, здесь публика невоспитанная, их и в гости-то пригласить неудобно: уходя, ташат пряники и сладости. Никакого, знаете, высшего света. Ну, до скорого.

Отходили от дома медленно, прислушиваясь к смутным голосам, раздававшимся из законопаченных окон: смех, вопли, верещанье, дребезжанье разбивающейся посуды. Очевидно, супруги объяснялись друг с другом.

Дружная тройка зашагала к себе домой, отмахиваясь от выскочивших собак. Федор опять шел посередине, обнимая Лямер и Сергея. После комнатной духоты и чада керосиновой лампы было приятно дышать пыльным воздухом деревенской дороги и убедиться, что сейчас не вечер, а день в полном разгаре, яблони стоят, отягченные плодами, и кажутся серыми от жары.

Под каждой из яблонь чернел кружок взрыхленной земли. Это заставило

Сергея окружить ствол металлической решеткой и почувствовать под своим каблуком асфальт бульвара, мягкий от жары. Сейчас запахнет бензином, и автобус остановится здесь, у края фруктового сада.

Сергей войдет в него и, садясь на кожаную лавочку, станет красть носовые платки: плотный служащий, роющийся в своем кошельке, не подозревает, что Сергей ворует у него ноготь на большом пальце и помещает в еще не заполненную пятую строчку своего стихотворения.

От Федора, стискивающего ему локоть, Сергей похищает всю руку, ее он увозит с собой в Петергоф. Запах кожи – это тоже ему пригодится. Он возьмет его на память.

В эти просветленные минуты Сергей вполне понимал, что собаки чутьем отличают женщин от мужчин, детей от стариков.

Сергей завидовал Дамке: она могла бы рассказать, кто только что прошел по пыльной этой дороге. Сейчас Дамка забилась в печку и блаженствует: у только что родившегося жеребенка она отъела ногу. Родильница-лошадь, утешая младенца, сует ему в рот солому.

Запах пропотелой одежды и прокуренной бороды почувствовался сильно. Это

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Иван Васильевич Шишков поздоровался с идущими и угостил их яблоками.

– Лёв Николаич как-то ранней осенью в Москве, в своем Хамовническом доме, кушал яблоки и похваливал:

– Вот это яблоки так яблоки. Отчего это у меня в Ясной нет таких? Казалось бы, фруктовый сад у меня большой – тридцать пять десятин. Где вы их купили?

– На Болоте, – отвечал лакей.

– Пойди туда и узнай у фруктовщика, из каких садов эти яблоки.

Под вечер, когда Лёв Николаевич писал по-английски ответ иностранному сочувствователю, а Софья Андреевна, призвав в гостиную повара, устанавливала меню завтрашнего обеда, колеблясь между соте и беф-брюзье, лакей вернулся и доложил:

– Яблоки, о которых приказывали спросить, говорит, из толстовских садов, с Ясной...

– Скажите, Иван Васильевич, – перебил Сергей, – отчего вы такой черный, не цыган ли?

– Дед у меня был цыган, а я всю жизнь служил садовником у Льва Николаича.

– Вот бы вы написали о нем мемуары, здорово заработать можно.

– Не нашенское это дело писать. Лёв Николаич уж все написал, что надо, а я здесь в артели теперь работаю насчет яблок.

– Вот это правильно, – одобрил его Сергей, – про Елену, про шалаш и Гришу Ермолова тоже не стоит писать.

Вместо ответа Иван Васильевич показал свое жилище. Под вековыми липами, где когда-то Зюзи бродила с французской книжкой в руках, стоял светлый, свеже-

выструганный фанерчатый домик. Лямер присела на скамейке у входа. Внутри было три ложа – среднее для Ивана Васильевича, на боковых валялись его помощники. По стенам висели ружья.

– Вот так вот и спим, не раздеваясь; чуть зашелохнет веткой, вскинешь винтовку и на цыпочках – туда. Водицы испить не хотите ли, у нас вода вкусная. А намедни на реке, вижу, тащат вброд лодчонку трое каких-то голых. Я и спрашиваю: платье-то у вас водой, что ли, унесло? – Нет, – отвечают, – мы экскурсанты, со Смоленска вплавь едем.

Иван Васильевич замолчал, прислушиваясь к песне, раздававшейся из сада. Пел, очевидно, Гриша Ермолов: «Ах ты, сад, ты мой сад, сад, зеленый виноград».

– Что же, мужчины или женщины? – осведомился Сергей.

– Кто их разберет, – все стриженые, опояски на всех одинакие. Разве вот что – вы уж меня извините, я по-русски выражусь...

Иван Васильевич действительно выразился по-русски. Федор покраснел и опустил голову. Парни, лежащие на боковых ложах, загоготали.

– Коммуна – вещь хорошая, – закончил Иван Васильевич, – а чтоб голыми ходить, на это такого закона нет. Лёв Николаич много против распутства писал, говорит, что голую девку увидать приятно по закону, ну а голого парня – так тут уж только плюнешь, так с души и рвет мерзостью, точно яблок недоспелых не-вмоготу наелся.

Плевок Ивана Васильевича попал на округлый край румяного яблока, лежавшего на земле.

– Я что-то устала, – сказала Лямер.

Впрочем, до дому было уже недалеко. Шли молча. Повстречали Федорово начальство, едущее в бричке. Оно деликатно отвернулось от идущих, пробормотав:

– Я слеп на оба глаза.

Но Федор остановил его, вскочил в бричку, и они оба умчались на работы.

Сергей проводил Лямер до дверей спальни и на минуту задержался в хозяйственной комнате. Там кружевная вязаная скатерть покрывала комод. Среди гипсовых кисок стояло несколько рамочек с фотографиями (одна рамочка крымская – из раковин): Иса Макаровна в юности, с граблями в руках; она же с мужем на фоне прибоя (он сидит на бамбуковом стуле, она стоит и, по-видимому, ожидает ребенка); затем группа: четыре женщины, чайный стол, самовар, параличная помещица, сидя в кресле-качалке, прижимает к себе детей, молодой человек в косоворотке и сапогах с голенищами очень сознательно помешивает ложечкой в стакане, у него вихрастые волосы и умное лицо: он тайком уже почитывал Бокля, размышлял о женском вопросе и презирает остальных сидящих. Последняя фотография: памятник Глебу Успенскому в Туле работы скульптора Ризенберга (на пьедестале лира и четверть лошади).

Сергей приблизился к зеркалу и посмотрел, как выглядит он в панаме. Засиненное мухами стекло отражало заломленные поля Сергеевой шляпы, наклон его головы, то откинутой назад, то свисающей набок.

– Правда ли, что я тоже демоничен? Мне об этом Марья Семеновна что-то говорила в Петергофе.

Сергей сдвинул брови и выпростал себе на лоб из-под панамы адскую прядь волос. От всех этих упражнений ему стало жарко, тем более что окна в комнате были наглоухо закрыты и заставлены цветочными горшками с какими-то отростками, мексиканским кактусом и лимончиком, который был особо прикрыт перевернутым стаканом, – под ним создавалась жаркая атмосфера сицилийских померанцевых рощ. В жирной рыхлой земле цветочных этих горшков копошились розоватые земляные черви. Это была та самая земля, которая там, снаружи, родила рожь и ячмень и прикрывала рудный горизонт, уже опробованный Федором. Из-за этой земли крестьяне разгромили помещичьи усадьбы.

Сергей утирали пот и думал:

«Жарко сейчас очень. Пыль, солнце, я, несуразные травинки, лето, матери, Федоры – это было всегда и всегда будет. А вот состав статуэток на лотке у мальчишек в Туле – это меняется. Киски, нимфы, собачки, Наполеоны со штампованными гипсовыми спинами – это я все помню еще с детства. В застарелую эту компанию прибавились теперь новые бюстики. Интересно, что будут продавать с лотков через сто лет?»

Тут случился момент, несомненно, центральный в Сергеевской жизни: он увидел на хозяйской постели мещанистое одеяло, сшитое из лоскутов. Оно было несколько засалено, но все же лоскутки пестрели разными цветами, темные линии отделяли их друг от друга.

Сергей подошел поближе. Синий квадратик из диагоналевой материи едва ли не вел свое происхождение от жандармских штанов,

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

коричневый с белыми лилиями – от праздничной старушечьей кофты. Были тут лоскутки и девически нежные, розовые. Среди ситца блестал атлас, ночной бархат был приятен на ощупь.

Наклонившемуся Сергею показалось, что одеяло пахнет всего более котятами и чем-то даже не неприятным, а скорее историческим, напластованием поколений, кофеем, семейным счастьем.

Сергей водил пальцем по лоскуткам, путешествуя из одного цвета в другой. Попав на атлас, он судорожно вздрогнул: это действует так же, как если провести ногтем по обоям.

«Шарпани меня святым твоим шарпаньем по душе и телу» – молитва, сочиненная по поводу того, что завеса царских врат задерживалась со скрежетом: «кок-лечки заржавели», – так рассказывал Федор. Сейчас, стоя над одеялом, Сергей понял его антирелигиозное настроение. Конечно, и сегодня будет то же самое. Закат послужит сигналом: солнце будет садиться за тополями, Лямер будет кушать гречневую кашу с молоком – гигиенический умеренный ужин. Федор придет в хорошее настроение духа, предвкушая вечер. Больше, чем спускающийся сумрак и свежая тишина, будет говорить о вечере легкая истома после работы весь день на воздухе. Приятно болтать ногами, сидя на стуле, приятно болтать с соседом, приятно помешивать ложечкой чай, еще приятнее будет растянуться потом на сене.

— Что это ты сегодня так разошелся, не оттого ли, что завтра большой праздник? — будет говорить бабушка Федору, когда он попросит четвертый стакан чая.

— Да, бабуся, пес тебя дери, конечно, оттого.

— Да локти-то не клади на скатерть, совсем здесь распустился.

Федор примет руки со стола, грозно подымет их вверх и продекламирует:

— «Плачь, родители, стенайся: твой сын негодяй, твой сын социалист».

— Что это? — спросит Лямер.

— Так... А вот еще: «Барчуки-с, сегодня злосчастнейший день нашей жизни: государя императора не стало от злодейской бомбы». Удивительную аналогию прорвedu вам между Господом нашим и в Бозе почившим государем императором. «Господи, прости им, не ведают бо, что творят», — сказал Господь. «Хорош гусь, держите вора», — сказал государь император. «Господи, в руци твои предаю дух мой», — сказал Господь. «Везите меня в Зимний дворец», — сказал государь император.

Бабушка будет слушать, истово перегрызая корочку хлеба своими хотя и восьмидесятилетними, но целыми зубами.

— Барчуки-с — это годится для кошек, — скажет Сергей.

— Не тревожьте их, Сережа, они уже спят, а то вы из любви опять искалечите какого-нибудь котенка.

— Не понимаю, как можно любить кошек: лукавое, коварное существо. Уж поросыта лучше, если на то пошло, — вмешается Лямер, — у них, собственно говоря, очень красивые глаза, светлые, прикрытые совсем белокурой сеткой ресниц.

— Позвольте, я согласен, поросыта хороши, особенно под хреном, но кошки лучше. Мы с кооператором тезки. Он уже цитировал, надо и мне, — скажет Сергей и станет с выражением читать сонет про кошек.

— Бога вы не боитесь, Сергей Сергеич, нынче канун праздника, а вы по-французски тараторите, — возмутится бабушка и, негодяя на смех внука, принуждена будет отставить блюдечко.

— Известное дело, французская нация самая неприличная: все бы ей шантаны да шайтаны, а сейчас всенощная еще не отошла, так что грех.

— А тебе не грех было угостить нас сегодня за обедом недопеченными яблочками? — спросит Федор.

— Что не допеклись, не мой грех — печка виновата.

— Да нет, не в том дело. А ведь ты эти яблоки подобрала в саду на дорожке, значит, они ворованные. Вот тебя на том свете за это и припекут.

— Ну, авось так же недопекут, как я эти яблоки, — и бабушка снова придвинет к себе блюдечко.

После этого неудивительно, что Федорово Обожаемое начальство, проезжая мимо на бричке, будет думать так:

«Хе-хе-хе, видать, столичные штучки. И так ловко все подстроили: сперва якобы к Федору приятель приехал — ну, приятель — это не диво, дело известное. А потом уж и с а м а приехала, видите ли, на летний отдых из Москвы, устала будто от оперы. Разве от оперы устанешь? Хорошая опера «Евгений Онегин». Нет, не иначе как в оперетке поет. Но светские, черт их дери, наверно, все по-французски промеж себя разговаривают».

Обожаемое будет поправлять на лбу повязку: у него чирей, и его лечит местная докторша.

Сергей будет думать про Обожаемое:

«Наверное, он лжеспециалист и только прикрывается этой повязкой. Наверное, он в старое время был просто управляющим чьим-то имением. Подходило бы, если бы он был из полячков».

От одеяла исходил такой плотный дух, что Сергей стал ловить его пальцами.

Между тем Иса Макаровна вошла в комнату, посыпая прощальную фразу сидящим на балконе:

– Да, так вот и пропили девку за две четвертных. Да что вы такие вежливые, я к этому не привыкла.

Она ахнула, заметив Сергея, приподымающего краешек одеяла и трагически наблюдающего темное пространство, лишенное простынь; крупные блохи резвились там.

Произошло смущение. Сергей бросил одеяло, покраснев, отскочил от постели и уже стоял посреди комнаты, якобы настынивая, как человек в превосходнейшем настроении духа и с превосходной панамой на голове.

Хозяйка со стопкой выглаженных рубах в руках стояла в раздумье. Нижняя сорочка угрожала вывалиться из стопки. Сергей узнал в ней Федорову рубашку, в которой тот был в Петергофе.

– Дайте я вам помогу, – Сергей взялся за край сорочки.

– Ничего, Господь наш и потяжельше ношу нес, – кротко отвечала хозяйка и проследовала на кухню. Через дверь было видно, как завозилась она над черными корытами, метнув белье в корзину.

Котята тыкались мордочками в блюдечко с водой, подбеленной молоком. Сергей думал о судьбе искалеченного им котенка. Будет ли он прыгать по мартовским крышам, оттеснят ли его здоровенные котиные жеребцы? Придется ли ему отнять обе ноги выше колен, и он, в тележке, с деревянными культиками в руках, станет передвигаться по тротуару, спекулируя на набожности отсталых слоев населения и с кокетством выставляя из укороченных своих брюк красные, похожие на ветчину, отрезы тела, уже заросшие тонкой кожицей? Подойдет ли к нему молодой чувствительный прохожий и спросит ли:

– По некоторым обстоятельствам, будьте любезны сказать, как вас зовут и где вы живете?

Инвалид дерзко вскинет провалившийся нос:

– Меня уже рыгистрызовали. Я не милостыню прошу, а просто гуляю по Невскому не хуже тебя. Впрочем, рад познакомиться.

Сергей подумал, что котята вряд ли будут рады, если он присоединится к их пискливой компании, станет на колени перед их мисочкой и начнет лакать молоко. Поэтому Сергей обычным своим маршрутом прошел на сеновал.

Сейчас наступали самые томительные часы – до обеда, не по-деревенски позднего, так как приходилось ждать возвращения Федора с работы.

Сидя на сене, Сергей подсчитывал свои богатства: чай индийский, в зеленой обертке; чай китайский черный, № 1, в синей обертке; № 2, в коричневатой; чай

цейлонский, № 95, Центросоюза, в красной; чай китайский, № 100, в лиловой. Отчего же не купить, раз свободная продажа?

Сергей хотел предаться обычным своим сеновальным думам, но подскочил, укушенный мухой. Она бродила у него по рубашке, плоская, зеленоватая, крепенькая. Поймать ее было легко, так как взлететь не приходило ей в голову. Под пальцами она не раздавливалась так, как обыкновенная муха. Пришлось положить ее на днище близстоящей бочки, на которой устроен был Сергеев туалет, и там аккуратно раздавить восьмигранным концом карандаша. Сергей машинально сделал это. В голове у него стояли слова хозяйки про хороший город Алексин на Оке. Сосновый бор, Кудеяров колодец. На детей хозяйка кричала:

— Опять вы мне концерты задаете, чтобы вы сдохли... Иди овец загонять.

Одновременно Сергей высчитывал, сколько в человеческой жизни секунд, — выходило около миллиарда, значит, можно успеть прочесть миллион страниц.

Муха хрустнула под карандашом и обратилась в кляксу. Сергей опомнился и вскочил:

«Что делать, как быть? Лев Толстой говорит, что убивать нехорошо. А может быть, хорошо. Все непонятно. Почему я здесь, в Крапивенском уезде? Почему все так глупо? Должно быть, я сам глуп. Надо любить животных».

Сергей взял с бочки хозяйственную книгу. «Несомненно, — думал он, — много значит читать вещь именно там, где она написана: климат и воздух остались те же. К стволу этого дерева прислонялся автор во время прогулки. Эта страница написана после чаепития, когда десны еще помнят теплоту чая с молоком. Бородинское сражение создалось, конечно, после размолвки с Софьей Андреевной».

Сергей задремал неприметным для себя образом и во сне видел руку. Черная шерсть, начинаясь из-под рукава, проступала и на крепком мускуле под мизинцем. Петергофские жители обычно раз в неделю брали волосы у себя на теле, их руки становились похожими на женские, но только увеличенного размера и покрепче. По-немецки же кулак называется «Фауст», «ди Фауст» — удивительно, что это слово женского рода.

Сергей проснулся от топота. Рабочийставил свой инструмент в угол сарая. Парень поздоровался и сообщил, что его работа уже кончилась, а что Федор Федорович поехал осматривать дальние дудки.

— Скажите, — обратился к нему Сергей, — как бы познакомиться с Мотенькой? Составьте мне протекцию.

Рабочий, перебирая в руках конец каната, смеялся и вместо ответа рассказывал о перелопачивании, о разбивке руды до кулака, до куриного яйца, до крупного ореха, до гороха.

Лямер, умывшаяся и свежая, вошла в сарай.

— Я хотела вас развлечь, Эсэс, чтоб вам не было скучно, но вижу, вы не в одиночестве.

Сергей представил ее рабочему:

— Познакомьтесь, это мать Федора. Погоди, не уходи, Федор Федорович, мне надо тебе кое-что сказать.

Сергей встал посреди сенного сарай, простер руку вверх, к прорезам в крыше, и произнес следующую речь:

— Слушай ты, Федор Федорович, или, лучше сказать, другой Федор, или Федор номер второй. Эта дама — ее зовут Лямер — и я, мы оба заражены мелкобуржуазной идеологией. Ты понимаешь, чем это пахнет? Многоцветные стеклярусные фигуры, которые мы получаем, встраивая калейдоскоп в наших белых руках. А ты, другой Федор, ты не близорук, не дальновзорок, тебе лет девятнадцать или двадцать, ты, конечно, не из стекла. Ты рабочий, значит, ты не надтреснут. Так ли я говорю? Ну-ка, дай себя пощупать.

Федор отвечал на это, что он парень простой и покладистый, насчет стекла рассмеялся, но ничего не имел против, когда Сергей присел к нему вплотную. Лямер, вынув лорнет, наблюдала всю эту сцену.

— Брось трепаться, — сказал Федор, — отводя руки Сергея прочь, — ты ленинградский, что ли?

— Нет, я из Петергофа, — возразил Сергей, — это будет почище. Шестиэтажные дома, по вечерам все окна освещены, везде двери, лестницы, люди в каждой комнате. Ты любишь людей? Понимаешь, у каждого две руки, нос, два глаза — это интересно. А в голове копошатся обломки. Рано утром, двадцать восьмого июня, Екатерина открыла дверь — ее уже ждали. Звероподобная монархия из павильона расстреливала дичь.

— Это ты верно сказал, — прервал Сергея рабочий. — Ну, выкладывай, чего тебе нужно?

Лямер вмешалась:

— Я знаю, чего ему нужно. Ему нужен рабочий контроль. Он, конечно, хочет прочесть вам, Федор Федорович, отрывки из своего петергофского дневника и те письма, которые ему писал Федя. Я тоже послушаю, в качестве публики. Вы не робейте, Эсэс, всегда полезно читать вслух, это развивает легкие. Скорее, вот ваша папка с бумагами. Я прилягу, хорошо повалиться на настоящем, не бутафорском сене — под тем всегда чувствуются доски. Как-то я даже оцарапала себе декольтированную спину об эту проклятую бутафорскую траву. Да и трудно бывает петь лежа, но нынешние режиссеры заставляют. Попробуем, мягко ли здесь спится вам, сеновалным людям.

— Ну что ж, почитай. Если про гражданскую войну, так интересно. Мне на ней не удалось побывать, мал еще был.

Сергей в замешательстве перебирал листочки, поглядывая на свою аудиторию. Но делать было уже нечего. Он не мог придумать никакого предлога, чтобы отказаться. Слушатели внимательно смотрели на докладчика, только что произнесшего пламенную речь, а сейчас совершенно потерявшегося. Сергей все же успел мысленно нацепить роговые очки.

«1. Дорогой Сергей Сергеевич! Я жив и не умер и, как видите, пишу Вам своим куриным почерком. Получил Вашу открытку и был ею очень обрадован, хотя и пожалел, что это не было закрытое письмо. Устроился я довольно хорошо: у меня две комнаты с балконом (так здесь называют веранду), и мой дом расположен в большом фруктовом саду (девятнадцать десятин). Прямо к нему ведет ело-

вая аллея. Есть здесь леса, в которых, говорят, растут грибы, но лучше всего рожаные поля. Рожь в этом году великолепна, местами доходит мне до плеч. Жизнь здесь покойная, мирная, люди хорошие, так что вы здесь легко пополните. Сейчас установилась хорошая погода и появилась земляника, начался сбор меда и скоро появятся свежие соты. Право, Сергей Сергеич, приезжайте ко мне поскорее. Напишите, когда приедете, и я выеду в Тулу встретить вас. Надеюсь, Сергей Сергеич, Вас не испугает долгий путь, и Вы сберетесь ко мне в самом непродолжительном времени. Мурусе скажите, что я порываюсь написать ей письмо всеми фибрами моей души, но по техническим причинам не могу довести этого благого намерения до конца (засыпаю). Итак, Сергей Сергеич, жду Вас с нетерпением. Мои пенаты уже сделали все необходимые приготовления.

Остаюсь Ваш *Федор Стратилат*.

(К этому письму приложен колос рожи.)

Не отосланы членовик того же письма.

...Вчера получил твою открытку и пожалел, что она не была закрытым письмом со вложением стихов. Мне остается только надеяться, веря в твое слово, как в гранитную скалу, что не позднее августа сего года я услышу эти стихотворения в исполнении автора.

Здесь очень хорошо, хотя отчасти сказываются неизбежные издержки: леса отчасти вырублены, пруды спущены, еловая аллея тоже вырублена. Но все это вполне поправимо со временем.

Работа кипит, верстах в двадцати от нас тоже обнаружена руда. Книги, которые ты мне дал, я уже прочел. Приезжай поскорее, мы с тобой будем гулять. Кущи окрестных дубрав, нежно шепчуших при дуновении легкокрылого зефира, наполнены в тиши ночей пением соловья (относительно соловья я не уверен, но иволга действительно поет), но еще умильней для натуры чувствительной картины тучных полей ржи, высокой, до моих плеч...

2. Сережа, я только что получил Ваше письмо, и хотя еще не успел, подобно Вам, перечитать его десять раз, но думаю, что в ближайшие два-три дня сумею превысить эту довоенную норму. Сережа! Чем мне клясться, что мое приглашение не было «опрометчивым»? Я думаю, в наш век все патетические фразы устарели и звучат по меньшей мере странно, поэтому не буду уверять Вас в сотый раз в серьезности моего приглашения, а просто посылаю Вам бланк за моей подписью, в котором Вы сами напишете себе формальное приглашение, сдабрив его обильно клятвами, чувствительными выражениями дружбы и т. д. Написать можно не обязательно прозой.

Теперь перейду к деловой стороне.

Ответы.

1. Мои пенаты будут рады видеть Вас, и Ваше появление беспокойств им не доставит. Кто они такие, я Вам не скажу сейчас, дабы затронуть Ваше любопытство.

2. Рабочий день описывать очень длинно и трудно, так как обязанностей у меня много и работа не однообразная и увлекательная. Приятно сознавать, что и ты кое-что делаешь на общую пользу. Утомлялся я это время значительно, но те-

перь у меня будет несколько больше свободного времени, и если Вы будете настолько любезны, что захватите ту книгу – помните, – то Вы будете очаровательны, как всегда. Мы продолжим чтение с того места, на котором остановились в Петергофе. Привезите мне Ваши стихи, пару трусишок и штук шестьдесят бумажек от мух. Еще одна просьба: захватите с собой полное Ваше снаряжение, так как если я Вам не надоем, то скоро не выпущу, и надеюсь, Вы у меня прогостите до наступления холодной погоды. Погода у нас здесь великолепная, и жизнь моя течет в эмпиреях – барышень много, штандарт скачет, и сплю я сейчас на сеновале. Представляете ли Вы такую роскошь, как сон на свежескошенном сене? Словом, Сережа, жду Вас с нетерпением и считаю по пальцам, когда Вы приедете. Кстати, совершим экскурсию на Куликово поле и в Ясную Поляну, до которой здесь недалеко – верст тридцать. Приезжайте скорее. Желаю всех благ.

Ваш Федор Стратилат.

Не томите меня ожиданием и отвечайте поскорей и приезжайте. (К этому письму приложен листок: пригласительный билет Сергею от Федора.)

Н е н а п и с а н ы й ч е р н о в и к т о г о ж е п и с ь м а:

... Пес тебя дери, Сережка, не хочешь приезжать, так и не надо.

19 июня 1929 года, когда я смотрел на проплывающие мимо улицы и на площадь Урицкого, я думал: как мне милы эти развороченные улицы, бесконечная прокладка канализации, тянувшаяся все лето, прохожие в поношенных и сборных костюмах – какая-нибудь майка, обнаруживающаяся из-под пиджака.

В вагоне, видя перед собой прорезиненные пальто, голые колени, носочки и лакированные туфли курящей девицы, я вспоминал другое лицо, желтое, недавно ставшее знакомым.

Возница удивился нескрываемым образом, когда я без особых разговоров согласился на заломленную им цену. Улыбка его продолжалась все две версты, несмотря на попытки свалить все на дорогой нынче овес, и не могла кончиться даже в комнате, куда услужливо внес он чемоданы (из них один желтый, фанерчатый, прибалтийский, другой – фибровый, заграничный). Я потрепал возчика по плечу, улыбка его усилилась от такого дружеского и непривычного обхождения. Даже на другой день, провозя мимо моих окон какую-то даму, он приветливо кивнул мне.

Белье грудой лежало на столе вперемежку с вилками и газетными вырезками, но я спешил обойти те места, где мы были без малого месяц тому назад.

Статуи сходят вниз по ступенькам и теряют на пути свою позолоту. У верхней наяды, сидящей ко мне спиной, одна нога кончается вполне прилично – русалочьим хвостом, но другая нога? Ее обрубок прямо входит в золоченые выкрутасы. Наверное, наяде оторвало ногу во время империалистической войны. Аллея, где разговоры о Дюшамбе, – экзотика и сарты. На улице:

– Не верится мне в этих гувернанток и прочее...

– Возможно, возможно.

– Посмотрим, а пока что надо прожить еще целый месяц. Питаться буду молоком, совершенно как Бальзак, – и я с гордостью посмотрел на выплившую луну. Лапчатые ели придавали ей архаический, под Периха, вид.

Много лет тому назад по этому морю переправлялся я из Кронштадта не то в Ораниенбаум, не то сюда. Была непогода, и волны захлестывали пакетик, где таялась вожделенная плитка шоколада с орехами. Но он, как оказалось, не очень пострадал от финской влаги. Тогда все мне казалось большим: и статуи, и фонтаны, и плитка шоколада, и даже моя собственная глупость. Сверстники, даже девочки, были, несомненно, умнее меня, и я страдал.

Штакеншнейдер, Николай I, Менелас – псевдофермерская жизнь, псевдоготика псевдоавгустейших. В парке церковка, и тоже готическая, чтобы не портить вальтер-скоттовского настроения отыхающих августейших прихожан. В Петербурге Николай I с утра выходил на работу: на улицах столицы он разыскивал приезжих провинциалов, которые не знают его в лицо. Он очень уставал, но всегда возвращался во дворец с провинциальным гусем, кормил его завтраком в своем семейном кругу, представлял жене и просил у гостя извинения:

– А вот моя жена, урожденная лютеранка.

Потом он выходил в другую комнату, надевал корону, мантию и возвращался обратно к гостю, который за это время уже совершенно распоясался, распространялся о сенокосе, о декотках, о зубной боли.

– Узнаешь ли ты меня? – воскликнул Николай. – Я русский император.

Икающий от испуга гость падал на колени и умолял не погубить.

На другой день газеты печатали новую черту из жизни государя.

А в подвале Зимнего дворца была у него оборудована банька. Полюбившаяся ему смолянка, воспитанная в обожании монарха, доставлялась туда Бенкендорфом. Она недоумевающе водила глазами по деревянным шайкам, мочалкам, веникам и оправляла косынку на груди.

Вдруг совершенно голый, но в короне, император вставал перед нею.

Она узнавала обожаемое лицо, падала на колени, обнимала волосатые ноги, умоляя не погубить. Потом ее выдавали замуж за Горчакова.

Несмотря на думы о Николае I, мне хорошо в комнатке с полукруглым окном наверху: мы нанимали ее вместе. На стенку я уже повесил несколько картинок: изображение Гекаты с тремя лицами и факелами (вырвано из школьного издания Манштейна), план этого городка и вид церкви на торговой стороне в Новгороде, который я сам нелепо нарисовал много лет тому назад, интересуясь тогда фресками тринаццатого века и не предполагая, что это будет иметь и другое значение.

Все в порядке. Я пью молоко, разбираю вырезки и выписки.

Издалека звучат военные трубы. Это репетируют: «О моя баяндра...».

Цветы жизни копошатся под окном и лепят пирожки из песка.

Обитатели домов отыкаются невинным играм: с завязанными глазами надо дубинкой ударить по чурке. Девушка в белом платье, очень загадочная, так как ее лицо повязано полотенцем, бьет по голове веселого и довольного парня.

Светлый воздух переливается внятно, птицы укромно щебечут, молоко пишательно. Так будет еще целый месяц...»

– Тише, Эсэс, кончайте чтение. Не мешайте ему. Надо будет и для Бобы рекомендовать ваши дневники.

Лямер привстала и наклонилась над уснувшим:

— Молоденький, белокурый и вряд ли старше Федора. Он мог бы быть моим сыном.

— Да и зовут его тоже Федором.

— Стало быть, тоже Феденька. Но только он, видно, посильнее, поздоровее. Это от физической работы. А может быть, и родители... Он, конечно, уж не страдает, как Федор, наследственной мигренью. Жарко ему, умаялся.

Лямер извлекла тончайший платочек и стала отирать лоб спящего. Кружева просерели от пота и пыли. Парень, не просыпаясь, повернулся на другой бок, прочь от Лямер. Он выпростал правую руку и ею сжимал сено. Ногти все были в красноватой глине.

— Сергей, не сидите праздно. Возьмите ваш дневник — мне нравится, что он большого формата. Обмахивайте спящего. Видите, испарина, да и мухи тут. А я пойду к бабушке насчет обеда.

Обернувшись, Лямер добавила:

— Ну, вы убедились, Эсэс, вот он, рабочий контроль.

Лямер ушла. Сергей метался по сараю, наконец, не выдержав, пропел петухом и стал будить спящего.

— Вставай, уже утро, обедать пора. А главное, скажи свое мнение.

Тот мигом проснулся.

— Что же мнение? Про Николя Палкина верно, а вообще скучища. Ничего ни с кем делается, пишут письма — только марки даром тратят. А я вот думаю на Марьянке жениться.

Сергей накинулся:

— Ну расскажи, расскажи, что ты чувствуешь, что она чувствует.

— Этого не расскажешь, — смеялся Федор, — это и так всякий знает. Ну, прощай, может, еще свидимся.

— Разве вы не останетесь обедать? Теперь уже, должно быть, скоро.

— Нет, не хочу я Федор Федоровича обедать, к нему и так уж начальство норовит каждый день на обед попасть. Да дома-то у меня повеселей будет, чем у вас здесь со старухами.

— Я вас провожу, — сказал Сергей парню, — мне интересно с вами познакомиться. Вы нравитесь Федору, не так ли?

— Да, мы с Федор Федоровичем сработались ничего. Барчук он, это верно, но товарищ серьезный и в нашем котле переварится. Марьянка его тоже одобряет.

— А вы у кого живете: у середняка, у бедняка или у кулака? Я ведь знаю расслоение деревни, я читал газеты.

— У него одних лошадей семнадцать голов, — отвечал Федор.

— Бедный, как же он с ними справляется?

Федор в ответ только смеялся.

Изба, в которой квартировал рабочий, была неподалеку от Леокадина дома. Проходя мимо, видели ее мечтательно сидящей у окна. Она лущила семечки, а при виде проходящих отворотилась, будто рассматривает небо.

Хозяин избы вышел навстречу и потащил Сергея к себе, схватив его за обе руки:

— Добро пожаловать, всегда гостям рады.

— Да я не к вам, я только проводить Федора.

— Эй, малый, не в свое дело не мешайся, — прикрикнул на парня хозяин, — а вы уж зайдите, сделайте милость. Слыхал, все слыхал. Вы здесь под флагом приятеля Федора Федоровича? Хороший человек.

Горница, куда был введен Сергей, оказалась комфортабельной. Мух вовсе не было: в растворенные окна были вставлены от них сетки. У стены стоял велосипед. Мягкая мебель по-городскому группировалась вокруг стола. Висели и картины: «Девятый вал», потом «Магдалина на берегу озера» и третья, изображавшая охотничью собаку с оскаленной пастью, очень белыми клыками и слюной, капающей с собачьей десны.

Сергей поскорее отвел от нее взор и с удовольствием остановился на плакате, украшавшем простенок. С него улыбалась ему баба, обведенная хороводом букв («Радио — путь к новой, культурной деревне»).

Сергей сел на кресло и удивился: он уже отвык за эти полтора суток от мягкой мебели, помнились ему только жесткие лавочки вагона, когда, сидя на них, начинаешь ощущать, что внутри тебя есть кости, и меняешь положение, ерзаешь, смотришь в окошко, но ничем не можешь заглушить сознания, что ты — скелет. Затем припомнил он и ущемляющую мебель в красном уголке.

Сергей с приятностью развалился. Хозяин вынес ему для развлечения открытку, почему-то только одну. Это был какой-то пейзаж, что-то вроде парка. Хозяин предложил, во-первых, называть его просто Сысоичем, а во-вторых, угадать, что на этой открытке.

— Деревья, — отвечал Сергей, — меня уже не проведешь: березы, дубки, сосны.

— Не угадали. То есть деревья, это-то, конечно, но не в них сила. Это лес, только по-заграничному. Я под Касселем три года в плenу был, с хозяином разговаривать научился. А в деревне там улицы мощеные и дома двухэтажные. Коли работник ты хороший, так и обращение хорошее. А вы этого Федора бросьте: малый никудышный, сельсоветчица его у меня поселила, говорит, на работу ему близко ходить. Пускай ходит, нам ничего. Только вы Федор Федоровичу скажите, чтоб он не очень-то ему верил, будто Сазыкин то, Сазыкин другое. Все врет. Вот Леокадия Иннокентьевна — это другое дело, солидная дама.

— А кто этот Сазыкин? — полюбопытствовал Сергей.

Хозяин, усмехнувшись, погладил бритый свой подбородок, ткнул пальцем себе в жилетку и предложил послушать радио.

Сергей, охваченный стальным обручем, услышал Москву:

«Забыть, как полная луна, как колыхалась тихо штора...»

Покраснев, Сергей скинул с себя наушники.

— Что, в жар бросило? Культура! — торжествовал хозяин. — У нас весь уезд культурный. Лев Толстой — и тот наш. Вот в Богородском уезде этого уж нету, татары там когда-то были, оттого до сих пор все там скуластые и играют в орлянку. А вы Федор Федоровичу по-приятельски скажите, чтоб копал от нас подальше. Ведь его воля, где копать. Другим людям все равно не видно, что под землей.

Где он скажет, там и бурят. А я на тот год себе второй этаж надстрою. Я ведь тоже понимаю: смычка города с деревней. Раньше из города нам чего-чего не носили: и шубы ватные, граммофоны, и диванчики – за молоко-то наше да за хлеб. Теперь уж нас на это не возьмешь. В Касселе путался я с хозяйствской дочкой; она мне, как кончали целоваться, все больше про пчел рассказывала, будто переселили наших пчел в Австралию, в теплынь. На первый год все шло по-хорошему. Потом увидели пчелы, что в тех краях зимы не бывает, и не стали меду делать: запасать, говорят, нечего, раз погода круглый год приятная и для нас неподходящая. Так австралийские люди и остались без сладости, одной теплынью пробавляются. Да куда же вы? Посидите, пообедайте, мы гостю всегда рады. Хохлацким салом угощу.

Но Сергей торопился наружу. За домом был разбит садик, по-городскому разрослись там красные флоксы. Круглощекая жена Сысоича, в короткой юбке и с открытой шеей, ходила между цветочными грядками.

– Как зацветет золотой шар, – говорила она, – так, значит, осень. Люблю желтофиоли. Как царя не стало, все ими балуюсь. Мне бы в монастырь поступить, да такая досада: нет поблизости.

На прощанье Сысоич еще рассказал о теплых краях, будто охотник там все по деревьям лазал, а вместо ульев там дупла, и все пчелы в диком состоянии. Лазал, лазал охотник, обвалился в дупло и утонул в меду.

– Сладкая смерть, – возразил Сергей.

– Кому что сладко, смерти бывают разные, а только вы Федор Федоровичу от нас кланяйтесь, – подмигнул хозяин.

Сергей отвернулся и увидел вдали на горке солнце. Оно было уже на ущербе и просвечивало сквозь листву орешника.

Сергею хотелось дойти до реки, чтобы искупаться. Река, вероятно, была за тем холмом. Поднявшись на косогор, Сергей огляделся: местность выглядела неестественно русской: покатые холмы, на горизонте леса. Мирандино отсюда казалось мелким и незнакомым. Изредка долетал крик погонщиков мулов, обрабатывающих участки под огородные овощи. Птицы пролетали целыми стадами, спеша на прохладу к реке, огибавшей плодоносную равнину.

– Неужели я здесь живу уже второй день?

Река текла пустынно. Сергей вспомнил о водоворотах, быстром течении, омутах и прочем. Потом ему представилось, что, пока он будет купаться, среди этого безлюдья подкрадется кто-нибудь и унесет его одежду, правда, немудреную из-за жары, но все-таки Сергею неизвестно как придется возвращаться в Мирандино. Или, когда он будет плавать на спине посередине темнеющей реки, глядя наверх в небо, плоское и нелепое, если на него глядеть в таком положении, вдруг раздастся крик: «Мотенька!» – и Сергей, не успев разобрать, откуда идет этот окрик, скроется под прохладной водой. Поэтому, хотя до реки было уже совсем близко, Сергей повернулся обратно, стараясь не смотреть вдаль, – простор пугал его.

На переднем же плане лежали черные комья перевернутой земли, утоптанная среди пашни тропинка, на ней кучка лошадиного помета и сломанные палки. Сквозь теплый, пахнущий землей воздух слышалось что-то: не то крик, не то это от жары гудело у Сергея в ушах. Он шел не останавливаясь. Стало ясно, кто-то

выкрикивает имя Сергея. В этом не было ничего удивительного: такое имя часто встречается везде. Наконец Сергей поднял голову.

На противоположном скате стоял Федор и махал руками. Сергей поспешил к нему:

– Что-нибудь уже случилось, Федор?
– Ну да, ужасное горе: пора обедать, а вас нет, я и пошел вас встречать.
– После работы? Но ведь вы устали?
– Еще как, главным образом, сейчас от крика, надорвался совершенно. Наши уже за столом, но я решил, что без вас никак нельзя.

– А я для нас по дороге малины собрал.

Сергей показал на полную свою горстку. Федор, наклонившись, стал, как теленок, мягкими губами брать малину. Так он слизал ее всю.

– Ну что, Сережа, нравится у нас?
– Очень.
– А не хотели приезжать.
– То есть как это не хотел?
– Да очень просто; вы ведь, известно, дрянь.
– А вы мерзавец.

Шли уже среди золотой ржи, это была узкая полоса, до сих пор не сжатая. Все казалось желтым от солнца наверху и колосьев по бокам. Федор успел уже скинуть прозодежду, на нем была сетчатка-рубаха, сплошь состоящая из одних дырок. Веселые слова: гадина, подлец, дурачок – раздавались среди хлебного поля. Потом, взявши под ручку, понеслись вскачь по жниву: «Идем по жниву не спеша, гоп-ля-ля, гоп-ля-ля, с тобою, друг мой скромный».

Вступив в сад, Федор сообщил, что это последний год для яблонь: под садом обнаружена руда.

– А под домом Леокадии, то есть, лучше, под ее замком, тоже руда? А под домом Сазыкина?

– Везде, везде. Там мы уже давно открыли, и залеганье совсем неглубокое, всего один метр придется снять, – мне тот Федор говорил: он случайно наткнулся, когда копал грядки. Через год вы не узнаете этой местности. Выгоднее будет эксплуатировать руду, чем фруктовый сад. Что это вы приуныли, Сережа? Вам жаль этих садов?

В саду, действительно, раздавались стоны. Наевшись не в меру яблок, Жоржик Гусынкин метался по земле. С крыльца кухни жена язвила его:

– Ах, Жоржик, Жоржик!
– Не знаю, – отвечал Сергей.
– Бросьте, Сережа, что может мне угрожать? Ваши стихи или ваш отъезд? Да и то я надеюсь, что вы останетесь... Чего тебе? – спросил Федор подошедшего крестьянина. Тот жаловался на потраву при рытье дудки.

Федор взмахнул голыми руками:

– Знаешь закон? Что ты, впервые, что ли? За потраву все будет заплачено по закону. Не понимаете вы, что эти дудки для вас же лучше.

Крестьянин сослался на Сысоича и недовольным взглядом проводил уда-

лявшихся: один как будто инженер, а одет чудно, руки белые, как у девушки; другой тоже как будто инженер, а без сапог ходит, точно нищий какой; оба без шапок; козлами скачут, болтают и смеются. Крестьянин плонул, обругал их бесстыжими и повернул обратно.

Уже сели за стол, когда подъехала бричка с начальством.

— Вы обедаете? Какая странная случайность.

Заметив немецкую книжку возле прибора Сергея, начальство перелистало несколько страниц (Гросс-герцог Вильгельм-Эрнст Аусгабе, в желтой коже) и сказало:

— Все по-французски читаете, молодой человек, это похвально. Я тоже в юности на пяти языках читал.

По глазам бабушки было видно, что она привыкла к случайностям. Поставили прибор для Обожаемого.

Федор вскочил из-за стола под предлогом, что ему надо вымыть руки.

— Сережка, идите меня умывать. Держите мыло и полотенце.

Впрочем, у колодца не столько мылись, сколько предавались горестным раздумьям. Федор плакался:

— Вот несчастье, опять его принесло. Лучше бы кто из рабочих пришел к нам обедать. Да ведь не придут, Леокадия права: мы местная интеллигенция. Сережка, вся надежда на вас — зайдите его разговорами.

Сергей, держа в руках мыльницу с розовым, лежащим в пене обмылком, думал так:

«Хорошо отмечать течение дня обедами, ужинами, чаями. Сельская жизнь вообще спокойна и однообразна. Кооператор, Сысоич Сазыкин и Обожаемое — все говорят одним и тем же языком. Почем знать, может быть, это не три человека, а один. Надо бы мне все это хорошенко расследовать».

А так как Сергей испытывал легкие сотрясения, когда Федор брал мыло из мыльницы, клал его обратно или сдергивал полотенце с его плеча, то Сергей ощутил себя мраморным умывальником — серым, с прожилками. На мраморных полочек, окружавших овальное зеркало, расположились: кружка для полоскания рта со стоящей в ней зубной щеткой из желтой целлюлозы; синяя коробочка с мелом, пахнущим мяты, с красавицей на крышке; три сорта мыла: кадюм, папоротниковое и серно-дегтярное по рецепту доктора Помелова; резиновая губка и грубая щетка для ногтей. Серая мыльная вода стекала по трубке в нижнее ведерко для помоев. Недовольное лицо Федора отражалось в забрызганном водой зеркале.

Начальство похвалило Федора за гигиеничность, но само не последовало его примеру и запыленными руками приняло от бабушки тарелку окрошки.

Разговор завязался сперва продуктовый; поддерживали его только бабушка и Федор:

— Завтра воскресенье, надо пойти в церковь.

— А я тебя не пущу.

— Сам же ты говорил, что ты в Ленинграде в часовенку бегал.

— Так то за рисом, бабушка. Мне там одна любимая женщина сказала: в ко-

перативе рис дрянь, а в часовенке рисина к рисине. Не забыть бы в Исаакиевский собор за творогом сбегать.

Начальство, однако, не поддалось на эту удочку и внимательно смотрело на Сергея, желая уловить выражение его лица: Сергей выглядел очень осмысленно и дважды повторил: «Одеяло... одеяло».

Тогда Федор набросил ему на голову салфетку, и на мгновенье Сергей очутился в беловатой полутьме.

Наклонившись к уху Сергея, еще прикрыто го салфеткой, начальство зацептало, впрочем, достаточно внятно:

– А скажите, как это есть такое выражение: менаж втроем?

Окрошка булькала во рту сидящих и смеющихся.

– Хорошо живете, – говорило Обожаемое, – и весело, и дружно. А я вот здесь без семьи и прямо с голода подыхаю. Спасибо вашей бабусе, что прислала баранью ляжку, – я ее в два дня сгрыв. Я тоже думаю выписать из Москвы дамочку покрасивее – скучно, знаете, одному.

Федор пытался перевести разговор на другое:

– Шурфы, – говорил он, – венцовая крепь, стоимость углубления шурfov...

– Потом, потом, не увлекайтесь работой, Федор Федорович, за обедом нужно что-нибудь приятное для пищеварения. Вот была у меня когда-то Розочка, так, понимаете, в трамвае нельзя было ездить – все на нее глазели, до того алебастровые плечи.

Сергей смотрел себе в тарелку: среди кваса, подбеленного молоком, плавали в светоносных водах кусочки стеблей зеленого лука, огибая скалы вареной картошки и волокнистых отрезков темного мяса. Болтая ложкой, Сергей устраивал бурю у себя в тарелке: все лезло друг на друга, среди водоворота можно было выловить наиболее лакомое и почувствовать в освеженном рту вкус окрошки.

Начальство между тем уже говорило про Леокадию:

– Интересная женщина, ну как не устроить на службу. Пускай себе чертит дудки – это изящное рукоделье, как в старину рисовали в альбомах.

Сергей вздохнул и поднял глаза:

– Со мной тоже случился интересный случай, не здесь, правда, а на Камчатке.

– А в качестве кого вы там были?

– Разрешите обойти этот пункт молчанием, говорить о себе я считал бы нескромным. На Камчатке хорошо знакомы с сопками, но совершенно не знали любви. Бедность природы не способствовала развитию чувств, на полях рос один только лук, и приrost населения был крайне медленным. Добротная оленяя шкура, добрая бутылка рыбьего жира – эти вещи гораздо более занимали камчадалов, чем то, что творилось второпях в убогих юртах, отдающих ворванью. Так продолжалось до двадцатых годов прошлого столетия. Известно, что как раз тогда произошла пресловутая ссора митрополита Платона с императором Александром. Дело в том, что митрополит, учитывая увлечение светских людей всем французским, вплоть до католицизма, решил в противовес отправлять православное богослужение на французском языке. «На всяком языке можно поведать славу божию, – так размышлял митрополит, – отчего же не читать ектенью на французском, она

тем скорее проймет сердца дам с высокими талиями и прическами a la grecque и закоснелые умы престарелых вольтерьянцев». Митрополит сам взялся переводить текст литургии. Настал долгожданный день. В Казанском соборе на амвон вышел дьякон, встрихнул шевелюрой и прорычал: «Беним, деспут» – так митрополит, перевел «Благослови, владыко». Аракчеева, присутствовавшего при богослужении, передернуло. Молодые люди гнусного вида, во фраках, аплодисментами встретили этот возглас дьякона, и никогда стены собора не наблюдали такого энтузиазма молящихся. Молебствие вылилось в нечто политическое. Когда же хор мальчиков в польских кунтушах, плохо справляясь с французским произношением, затянул серафическими голосами: «Сеньер, ейе питье де ну, тье де ну, тье де ну», а басы подхватили: «Туа, сеньор, а туа, сеньор», – пришлось вмешаться самому санкт-петербургскому обер-полицмейстеру и экстренными мерами прекратить увлекательное богослужение. На другой же день митрополит Платон был высочайше выслан на Камчатку. Там он немедленно занялся изучением камчатского языка и сделал в нем такие успехи, что уже через месяц в провонявшей юрте, именовавшейся кафедральным собором, произнес проповедь на этом языке перед насильно согнанными из окрестностей камчадалами и алеутами.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Темой для проповеди он взял текст апостола Павла: «Любы долготерпит». Изысканным камчатским языком, округленными периодами соперничая с Боссю-этом, владыко превозносил достоинства любви по сравнению с верой и надеждой. «Если я любви не имею, – восклицал владыко, уже не митрополит санкт-петербургский и ладожский, а епископ камчадальский и алеутский, – то я медь звенящая и кимвал бряцающий!» И он с такой силой ударял себя в грудь, что наперсная его панагия издавала действительно металлический звук. Туземцы, пряча свои лица в шкуры, хихикали каждый раз, когда святитель произносил какое-то слово. Впоследствии выяснилось, что он, основательно изучив местный язык и считаясь с требованиями риторики, употреблял здесь такие синонимы, которые в их буквальном переводе возможны были бы в России разве что на заборах. Последствия проповеди просветителя Камчатки не замедлили сказаться. Не прошло и года, как народонаселение Камчатки увеличилось втрое.

Обожаемое начальство слушало с оттопыренной нижней губой. Слюна виднелась в уголках его рта. Оно думало: «Рабкор или не рабкор?»

– Да, – сказало оно, – я здесь работаю с утра до вечера, без ограничения времени. Бывают, конечно, нерадивые инженеры, а у меня с рабочими отношения, как с отцом родным. С кулаками борюсь, не правда ли? – обратилось оно к Сергею. – Но самое главное я приберег на десерт. Сударыня, ввиду безукоризненной работы вашего сына, а главное, из уважения к вашим заслугам я буду ходатайствовать о его повышении в чин производителя работ.

Лямер, молчавшая в продолжение всего обеда, внезапно разразилась смехом:

– Федор – производитель, поздравляю.

Тот накинулся на нее с поцелуями:

– Видишь, Файгиню, добродетель всегда бывает награждена, а порок торжествует.

Начальство, помахав на прощанье ручкой, уехало. Рабочий Федор взошел на балкон. Сергей обрадовался:

– Вы ко мне?

– Нет, с тобой неинтересно, – отвечал парень.

Оба Федора зашептались в углу. Сергей из всех сил старался расслышать.

– О Сергей Сергеиче не беспокойся: это мы уже устроили. Не сегодня завтра ответ из Москвы должен прийти. А вот насчет...

Сергей, услышав свое имя, подошел поближе.

– Нет, нет, Сережка, вам нельзя этого сказать, вы слишком болтливы.

Сергей обиделся:

– Что за тайны у вас, Федор? Вы с тем Федором, кажется, что-то прохаживаетесь на мой счет?

– Да, да, мы с тем Федором, а вы подождите до завтра.

– Прощай, Федя.

– Прощай, Федя.

Бабушка притащила самовар.

– Ужаснее всего в жизни, – говорил Сергей, – это недостаток чая. Этой зимой у меня как-то вышел весь чай, а по заборным книжкам его не могли выдать раньше, чем через месяц. Я купил бутылочку красного вина и пробовал им подкрашивать кипяток, но это не помогало. Тогда я как раз был сильно влюблен – не помню в кого. Знаю только, что это был мой девятый номер, всепоглощающая страсть: отсутствие чая и любовь.

– Дрянь вы и больше ничего, – заметил на это Федор.

– Федор, Федор, – останавливалась его Лямер.

– Что же, Файгиню, я тоже люблю чай, его вяжущий вкус. Чувствуешь, как он стягивает десны? Да и для желудка это гигиенично. Давайте-ка, Сереженька, ваш стакан.

Федор налил из одного чайника. Сергей, принимая золотой стакан, сказал:

– Знатоки всегда пьют чай без сахара, чтоб не заглушать аромат.

Но Федор помахивал плиткой шоколада:

– Старорежимный! Всего одна плитка и нашлась. Мне его кооператор в виде аванса продал. Говорит, что остальное, то есть это насчет выдачи сахара, покажет сегодняшняя ночь. Ну, это мы еще увидим. Кому бы мне подарить этот аванс в счет Леокадии? Вам, вы опытный соблазнитель и любите древности, – Федор протянул шоколад Сергею.

Бабушка почему-то загрустила.

– Нет, бабуся, пес тебя дери, конечно тебе, а ему только обложку.

Сергей из полученного подарка узнал, что Жорж Борман получил Гран-при на всемирной выставке в Париже.

– Только чур, – продолжал Федор, – съесть все здесь же, на месте. За бабушкой надо следить. Когда ее угощают, она любит припрятать конфетку. Потом, ког-

да кому-нибудь захочется сладкого, а в доме ничего нет, бабушка извлекает коробку конфет, – оказывается, там репертуар за целый год, все черствое, слипшееся и пахнет нафталином. Ну, бабуся, за твоё здоровье: кооператор клялся, что эта плитка выпуска 1904 года.

– Да, – подхватил Сергей, – в стариных винах замечательный букет. Откуда он берётся? Говорят, будто время – просто категория рассудка. Однако оно дает запах.

Бабушка подперлась рукой и проговорила, обращаясь к Лямер:

– Ах, я тогда была молода, как ты.

Лямер запротестовала, развернула серебряную фольгу и надломила посеревшую плитку.

– Скорее чаю, скорее. Тыфу, – плевался Федор, – я всегда говорил, что старый режим – гадость, Моссельпром гораздо лучше.

Уже отзвонили ко всенощной. Заметив надвигающуюся темноту, Федор ушел в комнату, заявив, что ему еще надо чертить. Через окошко было видно, как засветил он свечку и, смеясь, выводил что-то на бумаге.

– Пока Федор чертит, пойдемте немного пройдемся, Эсэс. Вам полезно окунуться в русскую тульскую стихию. А то вы совсем оторвались от жизни. Дружба с Федором вам поможет: он производственник и энтузиаст современности; держитесь крепче за него. Вообще, я думаю, что ваше спокойствие – это напускное. Пожалуй, вы не очень-то уравновешенны. Федор тоже. Когда ему было лет десять, он увлекался курами. Он подзывал их: «Гулю, гулю-лю» – и с такой любовью сыпал им на голову зерно, что они разбегались во все стороны. Наконец их ничем уже нельзя было подманить: они одичали, стали взлетать и ночевали на березах. Знакомый охотник по нашей просьбе перестрелял их там. Это, должно быть, в вашем вкусе: охота на диких кур. Ну-ка, расскажите мне, как вы здесь провели время вчера?

– Не знаю, – отвечал Сергей, – Федор говорит, что я антиквар. В самом деле, я люблю историю, героические подвиги минувшего: взятие Перекопа, битву при Аргинузских островах, освободительную войну Германии с Наполеоном.

– Ну, скорее: рассказ номер третий, я ведь их нумерую, – сказала Лямер.

– И последний, – успокоил ее Сергей. – Видите ли, действие происходит в 1813 году, в немецкой деревне. Французы мобилизовали крестьян, многие дезертировали. Шорох разбудил крестьянина, он подошел и прислушался: неуверенное дыхание, словно молодого животного. Это был его сын, влажно покрытый инеем сырой ночи. Крестьянин зажал своими твердыми кулаками обмякшее тело, встряхнул его:

– Ты один?

– Нет, отец, тут еще другие.

– Сколько?

– Десятеро.

Большой стог сена, который заполнял одну сторону сеновала, разворостили они донизу, глубоко в его середине устроили вместительную полость-пещеру, в которую залезли все одиннадцать. Крестьянин подал им сверху провиант и тщательно прикрыл убежище сеном.

Парни щупали руками друг друга в темноте, как слепые молодые собаки. Толкали друг друга, чихали, плевались от сладкого теплого воздуха, ругались, наконец уснули, постепенно одурманенные.

Теснились вокруг крестьянина, как свиньи, когда он приходил к ним с кушаньем в тайник. Стояли в хлеву над корытами и терли себе покрытые слоем грязи лица.

— Я не хочу больше скрываться, отец.

Старик схватил, встряхнул, словно связку соломы. Юноша заплакал, тихо схватился за шею:

— Зачем держишь меня здесь? Другие не хотят тоже больше.

Старик слышал по звуку их голосов, что они ненавидят его, как тюремщика. Он чувствовал, будто огромный стог сена лежит на нем и давит.

В деревне пошли слухи, что у старика вроде опухоли в животе, которая всасывает всю пищу, так что он непрерывно должен покупать провизию на дюжины дюжин людей.

Из убежища стали вылезать и слоняться по току. Выпрямляли онемевшие, скрючившиеся члены, бегали взад и вперед, набирали полные легкие чистого ночного воздуха. Опьянев, бродили тогда, обнимались, толкались, баражали.

Так как своими голосами благодаря долгой отвычке не могли управлять, то вырывались у них дикие звуки, резкий лай.

Провизию на неделю стали съедать в один день. Вода не нравилась больше. Один пробрался к кабаку и принес оттуда кувшин пива.

Крестьянин думал, чем прегрешил он, что должен так мучиться?

Французы повесят его за укрывательство. Пустить огня, и весь сеновал исчезнет, как не бывало.

Отец боролся с сыном. Дождь полил тонкими струйками. Оба были ослаблены: старик — волнениями, лишениями, лихорадкой; молодой — долгим пленением в тесном убежище. Ударяли друг друга поэтому довольно бессильно в лицо, по голове, душили друг друга за горло, таскали друг друга туда и назад.

Молодой был мягкий, теплый, пахнул, как молодые животные; волосы на его подбородке разрослись буйно и висели пушисто на дряблых щеках. Толстые темно-русые волосы на голове, свалившиеся со стеблями сена, защищали его от ударов отца, череп которого, угловатый, был почти беззащитно отдан во власть кулаков сына.

Лежа в мокрой луже, оба грызли друг друга, чувствуя под большими пальцами хрящи пищевода.

Вот и все. Милая уютная Германия сто лет тому назад. В ней все рядом: тут баражают в канаве, а в двух шагах живет юный Пфеффель и страдает глазами. Дочь хозяина дома, Маргарита Клеофа, из сострадания служит ему секретарем. Однажды Пфеффель продиктовал ей: «Ты избранница моего сердца. Я благословляю тот небесный час, когда ты впервые стала писать под мою диктовку. Могу ли я надеяться, что ты когда-нибудь будешь чувствовать ко мне нечто большее, чем чувства секретаря?» Письмо было окончено. Девушка тихо спросила: «Как прикажете, сударь, надписать адрес?» — «Девице Маргарите Клеофе Дивукс», —

так же тихо отвечал юноша. Они поженились и, несмотря на слепоту, постигшую молодого супруга на другой же день после свадьбы, были вполне счастливы. Постепенно их семья стала многолюдной: двенадцать детей внесли в нее желаемое оживление.

Взгляните, небо уже вызвездило вовсю. Вечер и тишина. Хорошо на сеновале в такую ночь, — так закончил Сергей.

— Не забудьте, — возразила Лямер, — что мы еще приглашены к попадье. А вы, Эсэс, кроме всего прочего, сентиментальны. Утром я нашла, что у вас прибалтийская кожа и волосы, а теперь вижу, что у вас и душа прибалтийская.

— Очевидно, это игра природы, — возразил Сергей, — правда, я ничего не имел бы против, если бы сейчас вместо Мирандина и поездки к попадье мелькнули бы нам веймарские кущи, домики, увитые плющом и крытые черепицей, окна с мелким, частым переплетом. Мы зажгли бы свечу, и вы сели бы играть на спинете.

Лямер отвечала на это так:

— Чем хуже наш маленький флигель? Шаткий балкон, осевшая набок крыша, окна, заслоненные кучами прошлогоднего навоза. Луна стоит над ним ласково. И потом, не правда ли, у нас с вами здесь идеальный быт, как, по-вашему?

— Мне остается ответить, как сделал когда-то Федор в Петергофе: возможно, возможно.

— Слушайте, я вас должна предупредить относительно Федора. Конечно, он очень добр, отзывчив, приветлив. Потом, вы заметили эту приподнятую верхнюю губку? Хоть я и мать ему, но, по-моему, это красиво. Узнайте, однако, что он способен на самые неожиданные поступки. Этой зимой он потерял оба своих пальто. Зайдет в Москве в столовую, разденется, а уходя, забудет надеть, только удивляется, что такой мороз. Вот сейчас он увлечен здешней работой. Если б он действительно стал идеальным производственником! Когда ему было лет семнадцать, он в мое отсутствие устроил кутеж у нас на квартире. Понимаете, его товарищи, какие-то девицы, впрочем, невиннейшие; разумеется, вина, ликеры. Молодежь решила стать взрослой: перепились, валялись на коврах, целовались — и все это без всякого удовольствия. Ведь я его знаю. Просто был опыт. Потом от управдома приходили спрашивать, что у нас творится. Пришлось сказать, что это репетиция новой оперы. Одно время он увлекался преферансом. К счастью, у него тогда денег не было. Я это вам все говорю по дружбе, все равно вы и сами знаете. Я всегда стараюсь его отвлекать от очередного увлечения. Надеюсь, вы мне поможете.

— Очевидно, Федор пошел в вас, — отвечал Сергей, — не инженером бы ему быть.

— Если б у него был голос! Если бы он мог петь Октавиана. По внешности он так подходит. А то приходится обнимать дебелую бабесу в костюме пажа. Прижимаешься к ней и чувствуешь, как шелк готов треснуть под напором ее телес. Однако смотрите, как хорошо луна вылезает из-за края холма. Сейчас она крупная, разжиревшая за день, а взобравшись на небесный свод, подберет себя, станет поменьше и поярче. Ну, я пойду немного переодеться, побудьте пока с Федором, он уже кончил чертить. Видите, он идет нам навстречу... Знаешь, Федор, обидели тебя боженьки. По внешности ты прямо «класс», а вот голоса нету.

— Не желаю я вовсе быть тенором или мецц-сопраной. Не стесняйте, пожалуйста, индивидуальности ребенка. Странно, что у меня не выходят анекдоты в присутствии Обожаемого или буровых мастеров, но я инженер, а вы оба здесь у меня под началом. Файгиню, Сережка, как хорошо, что вы оба сюда приехали. Мне было так скучно. Барчуки-с, встаньте. Оболенский, единица. Оболенский, произнесите тронную речь государя императора... Однако какая жаркая стоит погода — это по случаю вашего приезда.

Действительно, несмотря на луну, прохлады не было: жар шел от земли, медленно расплываясь в льющемся сверху свете.

Сели на бугорке, сперва молчали, прислушивались к тишине, потом Сергей сказал:

— Какая сейчас эпоха, Федор?

— Великая!

— Нет, я не про то, Федя. Видите, какой неясный свет, исчезли в нем ваши красавицы-вышки, исчезла деревня, наш дом и сеновал, нет ничего, кроме этих белых полей и полноводного света над ними. А это, не правда ли, могло быть и тысячу лет тому назад, и через тысячу лет после нас. Разве вы чувствуете, что сейчас вот такой-то год, а не другой?

— Насчет года не знаю, но я чувствую, что вы старше меня лет на пять.

— А знаете, Федя, если бы мы с вами были моложе на три тысячи лет, мы бегали бы по Криту, пустились бы в горы, у вас был бы маленький дротик, мы продирались бы через заросли ежевики, и наши икры были бы расцарапаны вдребезги.

— Подите вы с вашими Критами! Нет, серьезно, Сережка, хватит дурачиться. Вы говорите: ничего не видно, зато слышно; вы прислушайтесь к себе: индустриализация, это бьется внутри нас, даже внутри вас, Сережка. Мы заполняем эту землю по своей воле, — и Федор, привстав, показал рукой на струящийся повсюду полумрак, — а разве вы могли бы быть таким, как сейчас, если бы жили в другое время? Глядите: нету вашего Крита, ежевики и прочей чепухи, а вы и красавицы-вышки — это есть. Может быть, вы и не хотите, Сережка, а это так.

Федор, вскочив, попал в игру лунного света и, колеблемый им, носился вокруг бугорка.

— Погодите, Федор, разве вам не хочется ходить голым, есть траву, мычать, отрыгивать жвачку и с пустой, наконец, головой кататься кувырком и хлопать кого-нибудь по спине. Как, по-вашему?

— Да я что, я технический студент, я производственник, а вот вы, понимаете ли вы, что для вас сделала революция? Ну хватит, к нам идет Файгиню.

Лямер в самом деле появилась из полумглы. На ней было лиловое шелковое платье и золотые концертные туфли.

— Вам здесь весело, — сказала она, — но уже десятый час, пора ехать. Жоржик Гусынкин уже запряг лошадь. Федор, иди одевайся. Не в трусиках же ехать.

— А если я хочу так поехать?

— Не глупи, надевай скорей брюки. Да и рубашку не забудь. Твои буровые мастера, должно быть, будут все в бархатных полукафтанах, отороченных мехом.

— Как ты, Файгиню, стесняешь индивидуальность ребенка, — пищал Федор, уходя.

Лямер с Сергеем остались наедине.

— Ребенка... — повторила Лямер. — Когда Федор был маленький, он вместо «грациозная» говорил «грандиозная»: «Мама посмотри, какая кошка грандиозная». Я первый раз даже испугалась: вы только представьте себе, что будет, если нашу обыкновенную кошку увеличить раз в десять. Страшилище, тигра лютая!

— А я люблю кошек, — заметил Сергей. Огромные, раз в десять большие, чем обычно, почувствовал он под каблуком ноги, то есть задние лапки котенка, теплые, опущенные белой шерстью. Чудовищный котенок, рыча, влачил их по земле и шевелился под маленьким Сергеевым каблуком.

Развеселый голос послышался со стороны церкви. Как будто бы кто-то кричал:

— Мотенька!

Так показалось Сергею, и он заметался. Федор вышел из дома вполне готовый, даже в воротничке. Красивый значок Осоавиахима был приколот у него на груди.

Оправляя галстук и садясь на телегу, он ворчал:

— Не поеду я к этой попадье. Знаем мы их, они сами признаются, что «тайно образующе и тресвятую песнь припевающе». А от ботинок, брюк и воротничка мне тесно и невероятно жарко. Будь моя воля, я бы так поехал. Эх, погодите, чуть было не забыл самое главное.

Федор снова побежал в дом и сейчас же вернулся, пряча что-то в карман.

— Бийэ ду? — спросила Лямер.

Но телега уже выезжала на дорогу, подпрыгнув в рытвине. Все трое седоков повалились друга на друга.

— Осторожнее, не наколитесь, у меня в кармане кнопки, — предупреждал Федор.

— Полегче! — сказала бабушка, показавшаяся в окошке флигеля в ночном чепце, душегрейке и со свечкой в трясущейся руке.

Миновали ряд домишек, ютящихся у церкви. Их окна слабо мерцали изнутри, и было неясно, какое в них время, быть может, пятидесятые годы прошлого века. Стало темно, так как луна зашла.

Уже проехали развалившуюся Дамкину избу. Показалась темная громада кооперации. Сергей подумал: «Наверное, когда строили кооперацию, замуровали в стену какую-нибудь девушку. Сперва она шла по воду с кувшином, потом ее стали закладывать кирпичом: исчезают ноги, грудь, нос, макушка. Вопли доносятся глухо. А в новых домах экономическойстройки подрядчики наваливают в толщу стен всякую дрянь».

Внезапно Федор остановил лошадь и соскочил с телеги.

Когда он вернулся, Лямер спросила:

— Что там такое?

— Ничего, Файгиню, я просто хотел купить хлородонту и зубного порошку — Сергей уверяет, что надо чистить зубы. Но, оказывается, уже закрыто.

— Еще бы, в этот час. Но, Федор, я вижу, тебе хочется кого-то разыгрывать, — потерпи, мы еще не приехали к попадье.

— Файгиню и Сережка, — отвечал Федор, — здесь скрыты великие тайны. Завтра все объяснится, так что вы тоже потерпите. Облокачивайтесь теперь на меня без опаски: кнопок уже нет.

Ехали за семь верст, в незнакомое село. По дороге Федор останавливал встречных и спрашивался, где живет попадья. Сергею нездоровилось, Лямер хмурилась от всей этой затеи.

— Теперь мне ясно, — прошептала она, — «страдать» означает по-тульски просто «любить». Вот и все.

Сергей из вежливости вяло произнес:

— В тысячу восемьсот десятом году то же самое сказал...

Замолчали, так как внезапно стало скучно. Тряслись, засыпали, наконец остановились.

Приехав поздно и войдя в просторную горницу, застали многолюдное общество уже ужинающим за длинным столом различной высоты; он был составлен из разнокалиберных меньших столиков.

Федор шепнул Сергею:

— Вопрос: «А како в Иосафатовой долине, столь малой, разместятся мертвые в день страшного судища?» Ответ: «Ярусами, сын мой, ярусами».

Приехавших втиснули где попало. В чайные стаканы услужливо была налита водка.

— Однако они выдержали тон: приехали позже всех, видать, столичные, — раздавались непринужденные приветствия.

Соседка в розовом платье сразу же попросила у Сергея папироску и, закурив, сделалась дамочкой с папироской и защебетала:

— Он мне говорит, а я стою и падаю, понимаете...

Сергей не понял, почему она стоит и падает, так как поданная в этот момент индейка вызвала новый прилив щебетанья у розовой соседки:

— Вот так роскошь, держите меня четверо!

Сергей автоматически, повинуясь здешнему чувству приличия, стал держать за талию дамочку с папироской. Но та, пыхнув ему в нос клубом дыма, высвободилась:

— Ах оставьте, ведь вы не четверо!

Тогда Сергей ощутил, что в просвет между бутылок, стоявших на столе, на него смотрели белесоватые глаза. Он поднял голову и сказал:

— Ах!

Действительно, визави сидела Леокадия, и эти глаза принадлежали ей. Очевидно, по ее замыслу, эти очи должны были быть «очи черные, очи жгучие».

— Ваше здоровье, Леокадия Иннокентьевна! — Сергей, чокаясь, перелил ей в стакан почти всю водку из своего стакана. Та, польщенная, произнесла:

— Какое уж тут здоровье: «Я угасаю с каждым днем, но не виню тебя ни в чем...»

— Какая интересная бледность! — твердил Сергей.

— А плечи? — возразила Леокадия.

— Божественные плечи! Как вам к лицу современные моды.

Но с того конца уже грянула шумная хоровая песня: «Наш паровоз идет вперед, в руках у нас винтовка».

Сколько можно было заметить сквозь табачный дым, кооператор дирижировал хором, держа в руках сороковку: «По волнам, по волнам, нынче здесь, а завтра там».

Он действительно переходил на этот конец стола к Леокадии.

— Отчего вы не участвуете в пении? — спросил он ее.

— Фи, вульгарные советские песни.

— Да, это верно, гадость — по волнам да по волнам, то ли дело: «Быстры, как волны, все дни нашей жизни». Нынешнее студенчество — это что! Вот я учился когда-то в Московском коммерческом институте, а до сих пор помню: «Гаудеamus изикум ювен эсдум суумус».

— Слышите, — продолжал кооператор, обращаясь к Сергею, — вы ведь тоже студент?

— Я вам уже говорил, что нет.

— Рассказывайте, так я тебе и поверю! Молодчина ты, — кооператор подмигнул в сторону Леокадии, — одобряю и подписываюсь. Граждане, ну-ка за здоровье Федорова приятеля и за наши с ним достижения. Ура!

Тост, однако, не произвел должного впечатления: все были заняты своим делом. Только близсидящие сочли его удобным предлогом, чтобы осушить стаканы и вновь их наполнить.

Кооператор взглянул с сокрушением на свой стакан и предался воспоминаниям:

— Молоко — вино для детей, вино — молоко для взрослых. А помните вы трактирчик в Москве на Трубной: селедочка натюрель а ля закусон, да вальсик «Невозвратное время».

— Да, конечно, — вмешалась Леокадия, — столичная жизнь это совсем не то. В Минске я, например, работала на аппарате Юза: русский и французский шрифт. То есть, конечно, нужды никакой не было в работе, но, знаете, просто так, из любви к искусству.

— Искусство, вокальное искусство! — простонал Сергей и подмигнул Федору, едва видимому на другом конце стола. Подмигивание означало: идите сюда. Федор встал, покачнувшись. Он еще не умел при чоканье переливать водку из своего стакана в чужие, и его глаза выражали выпитое. Сидевшие там Дуня, другая Дуня, Феня и Домаша вцепились в него.

— Эй, девки, слышьте, пустите Федьку, — понадобился окрик кооператора.

Федор, отирая пот, уселся рядом с Сергеем, и оба неподвижно уставились на Леокадию. Кооператор заметно подбирался к ее обнаженным плечам, но пока что ограничивался поглаживанием ее рук.

— Сегодня я буду петь, — мечтательно произнесла Леокадия, осушая стакан водки.

— Красавица, богиня, царица, — шептали кооператор, Федор и Сергей.

— Девки, подать сюда гитары, — распорядился кооператор, вооружаясь сам и

подавая две другие гитары Федору и Сергею. Те вовсе не умели играть, но стали как попало рвать и щипать струны, руководимые пением кооператора: «Ах, то был вальс, отдаленный и томный...».

— «Милая, очи твои были так полны любви, в них так светилась она, негой и страстью полна».

— Раз-два-три, раз-два-три, раз, — постукивали каблуками все сидящие.

— Лю-у-бовь, — вскрикнула Леокадия, вскочила, занесла ногу и вспрыгнула на стол.

Хозяйка, то есть попадья — ею считал Сергей вон ту полненькую черноватую особу, по-видимому, ничего не имела против этого, продолжая безмятежно есть индейку.

— «Я вас люблю, и вы поверьте, когда цыганка говорит. Я вас любить буду до смерти — пока в душе огонь горит», — топталась Леокадия на столе, доски которого заходили. Керосиновые лампы освещали напоказ присутствующим ажурные ее чулки на тощих ногах и плоскую объемистую ступню в домодельных атласных туфлях. Выше все терялось в темноте, и только ветерок от сотрясаемого ею плаща подтверждал существование продолжения.

— «Мне черный хлеб в обед и ужин моих страстей не утолит — мне поцалуй горячий нужен: во мне цыганска кровь кипит!» — вступила Леокадия пяткой в блюдо с индейкой. Противоположный край блюда хлопнул по столу. Все вскочили. Леокадия на руках мужчин была вынесена в другую комнату, и на минуту стало видно, что к ее подошве пристало волокно индейки. В узком проходе произошло стеснение. Лямер куда-то исчезла, а Федор с Сергеем были отброшены от передового отряда, несшего Леокадию. Она, оглянувшись, приметила это:

— «Пусть он изменит, пусть он оставит — плакать не стану, ведь я молода. Новый поклонник его мне заменит, горе ему, а мне что за беда! Пусть он поищет очи чернее, ласки нежнее, румяней уста! Знаю, придет он и плакаться будет... О, как смеяться я буду тогда!»

— Слышите, какой у вас волнующий низкий голос, — щипал кооператор Леокадины плечи.

— Кусните меня за ухо, знаете, итальянки считают, что тот не любит, кто некусается!

В общей неразберихе тяжелый кооператор, поддерживаемый двумя своими приказчиками, тянулся к обремененной бирюзой мочке Леокадина уха.

— Ну-ну, потише, сумасшедший мальчишка, — скромничала та, — а то вы и впрямь откусите.

— Кадечка, кадушечка моя, богиня!

Принесенный в корзинах, появился мараскин, извлеченный из подвалов кооперации, и белая жидкость была разлита в чайные чашки.

Когда все единным духом хлопнули по чашке за здоровье богини, Сергей услышал внезапную тишину. Это был всего миг — застывшие восковые куклы: русские рубашки с узорами крестиком, потные пряди на лбу, завернувшись у штиблетов брюки, разбуженные мухи, ползающие по голым девическим плечам, и Федор с какими-то отвлечеными глазами, лежащий, как труп, на диване среди сельских учительниц.

— Весна в Париже, фокстрот! — скомандовал Сергей, расстегивая воротник. — «Шума полны бульвары, ротик детский, жалкий, бродят, смеются пары, бурным людским движеньем полон весной Париж, в жилах огонь струится, и может все случиться, с корзинкой в ручке узкой, в этом огне весенним весенние фиалки продаёт».

Все топтались, насидали друг на друга. Опилки внутри сотрясались. Федор плясал с обвисшей попадьей, которая вся колыхалась, как желе, под своим розовым платьем. Малахольная Дуня из скромности отворотила лицо. Феня с Домашей прыскали в платочки от этой парижской картинки. Попадья двумя пальчиками, с пухлым отогнутым мизинцем, теребила подол своего шелка, обнаруживая сероватую, в пятнах, нижнюю юбку.

— Я честная женщина, но чтобы я взяла на фуражку и у меня не вышло бы две, так наплюйте мне в морду, — обмахивалась попадья веером, падая на стул подле Сергея. Федор еще держал ее за руку. — Вы не бойтесь, ангелок, я довольно-таки практична, и вам не буду в тягость. — Потом, переведя взгляд на Сергея, попадья добавила: — Чего он от нас не отходит, упорный, противный. Не из латышей ли он? Мало ему одной дамы. Вы, Федор Федорович, нравитесь мне тем, что вы невинны.

Федор с такими глазами, какие у него были, когда он сидел за чертежами, прислонился к плечу Сергея. Они ничего не сказали друг другу, но если бы сказали, то это было бы:

— Что, детеныш?..

— Да, Сереженька!..

— Ну а что касается музыки, тоже не бойтесь, — продолжала попадья, — у нас вся семья очень музыкальная. Моя сестра Сонечка такая талантливая, знаете, консерваторка, и, представьте, утром, как вскочит с постели, не моется, не чешется, а сразу же:

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Рах-цим-цим,
Рах-цим-цим,
Цим-ля-ля!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

На другой день было воскресенье, и Федор мог спать долго, хотя и пересеченный полосками света, идущими от плетеных стен сennого сарая. Вчерашиний мараскин делал его бледным и нечувствительным к мухе, с упорством ходившей у него по носу.

Сергей встал давно и сидел на балконе, курением отгоняя ос и пчел. Лямер приехала на дребезжавшей телеге.

— Как вы добрались ночью? — осведомилась она. — Цел ли бесчувственный труп Федора?

— Отлично, — отвечал Сергей, — я никогда в жизни не правил, но смело взял вожжи. Они показались мне липкими, и я сперва брезгливо выпустил их. Рука моя запахла чем-то, вероятно, колесной мазью. Мне захотелось поцеловать руку. Все остальное случилось очень просто: лошадь сама нашла дорогу домой. Я заботился не о ней, а о Федоре. Во сне он бредил: «акты... миллиметры... тпр, орел, в час до неба...» Чтобы не растряслася, я положил его голову себе на колени и довез благополучно — вы можете в этом удостовериться, если пройдете на сеновал.

— Не стоит, пускай отсыпается. Я совсем не выспалась, очевидно, такова судьба всех сеновалов.

— Как так?

— Ну да, ведь нас там положили на сеновале. Я легла довольно рано, задолго до вашего отъезда, и спала бы хорошо, если бы не Леокадия.

— Опять Леокадия!

— Да, это вроде гимна Феди: «И в жар, и в зной, и в час ночной она повсюду». Меня душили кошмары: что-то наваливалось на меня и потело. Я проснулась и при свете утренней Авроры, брезжившей сквозь непрятворенные ворота сенovalа, опознала Леокадию справа от себя и докторшу слева. Обе бредили довольно неразборчиво, но Леокадия как будто о каком-то «нахале», ну а докторша, конечно, все о фуражках.

— Тоже о фуражках? Что они там все помешались на этих фуражках — и попадья, и докторша!

— Какая там попадья? Ее совсем не было дома: устрашенная вечеринкой, она с утра ушла к соседям. А Сарра Бернардовна действительно прирабатывает шитьем фуражек; оклады у медперсонала, всем известно, невелики, а к фуражкам ее приучил еще покойный ее муж. Я попыталась высвободиться из-под Леокадии и стала перелезать через нее. Мне почти удалось это восхождение на Леокадию, как вдруг она проснулась в страшных мучениях — вечер не прошел ей даром. Я стала будить докторшу. Та была недовольна и спросонок ругалась: «Черт их знает, не дают спать спокойно, рожают каждую ночь, мерзавки распутные». Ее не утишило и то, что с Леокадией приключилось совсем другое. Мы оказали ей посильную первую помощь. Когда же рвота улеглась, мы тоже улеглись и стали мирно беседовать, впрочем, я молчала. Сарра Бернардовна и Леокадия проклинали сеновал: по их словам, сено колется даже сквозь простыню, и осведомлялись друг у друга, как кто из них выходил замуж: «Ну а он что? Ну а вы тогда что?» — «А что вы ему на это сказали?» — «А что он тогда сделал?» После начались взаимные поучения: «Я бы на вашем месте сказала бы ему...» — «Будь я вы, я бы...» — «На-плюйте в меня, если б я на его месте не...» Под их задыхающийся шепот я заснула и проснулась поздно, не совсем убежденная в реальности ночных происшествий, если бы не некоторые доказательства... Иса Макаровна, приготовьте корыто в кухне: я сейчас пойду мыться.

— Еще минутку, — сказал Сергей, — а вы знаете, что сделал кооператор? Когда мы с Федором уезжали, он выскочил провожать, хихикнул, потом стал помогать нам, то есть перепутал поводья. Вдруг я ощущил маракиновый и водочный перегар: «Поздравляю, брат, спасибо тебе», — и кооператор кинулся меня целовать, но

так как лошадь уже трогалась, то его горячий поцелуй попал мне в холодное ухо... Однако самовар уже перестал петь. Чай простишет: пойти разбудить Федора.

Под этим предлогом Сергей, почувствовавший резь, сошел с балкона, споткнулся о корень близстоящего дерева, закачался, но все же направился по дороге к сеновалу, впрочем, внезапно свернул налево в кусты и там задержался. Под нижними листьями малины уцелело несколько ягод, очень крупных и переспелых. Здесь-то и произошел у Сергея воображаемый разговор с Федором:

– Вставайте, Феденька, безбожно спать так поздно.
– Безбожно? Стало быть, хорошо, – промычал спящий.
– Ну, не безбожно, а грешно, ведь это мой последний день.
– Ну, вы еще до семидесяти лет проживете, а грешно, стало быть, хорошо.
– Смотрите, Федор, я примусь за финтифлю. Вставайте лучше скорее, пойдемте гулять.

– Да, да, гулять, – спящий перевернулся на другой бок и отправился по небывалым лугам в тот дальний лес на горизонте. Прохладное дуновение благовонного ветерка из тенистой чащи цветущих деревьев довершало радость после утомительного зноя и навевало сладостные думы. Вдыхая сосновый дух, Федор воскликнул:

– А ведь хорошо, Сережка!

Под высокими соснами ютилась там всякая мелочь, еловые и березовые подростки. Одни из них были совсем нечувствительны к осени, другие уже смолоду любили на время сбрасывать свои листья, а весной покупать свежие наряды, так как прошлогодние оказывались не впору: так вырастали деревья за время своего обнажения.

– Спит как убитый, жаль будить его, – сказал Сергей, вернувшись на балкон. Привычное это слово сорвалось случайно, но его уже нельзя было вернуть. – Так вот отчего это нелепое вчерашнее беспокойство. Все раздражены. Я знаю: в деревне происходит борьба. Правда, деревня от нас за три версты, и я там не был. Но и здесь чувствуется. Мне бы теперь выпить стакан воды с тремя ложками сахара. Леокадия говорит: кулаччио, дураччио. Дело ясное.

Сквозь прорехи в полу балкона Сергей видел землю, некогда принадлежавшую помещикам. Балконное подполье зияло темное, и мохнатая лапа Фингала, угнездившегося под досками, когтисто простерлась вперед.

Федор снесет флигель и этот сад. По ночам земля, лишенная яблонь, станет совсем влажной. Вопреки кулачью дудки будут нарыты повсюду. На месте этого помещичьего флигелька вознесется красавица-вышка. Уже нельзя будет споткнуться о сучковатый корень и на мгновение закачаться, не зная, устоишь ли, быстро выдвинув вперед ногу, или сейчас коснешься носом земли. Если упасть на траву, почувствуешь под нею тепловатую землю. На такой же земле будет лежать Федор, но только на глубине сорока метров. И как тогда, когда он был усыпан маракином, неотвязная муха упорно будет ходить по его бледному носу. Целый рой мух налетит в узкое днище дудки и, стукаясь о стены, округло будет виться над ним. Брюшки этих мух густо мохнатятся, как у пчел, виденных Сергеем в улье. Мохнатки липко наседают друг на друга, наперебой

стремясь к лакомой свежинке. И среди них лакированная, зеленоватая, блещет навозная муха.

Конечно, Федор шел с работы, как всегда, походкой «неприкаянного ангела», по выражению Лямер, полный какой-нибудь очередной, незначительной думы: о чем обычно размышляют ангелы – о преферанс или о том, что завтра опять рано вставать. Перед ним поля были неразборчивы в темноте. Конечно, к нему подкрались сзади, когда он поравнялся с пятой дудкой, и, конечно, десятник, как обычно, позабыл прикрыть ее щитком. Впрочем, возможно, что щиток утащили на дрова. Негодующий Федор остановился у круглого отверстия, и тогда сахарная ручка Леокадии толкнула его. Потом Леокадия лихо повела угловатым своим плечом и, подбоченившись, пошла прочь. Или неуловимый Мотенька, напудренный «Джикондой», неизвестным, но свойственным ему жестом столкнул Федора в яму и отправился в Тулу продавать шины. А в доме Сысоича уже ждет всех праздничный конь-як. Кулачье скупило все мыло и Федора погубило – так обернется песня.

Федор летел бы вниз, вдоль еще недавно измеренных им пластов: кровля красного песку, подошва красного песку, метр с четвертью, затем все дальше, мимо кварцитов, мимо руды. Наконец голова, хрустнув, коснулась дна, и руки, заломленные над нею тем движением, которым отвечал он когда-то крестьянину, жаловавшемуся на потраву, хрупко сломились. Красна руда, но красен и красный инженер, лежащий ногами кверху на дне круглой дырки.

Лежа ничком, Сергей зубами ощущил бы вязкий и неподатливый вкус земли. Он в это мгновение свежо понял истину, что землю нельзя есть, но, с другой стороны, нельзя быть и рохлей, надо действовать, быть может, Федор еще жив и копошится на дне, пытаясь, как тогда в лесу, крикнуть:

– Ау, пишущая машинка, ау, Genosse Sergius.

А что сказать, если Лямер завтра за утренним чаем спросит:

– Цел ли бесчувственный труп Федора?

Сергей помчался бы к бурому мастеру, позабыв о собаках, грозных для него. Окно, брезжившее коптилкой, оказалось закрыто, и Сергей разбил стекло кулаком: «Скорее, мастер, скорее: убийство!»

Стеклянные дребезги впились в раскровяненную руку, острые стеклянные треугольники торчали в пробитом окне.

В комнате произошло бы движение. Сперва с визгом метнулось бы простое волосое, прошлепав босыми ногами к двери в другую комнату. Потом буровой мастер, торопливо натягивающий штаны, оказался бы стоящим перед окном.

– Что? Где пожар?

– Сюда, мастер, скорее!

Тот ухарски выскочил бы в окошко и смотрел бы по сторонам, ища зарева. Среди темени Сергей ухватил бы его за голое плечо и потащил за собой. У черной дыры Сергей продел бы ногу в канатную петлю, мастер вертел бы ворот. После надземной, уже прохладной ночи охватила бы Сергея теплота внутри дудки, несмотря на то что мастер «с ветерком» – «ветерочек чуть-чуть дышет» – спускал его в глубокую эту ночь.

– Что? – кричал сверху мастер, – там он?

Но Сергей летел бы вниз, ухватившись за веревку, слыша только, как режет ему ногу канат.

Над собой через черную трубу дудки Сергей видел высокую луну, а внизу среди мрака возникли перед Сергеем темные пятна:

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Чуть-чуть, муть, на одиннадцатой пути...

Наконец в судороге Сергей отдернул ногу, завопив:

— А-а!

Растопыренные пальцы его выпустили веревку, и он упал лицом на мягкий, еще теплый, волосистый труп.

«Что за чепуха, однако, у меня в голове, очевидно, мараскин-то действитель-но даром не проходит».

Сергей достал папиросу и едва не обжег спичкой себе пальцы, все же успев прочитать на коробке: «Новы Барысау, фабрика Дамьяна Беднава».

«Ах, какое нежное, чувствительное сердце, ну и рохля же, мешок, баба, иди-от, тоже разные обмороки!»

Сергей слышал бы живые человеческие голоса, приятные для него. Над со-бой он видел уже бледнеющее предутреннее небо: Кассиопея, Большая Медведица, Малая, Полярная звезда – там Петергоф. Пониже он увидел большую звезду, стоящую на земле: шахтерскую лампу с фабричным клеймом, на стекле – летучая мышь – Fledermaus, венская оперетка.

«Значит, я-то, по крайней мере, жив, – подумал Сергей, – как хорошо». Штраус-отец, Штраус-сын и Штраус – дух святой, то есть оба они Иоганны, танцеваль-ные залы, где пиво можно плескать прямо в голубой Дунай. Зазвучал летучий вальс «Du und du». Он двинул рукой, подражая тому, кто дирижировал зимой в филармонии, когда увлекательная иностранная спина плясала, фалды фрака, что-бы не разлететься, соединены были черной тесемкой; слушатели поводили кто ногой, кто плечом, застарелая frische Blutpolka – кусок Европы – прыгала по го-ловам совслужащих, соседняя дама шептала: «Знаете, это действует как нарзан-ная ванна».

Сергей произнес довольно внятно: «Du und du».

– Дунду, дурында, дурак, – кричали над ним приветливые голоса. Шахтерс-кая лампа освещала атласные домодельные туфли, топтавшиеся на месте, козло-вые сапоги,очные туфли, босые закоруздые ноги. Леокадия ударяла его шарфом по носу, кооператор стыдил:

– Не позорьте нас, старых студентов, вставайте. Что вы целуете эту землю – здесь ведь не могилка Льва Николаича. Да что это у тебя весь кулак в крови? Укошил, что ли, кого?

– Окошко, – отвечал Сергей, – окошко, вы думаете кого? Нет, я тут ни при чем. Пускай себе спит спокойно на сеновале.

– Только меня оторвал от дела, – ругался буровой мастер, – я уж думал, не пожар ли где случился.

— Не дай-то, господи, типун тебе на язык, — сказал бы кулак и стал благодарить Сергея за находку жеребенка.

— Вот вы и свидетелем можете быть, что они не закрывают дудок щитками и вся скотина туда валится, а нам убыток.

— А ты, Сысоич, с них и встребуй.

— Беспременно встребую. Не меньше как двадцать рублей. Ведь что за жеребенок был: мягкий, каурый. А что Федор Федорович станет говорить, будто это тот самый, кому Дамка ногу отъела, так это все врут: ногу он обломал, когда в дудку падал.

Кулак дружелюбно протянул бы Сергею кулак и помог бы подняться с земли. Раздался бы набат: ветхая колокольня вся заходила бы под тяжестью неистового гуда. Дуня, другая Дуня, Феня и Домаша подхватили бы Сергея под руки, и они веселой подпрыгивающей компанией подбежали бы к месту пожара. Горел хлеб, еще необмоченный. В толпе говорили о поджоге из мести, так как крестьянин боролся с кулачьем. Владелец хлеба суетливо стоял с ведром воды, остальные бездействовали. Невысокое зарево разрумянило лица. Старушки жались поближе к огню, чтобы погреть на даровицкую простынившие свои косточки. От гула набата не было слышно речей, только разговоры близстоящих отрывочно доходили бы до Сергея.

Степенно подошедший поп был бы разочарован: он думал, что горит изба, что смельчаки прыгают в огонь, желая спасти иконы и зимнюю одежду, и что при этом кто-нибудь непременно сгорит или задохнется. За похороны можно будет получить мзду, да и на поминках покушать, вздохами прикрывая икоту. Прошлый раз в Ослоновке весело старику хоронили: пили-пили, потом заплясали, потом Василий Герасимович зубами ушат с водой подымал.

Леокадия в белом платье, ставшем розовым от пожара, стояла бы подле попа:

— С такой усталой душой, как моя, мне так хочется новых, ярких впечатлений, батюшка.

— Да, беда, беда, — отвечал бы священник, — по грехам нашим все.

— Неужели он такой грешник, этот погорелец? Скажите, как интересно.

— Ослица Силоамская не виновнее была других, что на нее башня упала и погребла под собой.

Леокадия глядела бы в упор на горящие снопы: те, что были наверху копны, горели свободно, и в сердцевине пламени колосья сверкали, как недавно на полях в полуденном блеске. Снопы пониже краснели, и нерешительное пламя пробовало лизать их. Это побудило Леокадию к богословскому диспуту со священником:

— А как вот это, другое, тоже грех?

— Смотря по обстоятельствам: как, когда и кто.

— Да, это верно, здесь большое разнообразие. Вам не кажется, батюшка, что в старину я, конечно, была б Нероном?

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

— Как вы насчет Рима, батюшка?

Дуня, другая Дуня, Феня и Домаша с завистью взглянули на Леокадию.

— Имя-то у вас, сударыня, действительно как бы римско-католическое.

— Еще бы! — повела бы плечом Леокадия и лихо отошла бы в сторону. Но так как она была в белом, то чьи-то черные рукава заметно образовали бы темный крест на ее стане.

— Что это вы призадумались, Эсэс? — спросила Лямер: — Вам уже надоело Мирандино?

— Нет, это так, — отвечал Сергей.

— А мне здесь нравится. Или это после Москвы? Посмотрите: тополя, дешевки, на дороге пыль, под балконом Фингал. Что это он сегодня все лежит? Нет этих, знаете, трамваев, оркестров, режиссеров.

— Да и сахару нет, без него и чай пить не хочется, — сказал подошедший Федор.

— А, мы уже встали! И кажется, с левой ноги?

— Файгиню, оставь мои ноги в покое. Сергей, идите меня умывать.

Федор действительно глядел заспанным, взъерошенным, тусклым, кулачками протирал он себе глаза.

Сергей лил воду в протянутые ладони Федора, лицо которого сразу освежилось, покрытое водяным лаком.

— Вы действительно не в духе, Федор?

— Духа вообще нет, пора это знать. Дайте-ка сюда полотенце.

Вернувшись на балкон и отодвинув от себя стакан с чаем, Федор принялся за сочни, изготовленные бабушкой. Он отворачивал верхний лепесток теста и извлекал муку, запеченную в белом твороге. После трех сочней лицо его совсем просветлело, как лик иконы в Успенье.

— Ну, Файгиню, ну, Сережка, дело движется к развязке: истинно говорю вам, дондеже, убо, аще, что завтра будем пить чай уже с сахаром.

— Неужто выдадут! — воскликнула бабушка. — Вот сколько здесь живем, ничего нет.

— Что же ты, пророк, что ли, Федя? Да и то сказать, встал ты хмурый, желтый.

— Я сержусь, Файгиню, есть причины, да и Сережка уезжает. Ему не придется пить сладкого чая. Оставайтесь-ка вы здесь еще хоть на денек.

— Нет, Федор, мне никак нельзя, вы сами знаете. Но если ваше пророчество сбудется, то да усладит вам сахар горечь разлуки.

— На кого ты нас покидаешь, отец наш? — запела Лямер, вставая из-за стола.

Из-под досок балкона, заходивших под танцующими, раздалось недовольное рыканье Фингала.

— Он недоволен, — сказал Сергей, — у него здешний, местный вкус. Ему, очевидно, больше бы понравилось «Гайда, тройка, снег пушистый, мчится парочка...».

— Втроем, — добавила Лямер.

Из-под балкона раздалось, однако, несколько стенаний. Федор, не выдергав, лег на землю и полез под балкон.

— Скандал, скандал, — сапоги Федора, не скрытые балконом, неудержимо

плясали. Наконец, отряхивая с локтей землю и куриные перья, Федор вылез, весь красный.

— Кто бы мог думать, ай да Фингал, — Федор прошептал что-то на ухо Лямер. Было слышно слово «шесть».

— Так молока им туда скорее, — догадался Сергей.

— Ах вы, иностранец! Они еще не умеют лакать с блюдца. Фингал их сам накормит. А вот ему, действительно, можно дать молока.

Хозяйка, узнав о случившемся, заметила кратко, что надо будет позвать сегодня же Мотеньку. Сергей умолял пригласить кого-нибудь другого, только не Мотеньку. Хозяйка указывала, что вообще, конечно, дело это недолгое, но она хотела бы доставить Мотеньке удовольствие, так как он иногда исполнял в Туле ее поручения. Наконец Иса Макаровна полезла сама под балкон. Сквозь прореху в полу отчасти было видно ее сраженье с Фингалом: отдувающаяся жирная спина хозяйки, костистая собачья лапа, рычанье и крики «цыц!».

Наконец уже с наполненным мешком пошла хозяйка к ведру, из которого недавно черпал Сергей воду для умыванья Федора. Ничего не доставая из мешка, она, немного помяв его, втиснула целиком в ведро и удалилась к колодцу. Сергею припомнились слова Федора, сказанные при умыванье.

— Значит, — сказал он, — Дамка умнее Фингала и недаром выбрала развалившуюся избу.

— Ну, Федя, иди гулять с Сергеем, ведь он завтра уезжает. О Фингалке я позабочусь, это наше материнское дело.

Федор в русской рубашке шел по полям, сегодня уже совершенно просторным. Вчерашняя золотая полоса исчезла. Стали курить и напевать, сперва, под влиянием Лямер, из опер, но пение не вышло.

— К черту папиросы, — закричал Федор, — давайте лучше помолчим.

Пологий овраг выглядел колким от уже стриженою, но не бритой ржи. Роща, где два дня тому назад встретили девушек, стояла тихо, по-воскресному не знающая, что ей делать.

Сели на бугреватой кочке. Федор начал объяснять бурение:

— На конец одного из звеньев штанги, Сережка, навинчивают буровую ложку, а на другой конец ушко, и в проушину вставляют рукоятку. А как все просто у этого бурового мастера: водочка да девочки — вот и воскресенье пролетело незаметно. Ему столько же лет, как и вам. Разбитые светлые глаза. Сейчас он, вероятно, прохладдается. Как, по-вашему, хорошо бы быть таким, как он? Помните девушек тогда в роще?

— Я помню их и в роще, и на деревенской улице, и вчера у попадьи. Я только не понимаю, почему, когда я приехал, они сказали, что у них здесь Стратилатов много?

— Ну, это глупость, это буровые мастера сложили такую песню. Вам ее незачем знать.

Рассмеявшись, Федор полетел с кочки. Валясь по траве и задирая кверху ноги, заголосил он: «Во субботу, день ненастный, нельзя в поле работать, ни борунить, ни пахать, во зеленый сад гулять».

«У него выходит, надо и мне», — подумал Сергей, опрокинулся навзничь и попробовал тоже выделывать выкрутасы, но не мог сравняться с Федором. Однако оба решили, что это недурно снова стать пятнадцатилетними.

Из-за кустов раздался смех: тот, другой Федор, сидел там с гармошкой и Марьянкой. Под песни обоих Федоров и Сергея завела она пляску, босоногая, в малиновой юбке. Наконец, умаявшись, застыдилась и села поодаль от своего жениха, покусывая былинку. Сергей и Федор, прощаясь, поцеловали ей руку и подмигнули тому Федору. Оркестр, составленный из прищелкиваний языком, из губ, сложенных для свиста с всунутыми в рот двумя пальцами для придания посвисту разбойниччьего оттенка, из хлопанья в медные тарелки ладоней, уже шествовал по черноземной пашне.

Встреченный землепашец, работавший, несмотря на воскресенье, поглядел, снял шапку и промолвил:

— Бог в помочь.

Но оркестру некогда было отвечать на его приветствие: медные трубы старательно набирали в себя горячий воздух, готовясь к трем оглушительным и заключительным своим аккордам.

— Стойте, — сказал Федор, — вот, кстати, проверим десятника: эта Моя невинность забывает иногда прикрывать дудки щитками, туда может попасть всякая дрянь.

Среди хлебного поля уточтано было гуменцо. Коричневый этот песок, по словам Федора, рудокопы называют «табачком».

— Под ним фосфориты — твердые глянцевитые желвачки.

— А что под этим щитком? Вообще, что вы чувствуете на дне дудки?

— Здесь сто пятая, глубина тридцать метров. А вот, кстати, он сам. Ну как, все в порядке?

Десятник не отвечал, сумрачно глядя на Федора.

— Я тебя, товарищ, спрашиваю, все ли в порядке?

— Если б ты, Федор Федорович, не был моим начальником, я бы с тобой и говорить не стал после того, что случилось.

— Что так? Значит, уже случилось? Вот они, мои-то кнопки! Колются насквозь!

— Сам знаешь. Да не в кнопках дело. А как прочитали все, так и повалили.

— Да и ты знаешь, — возразил Федор, — зачем сам не смотрел. Могло бы выйти и похуже. Жена да боится мужа. Ну не сердись, Моя невинность.

Десятник еще колебался, наконец пожал протянутую Федором руку.

— Шума-то, визга-то сколько было, — сказал он, — я от них прямо бежал. А ты, Федор Федорович, может, и прав, мне-то оно лучше, авось теперь она и совсем образумится. Прощай пока, пойду другие дудки обсмотрю. А только здесь мне после всего оставаться никак невозможно. Попрошусь в другой район.

Федор посмотрел вслед ушедшему. Сергей засуетился, желая узнать, в чем дело.

— Тайна сия велика есть, — отвечал ему Федор.

— Так вы хоть намекните, я догадаюсь.

— Нет, нет, нельзя. Поломайте-ка себе голову.

— Хорошо, поломаю ее вслух. Слушайте: мы сейчас встретили Леокадина мужа. Он десятник, а вы красный инженер. Деревня здесь, разумеется, кулацкая. Следовательно, вы убиты, Федор.

— Но факты этому противоречат: я живехонек.

— Да, мускулы ничего себе, но у того Федора лучше. Ну тогда другое. Вы с кем-нибудь тайно обвенчались, да? То-то вы в роще все про девушек вспоминали. Вы завтра похищаете Леокадию? Она образумится. Вот почему тут ее муж. Он, само собой, согласен.

— Близко, но не совсем то. Это я, конечно, сделаю завтра в первую голову. Не уезжайте, сами увидите.

— Невозможно, Федор, и так мне будет порядочный нагоняй. Но я заранее вижу: закрытая карета подкатывает к Леокадину дому, вы, как установлено, свистите три раза. Леокадия в капюшоне спускается по веревке, которую она скрутила из простыни и прикрепила к подоконнику кнопками. Спустившись, Леокадия пляшет, но накалывается голой пяткой на оброненную кнопку и взвизгивает. Дверцы захлопывают, форейтор гонит стремглав, но на мосту дураччийо, кулаччийо, в масках, с дубинами, вилами, пистонами окружает карету. «Смерть или кошелек!» Кошелька у нас с вами нет, значит, смерть. Карета опрокидывается, Леокадия тонет в реке, становится зеленою нимфой, увитой водорослями, и держит зеркало. Все бегут на утопленника, видят ржавую, как чай, воду, волят, девицы причитают: «Я страдала, страданула, с моста в речку сиганула». А вы, Федор, летите из шарабана вверх.

— Вот это очень похоже на правду, — сказал Федор, — а когда мы с вами сейчас придем домой, оказывается, кулачье восстановило старый режим. Пришлось бы читать французские романы с Зюзи, ездить к обедне, и потом нас с вами немедленно арестовали бы, лишили бы всех прав и состояния, которого, впрочем, у нас нет, и сослали бы в Сибирь.

— Нет, в самом деле, Федор, еще возможно знаете что? Буровой мастер забрался в шалаш к Елене. Хотя, знаете, я не против этого. У него такие разбитные глаза.

— Ну, Гриша Ермолов ее в обиду не даст. Идемте скорее домой, есть хочется. А вот и Файгиню вышла нам навстречу. А вы, известное дело, дрянь.

Лямер одиноко шла, закинув руки назад.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

— Идите пить молоко. Да и письма получены, Федя: одно из Москвы, а другое здешнее, без марки — Домаша принесла.

Стенки стаканов побелели. Федор выловил пальцем пенку и стряхнул ее в услужливую пасть Оссиана. Тот повел языком и недоумевал: причастие это показалось ему сладким, но таким мимолетным, словно его и не было.

Федор рассматривал конверты. Одно письмо было толстое, другое тонкое.

«Быть может, в них вся разгадка», — подумал Сергей и торопил Федора вскрыть.

– Не спешите, Сережка. Хорошо отдохнуть после прогулки. Берите одеяло, подушки. Я возьму Файгиню. Идемте в сад под яблони.

Расположились на покатом пригорке. Подушка оказалась серее, чем обмазанный белым ствол яблони, к которому ее прислонили. По настояниям Сергея сперва был вскрыт толстый конверт, причем Федор заметил:

– Московская почта, стало быть, уже пришла. Интересно, как это отразится на вашем тезке. Ну, Сергей, читайте, что мне пишут из Москвы.

– Наверное, какая-нибудь барышня?

– Да уж не без того, само собой.

«Здорово, друг Федор! Шлю тебе преогромнейший привет и желаю в твоих работах хорошего успеха. Я еще не начал вариться в академическом кotle после каникул, но температура втрое повышена, а давление, думаю, раз в пять увеличено. Говорят, это полезно. Как сказать, при нашем питании: H_2O плюс капуста. Ну, пусть что будет! Если этого давления не выдержу и от капель академического котла будут ожоги, то в этом я не виноват, а мое здоровье. Сейчас я чувствую себя так, как чувствует судно, оставшая победительницей после борьбы со смерчами стихии. Ну а теперь буду описывать свою поездку до Москвы от известной тебе станции. Доехал я хорошо. В поезде находился 5 часов. Только что вошел в вагон, а там уже гремел струнный оркестр, издавая минорные трели. Это ехали наши студенты. Ехали и студентки из педуниверситета, из коих одна своими взглядами, как ярким лучом солнца, резала мои глаза, и я вынужден был отвернуться. Тут же я стал какой-то другой. Гrimаса моего лица из веселой стала серьезная. Фразы высказывались мной без окончаний, а через минуту я уже был с ней познакомлен. Это была прелестная Нина, южанка, после чего я назвал ее „Нечаянной радостью“. Ехал так весело, что часы казались минутами. Нечаянная подымала мне дух, и я от восхищения выложил свой репертуар под звуки нежных струн. А разъяренный стальной конь, ни на что не обращая внимания, разрезал сухой жгучий ветер; он спешил доставить нас к цели. Порывистый ветер, давая дорогу гордому рысаку, с шумом пролетал мимо окон и своим визгом приветствовал едущую компанию. Рессоры, как крылья плавающего в воздухе, стремились тихо и плавно качать нашу колыбель, чтоб соблости гармонию жизненных актеров. Струны напевают вальс „На сопках Маньчжурии“ и своим рыданием, как гипнозом, забирают пылкую, отзывчивую молодежь под свое влияние. Но вот заржал наш рысак, увидев бдительные глаза встречного поезда, и своей встречей отвлек на мгновение всех от струнного магнита.

Тяжело дыша, выносливый степняк бежал мимо окон вагонов и, как паровым молотом, издавая увесистый стук чугунными ногами, тащил свой груз в певучих кибитках. Вот нырнула уже последняя и проскрипела несмазанной осью. И снова все тихо, гремевший оркестр издал посторонний звук, и мы вторично во власти рыдающих струн. Эх, зачем эти звуки?.. Почему они, как ипритом, нас забирают в свою власть? Ну для чего терзать сердце? Перестаньте же, наконец, рыдать, проклятые струны! Зачем эта встреча? Довольно растревлять рану в груди! Но струны не умолкали и своим плачем усиливали чувства слабого существа. Вот еще раз она запела со мной. Ее прелестные жемчужины еще раз устремились

на меня, они горят и своим эликсиром жгут мое сердце. „Федор, – окончив, проговорила она, – спой один или еще продекламируй что-нибудь, пока струны напевают «Грусть», ведь это любимый мой вальс!“

Я не мог отказаться и начал декламировать „Женщина“... Почему? Зачем? Для чего?.. Не знаю... Виновен в этом рассудок, который на этот раз находился под влиянием чувств, что со мной нередко случается. Да, бывают же в жизни минуты, из-за коих согласишься существовать часы, чтоб потом, потом эти минуты жить! Струны все продолжают дрожать, и мы, слабые существа, невольно подражаем им, а рысак все так же мчит, продолжая разрезать жгучий ветер, стучат колеса, стучат и наши сердца и своим стуком, как азбука Морзе, передают все новые и новые чувства. Смотря на нее, я часто вспоминал лето, когда я беспечно практиковался в волшебном селе Мирандине, где так же вот неожиданно встретил пылкость глаз, длинные курчавые косы. Они похожи друг на друга. Вот-вот это волшебное mestечко. Лето. Июль. Вечереет. И солнце, скрываясь за горизонтом, своими пурпурными лучами стремится разыскать удаляющие облака, чтобы страстно обнять и со слезами приласкать их в остатний раз. Лес без жестикуляции не дышит... Как будто мертв. Только парочки и компании, прибывающие в лес, дают знать, что все живет и хочет жить. Это милый, храбрый, стойкий бор, свидетель всех гостей. А вот и спокойная река Упа с обрывистыми песчаными берегами, по которой мчит расписная гondola с веселой компанией. Но зачем это веселie?.. Зачем эта бурность?.. Для чего эти трели баяна?.. Жаль, что эта компания не понимает того, что своим весельем она нарушает покой зеркальной реки и отдыхающего бора. Зачем эта толпа?.. Почему ее косы у меня на груди?.. Зачем эти ласки, лживые слова? Игра глаз? Ах, Леокадия. Но лучше, друг Федор, не надо называть имен. Наконец-то декорация опушки освещена волшебницей-лучной! Моя партнерша восхищена! Ее глаза впились в звезды, ныряющие среди плавучих скал, картина закончена моим отъездом. Я думал, больше не увижу, но в пути на север я встречаю такие же глаза и волосы, как будто и она, и сидит так же рядом, и волосы повисли на груди моей. Вот она уже толкает меня в бок:

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

„Но пей же чашку-то, чего задумался? А то ведь приедем скоро!“ Не успела она еще договорить, как отворилась дверь, и очкастый проводник проревел: «Подъезжаем, пора собираться, хоть хорошие были пассажиры, но что же делать?» Звуки струн как будто испугались хрипевшего баса, оборвались и пронесли свое последнее рыдающее эхо по всему вагону. Лица, находившиеся во власти струн, не сразу собирали свои вещи и с какой-то особой сноровкой стремились уловить последнее певучее эхо!

Эх, дружище Федька, ты и без слов меня поймешь, сам знаешь чувства молодых людей. Телеграфировала мне Дуня, что ты за попадьей стал приударять, так желаю тебе успеха; конечно, у всякого свой вкус. А счастливец ты, что остался в Мирандине, но, смотри, мою Дуню (не ту Дуню, а другую) не трогай, а то я с тобой сквитаюсь после.

Остаюсь в надежде на твое благородство любящий тебя выпускник Московского политехнического института».

Федор, скомкав, бросил листочки прочь.

— Вот и вы, Сережка, тоже так поедете в ваш Петергоф, а Файгиню в Москву. Смотри, Файгиню, ты поосторожнее: встретишь какого-нибудь морячка, чистого, опрятного. Ведь, знаешь, теперь уже немыслимо: «Эй, борода, куды прешь, не видишь разве, что здесь чистая публика». Все стали бриться. Вот только здесь, в глухи еще — но молодежь уже, так что берегись, берегись, Файгиню.

— Сам ты берегись, Федор. А я с удовольствием буду вспоминать эту глушь. Когда поешь на сцене, то вдруг вспомнишь что-нибудь совсем неподходящее. То есть, конечно, думаешь, вот сейчас надо подойти к этому «ре», потом взобраться на «си», но одновременно почему-то внезапно всплывают, ну хотя бы вот эти яблочки, висящие над нами, или вот этот переливающийся воздух. Сейчас и не знаешь, а потом, зимой, оказывается, все запомнилось.

— Вот и Фильдекос все помнит: закаты, речку, бор. Вы, Сереженька, тоже будете мне писать такие же письма?

— Я отвечу вам, как вы мне тогда в Петергофе: возможно. Знаете, Федор, писать письма — это еще не значит отправлять их. Я люблю ждать ответа на свое неотправленное письмо. Оно совершенно готово, даже марка наклеена (на ней рабочий с энергичным лицом на машинном фоне). Я вожу языком по откидному треугольнику конверта, чувствую вкус клея, вспоминаю, что это негигиенично. У меня начинаются болезни: волчанка, рак языка, аневризм аорты. Наконец письмо заклеено и опущено в ящик — письменного стола. Я жду на него ответа, и ответы приходят во множестве, каждый день. Меня забрасывают радостными, ужасными, страшными посланиями. Ведь мое-то неотправленное письмо я мог написать кому угодно. Наконец примерно через месяц, иногда раньше, когда все ответы перебраны и пережиты, я вспоминаю о своем письме и отправляю его. Ответ, если даже приходит, мне уже не нужен — у меня были поинтереснее, так что я не всегда читаю получаемые письма.

— Вот как, — сказал Федор. — Надо принять к сведению. А я-то вам писал, писал сдуру.

— И исполнению, — добавила Лямер, — но, Эсэс, неужели вы так же поступаете и с деловыми письмами? Теперь понятно, что вы не сделали никакой карьеры и остались пишбарьшней. Смотрите, не останетесь старой девой. Мы с вами однолетки, но зато у меня есть сын, а у вас нет. Но из письма Фильдекоса я вижу, что здесь, оказывается, роман на романе, а я и не подозревала. Только вот у нас почему-то не клеится.

— Отлично клеится, — пылко возразил Сергей, — давайте считать: я преемник Фильдекоса, мой роман с Леокадией — раз. Роман Федора с попадьей Саррой — два. Недаром у него такое влечение ко всему церковному. Бабушка и церковный староста (заметьте фамильное сходство) — три. Тот же самый Федор и одна из термометров — четыре. Это было еще до моего приезда. Наконец, ваш роман, Лямер, с кооператором — пять.

Лямер играла хворостинкой. При этих словах она положила ее на одеяло, остирем к Сергею.

— А я думаю о шестом.

— А я о седьмом, — проговорил Сергей.

— Как о седьмом?

— Ну да, это наш с вами роман, Лямер. Вчера мы гуляли при луне — для деревни этого вполне достаточно. Да и Обожаемое тоже...

Лямер снова взяла в руки хворостинку.

— Ну, Федя, а ты что скажешь?

— Я, Файгиню, даю в твоем присутствии торжественное обещание, что свято исполню просьбу Фильдекоса.

— Бедная эта Дуня, — вздохнула Лямер, — а ведь она недурна собой: что-то меланхолическое в лице, черная челка. Вы за какой цвет волос стоите, Сергей?

— Леокадия так белобрыса, что прямо роскошь. Вы знаете, у Федора завелись какие-то тайны с ее мужем.

— Теперь это уже не тайна, вот смотрите, — полез Федор в карман. — Черт, это не то. — Федор вскрыл наконец и второе письмо. Там оказалась четвертушка бумаги, отчасти даже разорванная и с дырками по углам, видимо, от кнопок. Некоторые строчки были начерчены печатными буквами, другие в промежутках между ними набросаны беглым карандашом: «Граждане деревни Мирандино! Вы подлец и мерзавец! Сегодня в воскресенье так оскорбить женщину! В час дня приходите. Погодите, я вам этого так не спущу! Все к Леокадии пить. Подписываешься нечего — та сладкий чай которую вы, гадина, знаете. Вход свободный».

— Ты думаешь, Федя, — сказала Лямер после раздумья, — что ты прав? Ведь все-таки она действительно женщина. Воображаю, как она убита.

— Файгиню, это совершенно неважно, кто убит — женщина или не женщина, теперь равноправие.

Лямер стала обнимать сына и растрепала ему золотистые кудри.

— Ах ты, мой Федор грандиозный, все, что ты делаешь, все хорошо.

— Это не я один, это мне тот Федор посоветовал.

— Ну, значит, оба Федора — пара пятак. А оба Сергея... нет, ты только взгляни, Федя, какой вид у Эсэса.

Сергей напрягался изо всех сил, чтобы понять, морщил лоб и отирал платком.

— Опять кто-то убит, то есть убита. Но я уж больше не могу. Довольно.

— О чем вы думаете, Эсэс? — спросила Лямер.

— Я думаю о том, как по-немецки сахарный песок?

— Ну и что же надумали?

— Не правда ли, Файгиню, — смеялся Федор, — у Сергея в лице что-то поэтическое: эти капли пота на лбу, вроде Дуни. И потом сходство с кооператором. Недаром они тезки.

Федор стал хлестать веткой и Сергея, и Лямер.

— Меня-то за что? — оборонялась Лямер.

— И тебя есть за что, Файгиню. Ты тоже сочинитель, не хуже Сережки.

— Извините, сын мой, я стихов не пишу. Ну-ка, Эсэс, читайте их, кстати.

Так как Сергей ничего не помнил наизусть, то ему пришлось пойти в сенной сарай, где лежал весь его скот.

Пользуясь отсутствием Сергея, Лямер обратилась к Федору:

– Ну, как дела, Федор?

– Дела? Хорошо, Файгиню, спасибо. Работа идет помаленьку.

– Ах ты, великий молчальник земли Русской. Сергей, тот болтает без умолку.

– Сережка? Он, правда, довольно милый, но дурак страшный. Как, по-твоему, Файгиню?

– Видишь ли, Федор, он так долго сидел над своей Исландией, что это чувствуется сразу.

– А какие ты себе платья сошьешь, Файгиню, когда вернешься в Москву? Подлиннее, да?

– Разные, да не о платьях сейчас речь. Имей все-таки в виду, что Сергей – это какая-то помесь Маргариты с этим, как его?

– Ну нет, дело проще – он всего больше похож на ее старую тетку Марту. Ах да, мне надо идти чертить.

– Никуда я тебя не пущу, вовсе тебе не надо. Значит, вы с ним читали в Петергофе?

– Ну да, там чувствуется Запад, я тогда пришел к нему, и мы стали читать как раз про эту Маргариту. Сплошной кожаный переплет – желтый такой, за границей ведь хорошо издают книги. А скажи, Файгиню, какая главная улица в Лондоне?

– Не помню, кажется, Пикадилли. Значит, Федор, это были хорошие весенние дни, да? Смотри, они уже больше не повторятся. Все в жизни проходит.

– А в Берлине, Файгиню, какая главная улица?

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

– У тебя тогда была желтуха, Федор?

– Ну да, а в Париже? А все-таки, как ты думаешь, Файгиню, он дурак или нет? Вот на деревне все говорит, что дурак.

– Отчасти, пожалуй, – отвечала Лямер.

– Я еще тогда сразу после первого знакомства справлялся у общих знакомых. Те прямо заявили, махнув рукой: «Сергей Сергеич? Так ведь он же с придурием».

Мать и сын баражтались, невольно скатываясь с пригорка. Наконец Лямер оттолкнула от себя Федора, проговорив:

– Ну и жарко же. Освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю.

– От любви? – осведомился вернувшийся Сергей.

– От жары, впрочем, это почти что то же самое.

Федор, не вставая, потянулся за яблоками, лежавшими кругом в изобилии под яблонями.

– Я тоже изнемогаю, Сережка.

– И тоже от того же?

– Нет, куда мне такая поэзия. Я – от мух. Удивительно, даже в саду их пропасть. Разве попробовать ветром прогнать их?

Федор, приподнявшись, стал трусить яблоню. Ветви заходили. Лямер и Сергей отпрянули в сторону. Федор приговаривал:

– Эй вы, Ньютоны, открывайте скорее какие-нибудь законы. Нет, это на мух не действует.

– В Петергофе, – сказал Сергей, – комаров отгоняют куреньем.

– Так давайте закурим, здесь ведь не вспыхнет. Ну а как там у нас?

– Все в порядке, – отвечал Сергей, – бочка на месте.

– А живого инвентаря нету?

– Нет, потому что мы с вами здесь, а не там.

– Да нет, я про псов.

Сергею следовало бы сказать, что свезли вику, в полях стало просторнее, в сенном сарае теснее. Свет по-прежнему тонкими полосками шел сквозь ивняковую плетенку, но внутри все уже не было таким желтым: к соломе и хлебу прибавился зеленый цвет вики. Мятая газетка, оброненная работником, лежала, вдавленная в землю каблуком.

– Ох, хорошо бы искупаться, да недаром поют на деревне: «Хорошо бывать у прэда, далеко ходить оттуда», – отмахивалась Лямер платочком. – Раз даже здесь под яблоней так, то что же сейчас в поле? Вчера, когда я пела в полдень под темным небом, у меня загорел нос, кожа сходит, на ночь смазала гольдкреем. Спать хочется, меня что-то разморило. Ну-ка, Сергей, читайте скорей ваши стихи!

Вскоре Лямер пробормотала, зевая:

– Ну, один уже готов. Пусть отсыпается за всю неделю. Наваливается как. Руки разбросал. Читайте, читайте, не останавливайтесь. Сегодня перед вами другая аудитория, чем вчера. Проверьте и на ней свое творчество.

Сергей, сидя над уснувшими, махал руками, отгоняя мух, думал:

«Если бы мои стихи печатались на мышьяковистой серой бумаге, то вокруг каждого стихотворения шла бы печатная надпись: «Осоавиахим. Борьба с вредителями». Мои стихи клались бы на тарелочку, сверху наливалась бы вода, посыпали бы немного сахара... сахарного песку... А от него – смерть мухам, все летят на него и умирают. Трупы валяются по всей комнате. Бабушка веником выметает их, куры клюют мышьяковистые трупы, а потом дохнут. Их продают по шести рублей нам на обед. Мы едим, и вот уже два трупа. Сейчас и я буду таким. Хорошее томление, только бы вытянуться поудобнее. Ноги липнут в клейкой бумаге. Некоторые мухи приподняли передние ножки, отчаянно машут ими и от этого еще сильнее увязают задними. На их маханье никто не обращает внимания».

– Гражданин, дайте еще стаканчик. Гражданин, я вам, кажется, говорю, а вы ноль внимания.

– Дражайшая моя половина на даче, весь день торгуешь, придешь домой – обедаешь кое-как, во щах никакого навару нет, понимаешь, да и постель не постелена.

– Что говорить, Осип Прокофьевич, недаром в церкви венчаны.

– Виноват, Осип Прокофьевич, не признал вас. Что прикажете?

– Сообрази-ка ты нам, братец, яишенку, да еще бутылочку...

Тузы, ехавшие из Москвы в Сочи и в Кисловодск, поглощали тульские пря-

ники, бутерброды с ветчиной и обжигались кофеем. Официанты стояли у них за спиной, мысленно отмечая, кто сколько съел. Один из официантов думал про себя:

«Хорошее было тогда в Государственной думе заседание. И Замысловский говорил, и буфет торговал. И вот все прошло. А ветчина осталась».

Раздался звон серебряных монеток, лязг на перроне, и все видение курьерского поезда исчезло в клубах пара. Тогда и Сергею подали стаканчик спитого чая. Он решил быть не хуже тузов и тоже спросил себе пряник. И раньше случалось Сергею проезжать через Тулу, но это всегда было ночью, часа в два, и Тула помнилась фонарями и сонным буфетчиком, нехотя продававшим зачерствелые пряники. А теперь, в закатные часы, пряник оказался свежим, начиненным розовым вареньем, и свежо розовели вокзальные возвздания. Буфет между тем заполнялся туляками, не боявшимися опоздать ни на какой поезд. Глядя по сторонам, Сергей думал:

«Все-таки какой я дурак!.. Проспать, проспать почти весь день. Где же мои наблюдения, где крестьянский быт? Позор!»

Сергей вскочил. Выпавшие давеча из его рук стихи разбросались по телам Федора и Лямер. Один из листков торчал из ласковой пасти тленка, подошедшего во время всеобщего сна. Солнце было явно на ущербе, удущье уже миновало.

Сергей, метнувшись, наступил на ногу Федору и машинально извинился перед спящим. Но у того приоткрылся глаз:

– Ничего, Сережка, ничего. Я люблю рано вставать.

Лямер тоже проснулась и сказала:

– Ваши стихи произвели на меня чудесное впечатление. А теперь давайте немного пройдемся перед обедом, надо разогнать этот сон. Идемте вот туда, я думаю, вы проведете меня к Елене.

– Провести вас? Я этого не собирался делать, но если вы хотите, то извольте, мы с Федором проведем вас.

Окланянутый матерью, Федор сперва опешил, потом набросился на нее с поцелуями, распевая свой «Материнский гимн»: Ой же ты моя пампушечка, Файгиню, душечка!..

– Хватит, Федор, – оборонялась Лямер, подражая Леокадиной интонации: – Ах, оставьте, сумасшедший мальчишка, противный, противный!

Сергей взял под руки и Лямер и Федора и повел их, по дороге занимая разговором:

– На Кавказе, например, в Сванетии, находят много старинных монет. Взглядните на этот мой золотой зуб, – Сергей приподнял верхнюю губу, – он покрыт коронкой времен Веспасиана. Вообще, в Тифлисе хорошие зубные врачи.

– Пожалуйста, Эсэс, не заговаривайте нам зубы, а ведите прямо к Елене.

– Я нисколько не уклоняюсь от прямого пути, но дайте мне кончить... Одна знакомая барышня купила за тридцать копеек в Тифлисе на базаре три римских серебряных монетки. Ее жених, которому она показала их, объяснил, что на эти монетки можно было бы дважды пообедать в Древнем Риме, между тем за тридцать копеек едва ли можно промыслить в Тифлисе самый плохонький чохобили.

— Очевидно, веспасиановские деньги теперь ничего не стоят, как и николаевские, — заметил Федор.

— Там же, в Сванетии, — продолжал Сергей, — в одной горской церкви открыли серебряную позолоченную икону, изображающую распятие. По обе стороны, как обычно, луна и солнце, но, знаете, какие они? Солнце — кованая головка, луна же — в высоком венце.

— Да бросьте вы, наконец, этот Кавказ, — возмутилась Лямер.

— Никак нельзя его бросить, потому что мы сейчас вступаем в него: этот яблочный сад велик — девятнадцать десятин — и делится на части: Погорелое — здесь когда-то был пожар, Псарка — по имени бывшей здесь некогда псаарни, и, наконец, Кавказ — родина ваших грузинских предков, граждане Стратилаты. Видите, какие здесь колдобыни, рытвины, ямы, здесь растут самые лучшие яблони.

— Прошай, бабы, прощай, девки, уезжаю я от вас на злосчастный на Кавказ! — загорланил Федор.

Лямер споткнулась о сучок. Сергей показывал путь обоим. Встретившийся садовник служил лишним доказательством, что действительно уже начались пределы Кавказа, так как это был черкес. Еще при помещике наняли его охранять усадьбу, надеясь, что незнание русского языка охранит его от влияния окрестных крестьян и сделает из него верного стражи. Теперь он уже состарился, сохранив тонкий нос и еще более тонкий стан. Он сидел под яблоней и плел корзинку, напевая что-то, где повторялись звуки «ч», «х», «р».

— Что ты поешь? — спросила его Лямер.

— Вот слова песни, — отвечал черкес: — «Зачем ты мне даешь, бог, плохо, мне хочется харашо!»

— Вот первые проблески антирелигиозности, — заметил Федор и уже готовился запеть похоронный марш, но Сергей увлекал вперед:

— Не стоит тратить время, нам предстоят вещи более интересные. Этот черкес — его зовут Сервиром — совсем обыкновенный.

Лямер, увлекаемая Сергеем, все-таки успела на бегу задать ему вопрос.

— Ну да, — отвечал Сергей, — в ту пору по Темзе еще плавали лебеди; молодые актеры, перед тем как идти играть Джюльет и Розалинд, купались под мостом и, нырнув, раскрывали под водой глаза, видели зеленую воду и смутный сквозь нее театр «Глобус». Потом, одеваясь на бережку, повторяли друг другу: «Thou art all my art».

— Уроки английского языка — это полезно, — воскликнула Лямер, ахнув при виде открывшейся прогалины.

Вид в самом деле был хороший: свежая лужайка, обступленная лучшими яблонями. В зеленой мураве румяные садовники лежали, отдыхая. Тут были: Вася Мускобойлов, Петя Петров и Гриша Ермолов, последний в фетровой шляпе. Через отверстие в шалаше были видны дородные колени Елены — видимо, ей было очень жарко, и она сидела в легком одеянии. Вскоре раздался ее небесный голос, заполнивший ясную эту поляну.

— Как чудесно поставлен голос, — шепнула Лямер, — какая кантилена, какие верхи.

— Да, это верхи, — подтвердил Сергей.

— Кому же из нас петь? — совещались смущенные Лямер, Федор и Сергей. — У Сергея совсем нет голоса, Федор вообще просто горланит.

— Придется вам петь, — обратились к Лямер.

— Так и быть, — согласилась та, — хотя выступать перед Еленой гораздо страшнее, чем в концерте. Ну, попытка не пытка, попробую костромскую.

Лямер села на пенек и начала.

— Повеселее! — повелительно раздалось из шалаша.

— Еще веселее! — вскоре последовал шалашный возглас.

Лямер уже давно вскочила с пенечка. Ее локти и плечи ходили в такт песни, лицо разгорелось, она подмигивала углами рта. Сергей только сейчас вполне понял, какая чудесная артистка таилась в ней. Оглянувшись по сторонам, он заметил, что все садовники, взявшись за руки, действительно образовали живое кольцо, золотое в этот час. Федор плясал в присядку посреди них. Ноги Елены, видимые в отверстие шалаша, мерно топтались в лад происходившему. Тогда Сергею ничего не оставалось делать, как бить в ладоши, за что он и принялся с усердием. Потрясенные яблоки падали с ветвей.

Наконец все умаялись. Тогда Елена позвала Лямер к себе в шалаш. Садовники тем временем подобрали опавшие яблоки и разложили их кучками по сортам.

Когда двинулись в обратный путь, Лямер взяла под руки Федора и Сергея и повела их. Предварительно все запаслись яблоками: коричным, грушевкой и аркадом. Аркад оказался всех сладче.

— Ну, что вам сказала Елена? — спросил Сергей Лямер.

— Многое, но сейчас у меня как-то разбегаются мысли. Помню, она сообщила мне, что искусно приправленный угорь так и назывался ее пищей. Потом она хвалила вот эти аркадские яблоки. Потом она сказала мне еще что-то, что мне неудобно повторить.

— Нет, Файгиню, скажи непременно, — настаивал Федор, — а то придется прибегнуть к методам воспитания.

— Ну хорошо. Она сказала мне, что я очень умная женщина и умная мать. Вот и все. Ну и в заключение Елена поцеловала меня в лоб, вот сюда.

Лямер показала на свой лоб, сверху полуприкрытый желтой повязкой, по бокам огражденный белокурыми прядями. Сергей и Федор почуяли аромат, исходивший от недавнего этого лобзания.

— Не правда ли, эта Елена красива? — спросил Федор.

— В шалаше было темно, и я не могла разглядеть, но, по-видимому, она действительно хороша.

— То-то же, — подтвердительно произнес Сергей, а затем прибавил, обращаясь к Федору: — Видите, Феденька, этот Кавказ, куда вы собрались уезжать, совсем не такой злосчастный, как Петергоф.

— Да, — сказала Лямер, — я никогда не любила дачных мест: полотняные занавески, площадки для тенниса, велосипеды... В такой обстановке я совсем не похожа на хозяйку дома или на мать. Федор тогда был совсем маленький. Один знакомый непрошенко приехал как-то в Подсолнечную, где мы жили на даче.

Нашего адреса у него не было, моей фамилии он тоже не знал, но он умел хорошо описывать мою наружность. Стал он ходить по дачам, расспрашивать, и ему сразу указали: «А, это та молодая дама с мальчиком, которая совсем не похожа на мать». Когда этот знакомый пришел к нам, мы в тот день ели привезенный им абрикосовский торт, немного, признаешься, размякший в дороге. Однако посмотрите: Жоржик Гусынкин опять принялся за яблоки. Смотри, Жоржик, как бы у тебя не началось все опять сначала.

— Я не пойду туда, — взмолился Федор, взглянув на балкон, — что за чертовщина: опять там кто-то. Это уже называется повторение пройденного.

— Ах, — воскликнул Сергей, — если б можно было вернуть обратно эти три дня. Как бы мы с вами разумно прожили бы их. Никаких кооперативов, никакой этой чепухи.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

— Я бы первым делом поехал в деревню, изучил бы крестьянский и рабочий быт, геологию района и прочее.

Сергей машинально сделал шаг по направлению к дому. Федор провожал его наставлениями:

— Да, Сережка, все проходит очень быстро. Еще семьдесят лет тому назад было крепостное право, а еще раньше — разные силурийские и девонские формации. А теперь Европа теряет свое первенство: быстрый темп. Кто может поручиться, что будет через пятьдесят лет?

— Ну так идемте вместе, Федор, — Сергей указал рукой на балкон, — давайте опять сначала. Ведь сельская жизнь однообразна.

— Нет, могий вместити да вместит, а я исчезаю.

Сергей один поплелся вперед к балкону.

Впрочем, рядом с бабушкой сидело только Исчадие. Стол был разграфлен рядом размещенных карт с черноватыми и красноватыми фигурами. Несгибающаяся рука Исчадия дрожала поверх карт и перекладывала их из одного ряда в другой. Тогда раздавался сухой стук костей, касающихся стола. Бабушка с интересом следила за движениями Исчадия и занимала ее разговором:

— Ты что же, Исчадие, вчера не пришла? У нас на обед была окрошка.

— Вашей мадамы испугалась.

— Я мадама не страшная, — сказала Лямер, здороваясь.

— А кто тебя знает, страшная ты или не страшная. Сегодня и точно не страшная, а вчера-то — неизвестно. Да я уже и запамятовала, что вчерашний день было. Как будто было лето, а может, и не лето. Все забыла: и как нашу усадьбу жгли, и как папенька умер, не помню — не то от шампанского, не то с голода. Лидочки Воронцову и ту позабыла. Ура, ура, ура, исполнение желания: четыре короля, — произнесло Исчадие равнодушнейшим голосом.

— Целых четыре? — воскликнул Сергей, — это уж чрезмерный монархизм.

Исчадие между тем украдкой очень ласково гладило червонную даму, лежавшую между двух валетов.

Бабушка суетилась:

— Дал бы бог, чтоб исполнилось. А как мы сегодня обедать будем, по-дворянскому или по-нашенскому? Ну-ка, прими карты.

— Я — дворянка, — отвечало Исчадие, — мы были записаны в бархатной книге.

Бабушка поняла и постелила скатерть, сшитую из двух полотенец.

— Ты уж извини, Исчадие, на обед-то у нас пшенная каша. Все из-за них слухи разные. Говорят, приехала к Федору московская якобы мать, богатеющая: на театре бесстыжие будто песни в голом виде распевает и, конечно, тышу рублей в месяц угребает. Ну а за курицу, понятно, сегодня уже семь рублей запросили.

Появилась миска со щами, и одновременно появились попадья и дамочка с папирской. Она, правда, еще не курила, но отодвинутый локоть и щегольски сложенные пальцы и губки делали ее и без папирски дамочкой с папирской. Сергей вытаскивал из комнат стулья. На балконе произошло щебетанье, движение и поцелуи. Слышались объяснения попадьи:

— Родит не раньше как через два часа.

— А у нас здесь утром тоже были роды, — сказала Лямер.

Попадья подозрительно оглядела всех — Лямер, Исчадие, бабушку, Сергея и продолжала:

— Я к вам совершенно случайно; думали, где бы пообедать, а начальник Федор Федорович говорил, что у вас обеды ничего себе. Вообще, конечно, я не езжу на роды за девять верст, но после вчерашней вечеринки решила поехать. А где же сам виновник моего торжества?

— Я здесь, — откликнулся Сергей.

— Да не о вас речь, молчите. Мало вам Леокадии, ужасный вы человек. А где же наш Федор? Я ведь знаю, обо всем слыхала: на Леокадию смотреть жалко, она вне себя, рвет и мечет, рвет разведочные журналы и мечет, мечет. Ах, Федор Федорович, малютка, он еще не умеет скрывать своих чувств!

Попадья обламывала кусочки хлеба и бросала их в тарелку со щами. Черные крошки тараканами плавали посреди капусты. Дамочка с папирской осторожно цедила жижку, мизинцем отодвигая гущу. Лямер не говорила ни слова, бабушка заглядывала в миску, вычисляя в уме, останется ли щей Федору.

— Но где же он? Где мой Федор Федорович?

— Он на работе, — сказала сухо Лямер, — и до позднего вечера не вернется.

Попадья оттопырила пальцы и начала что-то считать.

— Сегодня воскресенье, — торжествовала она, — никакой работы нету. Это только мы, медперсонал, не имеем ни отдыха ни срока: роженицы прямо не знают удержу. Да, сегодня воскресенье, это ясно: в будни начальник Федора Федоровича всегда по случаю заезжает к вам обедать после работ, а вот сегодня его нет.

Бабушка вздохнула, Лямер переглянулась с Сергеем.

— Что же, — сказал он, — да, сегодня никто не работает, но Федор энтузиаст, он пошел работать в поле один.

— В чем дело? — воскликнула попадья. — Вот она страсть: то Леокадию из-за меня оскорбил, то по полям один скитается, не ест, не пьет. Ромео! Ему бы теперь брома: ложку на стакан.

— Хотите еще каши? — уговаривал Сергей дамочку с папироской.

— Я никогда ничего не ем, — отвечала та, изогнув стан.

— Я тоже. То есть иногда, конечно, делаю исключение. Вот, например, меню моего петергофского ежедневного обеда, ведь вы знаете, я там живу во дворце.

— И мараксин! — оживилась попадья. — И вы уехали сюда из Петергофа? Да я бы наплевала на всех своих больных, лишь бы разочек так пообедать. Боже, щеки молок! Но кто это там идет по дорожке? Какой сумрачный! Федор Федорович, что с вами?

Попадья пыталась вскочить, но Сергей удерживал ее, схватив за объемистую талию:

— Тише, не окликайте, это не он, это его тень, понимаете, привидения вообще опасны.

— Ну тогда притаемся и посмотрим, что будет делать эта приятная тень.

Стало тихо. Исчадие, выронив ложку с пшенной кашей, спало, издавая тонкий посвист. Комочек каши, приставший к щеке Исчадия, густо облепился мухами.

Тень Федора между тем гуляла по дорожке, попадая то в тень, то на солнце и, очевидно, считая себя невидимой с балкона. Став лицом к стволу яблони, тень задержалась в таком положении несколько времени. Над ней густо свисали ветви, отягченные спелыми плодами.

Приметив эту позу, попадья промолвила:

— Ну, что бы вы мне ни говорили, я теперь вижу, что это не тень. Да привидения и вообще не существуют. Эй, Федор Федорович, сюда, я вас давно уже жду.

— Осторожнее, — шептал Сергей, — не стоит ждать его, ведь вы не знаете природу привидений. А ну как оно придет сюда? Здесь вообще тайны. Знаете ли вы, что мы попираем ногами? В этом подполье только что было шесть младенцев, облизанных Фингалом. Вы чувствуете, как это жутко?

— Плевать! Сами вы тень, — окрысилась попадья на Сергея. — Это у вас не конина? — вслух размышляла она, вылавливая из щей наваристый красноватый кусок.

Бабушка поджалла губы. Обрадовался один лишь Сергей: он все еще в Туле, сейчас он наговорит много ласковых слов приветливой своей соседке. Но ступеньки балкона заскрипели. Лямер и Сергей стали усаживать пришедшего и знакомить его с дамами. Попадья негодовала:

— Это не Федор Федорович, я же вижу: тот в белой рубахе, а этот в синей, тот потоньше, а этот потолще.

— Это от физической работы, я ворот верчу, — говорил пришедший, — попробуйте-ка, какие мускулы.

Попадья пощупала плечо парня.

— Как вас звать? Вы Федор Федорович?

— Да, я Федор Федорович, да зовите меня просто Федей.

— Невозможно: тот совсем на вас не похож, я не с вами фокстротировала вчера.

— Да, не со мной.

— Конечно, не с ним. Не видите, что ли, что это простой рабочий, — морщилась дамочка с папироской.

— Федора вчера на вечеринке не было, — стал объяснять Сергей. Лямер подтвердила это. Попадья уставилась в дамочку с папироской.

— Ну хорошо, пусть я безумно ослеплена, но этой ночью я прозрела, меня Леокадия всему научила. И представьте, какое счастье: сегодня днем мне говорят, что ее звезда уже закатилась, поле свободно. Я понимаю, Сергей Сергеевич, вы страдаете, у вас, может, в голове все помутилось, но вы все-таки скажите: вы-то там вчера тоже были, вы видели Федора?

— Да, издали, смутно, сквозь табачный дым, я ведь сидел на другом конце стола. Но я не в счет. Никакого Федора вообще нет. Это я его откопал и разложил на пласти: геология тульского района.

— Рассказывайте! Я его, правда, мало видела, но я, поймите это, осозала, когда мы танцевали фокстрот, да, осозала, — протянула попадья.

— Это было только марево, всему виной вчерашний мараскин. Вот и мне по-мерещилось, что там вчера была попадья, а ведь ее не было?

— Да, она с утра ушла из дома, но я ничего не понимаю. Попадья, конечно, могла померещиться, на то она и духовного звания, но чтобы я, медперсонал, привыкшая обращаться со спиртом, так сумела потерять голову от мараскина, так наплюйте мне в физиономию. Здесь какие-то подвохи. Что, он каждый день красит волосы, что ли, в разный цвет? Ведь вот же я знаю, что вчерашний был по-светлее этого. Э, да и размер головы не тот.

Попадья, пригнув голову парня, растопырила пальцы и быстро смерила окружность его головы.

— Пять пядей, у меня глаз наметанный, значит, так сорок шесть — сорок семь, а тому Федору надо фуражку минимум на пятьдесят два сантиметра.

З столом произошло разделение на два лагеря: попадья переглядывалась с дамочкой, и обе поспешно доедали печенные яблоки; Лямер по-матерински ухаживала за парнем, подкладывая ему в тарелку каши и делая при этом какие-то знаки. Парень быстро жевал, видимо веселился и старался занимать свою соседку разговором:

— Приедет мужик из Тулы домой, войдет в комнату, скажет: «Что же я в горнице, а лошадь на дворе?» — введет лошадь в комнату, жена шарахнется и замолчит, а он насыплет овса на стол и приговаривает: «Кушай, тетка, кушай вволю». А моя Марьянка кашу еще вкусней варит.

Дамочка с папироской ежилась и наконец перестала есть. Сергей вертел в руках плодоножку яблока, забывшись, и думал о том, как лошадь черными мягкими губами подхватывает зерна с деревянной доски, потом смотрел на бабушку. Даже она загорела за эти дни, и сморщенное ее лицо тряслось, как коричневое, переспевшее яблоко на ветке.

— Ходят слухи, что вы Федору мать, — тонко усмехнувшись, проговорила попадья, — если это так, слово предоставляемся вам.

Лямер едва заметно покраснела и, вместо того чтобы положить очередную ложку каши в тарелку парня, взяла его за голову нежными и слегка дрожащими

руками, остановилась так на мгновенье, потом решительно поцеловала его в лоб. Парень поперхнулся кашей и опустил глаза: в продолжение обеда уже вторая женщина прикасалась к его голове.

— И я когда-то в муках родила Федора, — прошептала Лямер и вдруг, все еще держа в руках голову парня, нахмурилась и воскликнула: — Елена Еленой, но я сама по себе. Да, я умная мать. Посмотрим.

С деревни между тем стали доноситься пронзительные вопли.

— Я страдала цельну ночки, эх, настрадала себе дочку, — загоготал парень.

Дамочка с папирской вскочила и заторопила попадью:

— Идемте, только б не опоздать, мне же надо знать, чем рискуешь.

Вопли становились все резче.

— Какая некультурность, какая несдержанность, как мы отстали от Запада, — продолжала дамочка.

— Еще бы, — вмешался Сергей, — вот во Франции, например, я читал, маркиза спрашивает у виконтессы: «Э во куш?» — «А, эн ку д'эвантай».

Но, говоря это, Сергей почувствовал, что у него под сердцем шевельнулось что-то, пока еще бесформенное, похожее на червя, зеленую лягушку или раздавленного котенка, волочившего параличные свои лапки.

Он знал, что ему придется потом перерезать пуповину, соединяющую его с необычным этим младенцем.

Дамочка с папирской с понимающим видом прощедила сквозь зубы:

— Пошлияк. Наехали столичные, и угостить-то как следует не умеют, рабочего со мной рядом посадили.

Обе гости исчезли, не попрощавшись. Сергей смотрел им вслед и думал:

«Младенец, вероятно, уже показался, головой вперед, прытко раздирая утробу матери. Хлещет кровь, вываливаются природовые отбросы. Наконец в неопрятной жиже лежит скорченное зоологическое тельце. Лязгают ножницы в руках одной из Парок, сталь перерезает пуповину, младенец начинает жить отдельно. Через двадцать лет это будет здоровенный парень. Он будет жать рожь в золотой полдень, а по вечерам мечтать; от этого опять появится новый младенец, опять рожь, полдень, солнце. Но наука прогрессирует: роды станут совершаться под гипнозом, роженица будет совершенно уверена, что она не рожает, а присутствует на заседании женактива и составляет проект резолюции. Трах, никакой боли, и младенец уже появился на свет — конечно, не божий, — это выражение отойдет в область преданий, — а на свет безбожий. Классов уже никаких не будет, поэтому младенец вырастет не пролетарием, не буржуем, а просто юношей, и в солнечный полдень станет жать рожь, отирая рукавом юный свой пот».

Исчадие проснулось от тишины и раскинуло немедленно карты на уже свободном от кушаний столе.

— Свадьба, свадьба, счастливая развязка, — сказало оно вяло.

— А на кого вы загадали?

— Да ни на кого. Может, на себя самое, тебе на что знать, молодчик? Уж кого надо, того и повенчаем. Мне вот сейчас снилось, будто отец Александр венчает

меня с червонной дамой. Ну, валеты все приуныли, потому я каждому из них могу нос утереть. А за мной стоял король, ведь я не кто-нибудь.

— А я против быта, — возразил Сергей, — к чему эти, знаете, поздравления, венчание, родственники, блины. Я бы поскромнее: невеста да два шафера. Или даже один шафер. Наконец, и невесту можно побоку.

— Ведь вот гадание — чепуха, — вмешался парень, — но что верно, то верно: завтра я женюсь на Марьянке. Мы уж говорились. Понятно, без всяких венчаний, просто в Загсе.

Все стали его поздравлять, даже Исчадие прошептало:

— Женись, коли уж так тебя покачнуло.

— Я тоже поздравляю, — сказал подошедший Федор, — я у тебя детей крестить буду. Помни, что крещение есть великое таинство, в котором крещаемый при троекратном погружении в воду теряет в своем весе столько, сколько весит вытесненная им жидкость.

Бабушка, отмахиваясь, ушла в комнаты. Исчадие стало подыматься с табуретки. Оба Федора и Сергей хотели ей помочь, но она с брезгливостью отстранила всех троих, плунула на пол и поплелась за бабушкой. На балконе стало шумно и весело.

— Ну что, Сережка, все опять сначала, повторение пройденного? Значит, я опять за анекдоты?

— Расскажите, расскажите, я страсть все светское люблю, — изображал кого-то Сергей, обмахиваясь мнимым веером.

— Однажды законоучитель подвыпил и говорит: «Барчуки-с, встаньте-с», — начал Федор.

— Погоди, Федор Федорович, я ведь к тебе по делу зашел, — сказал парень, — у нас на семь часов назначено собрание. А что воскресенье, так это нарочно: чтоб отвлечь ребят от пьяники да от гулянки. Ты обязательно должен быть. Повестка дня такая: о прогулах, о подписке на третий заем, о здешней кооперации, текущие дела, — в них и тебя, и меня обсудят, хорошо ли мы с ней обошлись. Ну да ее все равно надо было проучить. А кооператор уже сегодня с обеда, как пришла московская почта, куда-то пропал. Утром-то его видели: сидит в чайной «Пробуждение», смотрит на бумагу и пьет ситро: «Я, — говорит, — зарок дал, что алкоголя теперь ни капли, как пострадавший за правое дело». Ну, Федор Федорович, собирайся, а я пойду лошадей седлать.

Федор стал наскоро обедать.

— Все кончено, Федор, — сказал Сергей, — еще раз взойдет солнце, и я уеду. Впереди, правда, еще вечер и целая ночь, может быть, она нам еще что-нибудь принесет. Боюсь я, что вас на заседании засудят. Почему это кооператор куда-то пропал? Почему такая тишина в Леокадином доме? Почему и у кого рождается младенец? Мне нужно все это выяснить, ведь наутро я, увы, еду.

— Уедете и, конечно, забудете о нашем прескромном существовании, а там, глядишь, подвернется какой-нибудь романчик, и готово... А мне так будет здесь скучно без вас.

— Но вы сами, Федор, говорили: «На что тэбэ баран, тэбэ есть Иван, тэбэ не скюшно». А у меня и Ивана-то нет.

Сергей не заметил, что Лямер, вспыхнув, закусила губу.

– Я, напротив, уверена, что Эсэс долго будет помнить здешнее, если не нас, то хотя бы мух, в таком количестве – это редкость.

– Вы забыли, Лямер, о Леокадии. Ах, Иннокентьевна, так жестоко сразить бедное человеческое сердце!

– Так увековечьте ее в своих бессмертных стихах.

– Трудно: никак не подобрать к ней рифмы. Разве вот что: «Леокадии радио». Или составные: «В засаде я, о зоосаде я». Нет, это непоэтично, а можно ли презренной прозой говорить о Леокадии!

– Право, Сереженька, напишите роман из здешней жизни, а мы с Файгиню вам поможем.

– Ну помогайте, Феденька. Прежде всего, увы, я не успел познакомиться с деревенским бытом. Если бы я здесь провел недель пять или, по крайней мере, не проспал бы сегодня весь день...

– А вы сочините, на то вы и сочинитель.

– Потом, Федор, никак не придумать никакого сюжета.

– Да, это действительно. Погодите, давайте припомнить литературу. Гнев Ахиллеса – сюжет Илиады, затем любовь Татьяны... У нас здесь, пожалуй, не было гнева, значит, остается...

– Помолчи, Федя, – заметила Лямер.

– Отчего же? Взаимная любовь обоих Сергей Сергеичей и Леокадии – отличный сюжет. Вы оба приезжаете сюда, она стоит у калитки в белом платье, вы оба хотите на ней жениться, но она уже замужем и поэтому вместе с мужем уходит в монастырь.

– По-моему, как-то неудобно затрагивать живых людей, – возмутилась Лямер, – они могут себя узнать.

– Ну, Сережа может изменить сюжет. Пусть не он, а Леокадия приезжает сюда, а он с Сергей Сергеичем стоит у калитки в белом платье, но она уже замужем, поэтому оба Сережи сразу же уходят в монастыри.

– Феденька, что за монастырский уклон у вас сегодня?

– Не стесняйте, пожалуйста, индивидуальность ребенка. Через десять — двадцать лет религия совершенно исчезнет, ну и пропаганда не понадобится. А в романах всегда эпилог: десять лет спустя — кто на ком женился, у кого какие выросли дети.

– Вы, Федор, конечно, женитесь на попадье и с самого утра будете плясать с ней фокстроты.

– Ничего подобного, Сережка, никаких попадий — фу, черт, даже не выговарить — тогда уже не будет. Зато через двадцать лет у меня отрастет брюшко. Я буду пресолидный инженер, приеду к вам в Петергоф и сниму самую лучшую комнату; бабушке будет уже сто лет, я ее стану показывать в цирке за деньги, пес ее дери; а наша мамочка будет дамой еще в полном соку, и мы ее выдадим замуж за...

– Постой, Федя, – вмешалась Лямер, – давайте говорить серьезно. Какая-нибудь роскошная женщина всегда должна быть в центре. Конечно, о Елене не может быть и речи. Ну, пусть это будет Леокадия, я согласна. Наделите ее всеми

совершенствами: молода, красива, обаятельна, прекрасная общественница, строительница нового быта. Опишите ее наружность, вообще, держитесь сборников «Знания» за 1903 год. А у героя пусть будут недостатки: под влиянием Леокадии он от них избавится.

– Хорошо, попробую сделать так. А второстепенные персонажи?

– Они-то всегда под рукой, берите любых с натуры: пусть кооператор сблазняет Леокадию сахаром, но та непреклонна. Или пусть она возьмет у него сахар, но потом раздаст его поровну между всеми сельчанами. Пусть Домаша будет идеальной сельской учительницей и снабдит всех ребятишек носовыми платками.

– А Федор – идеальным инженером?

– Хотя бы и так. Введите несколько отрицательных типов: местный поп, местный кулак. Не забудьте и о том, что дело происходит поблизости от Ясной Поляны. Пусть все у вас читают сочинения Толстого, но отрицательные типы пусть читают его религиозную ерунду, а положительные – его художественные произведения, приложение к «Огоньку».

– А можно вывести вас с Федором?

Федор вскочил и стал плясать по шатким доскам балкона:

– Ай да Сережка, пес его дерни, он, оказывается, и нас хочет «использовывать»!

– Я теперь вижу, Федя, у него тоже легкий демонизм: он «высосал с нас, как с лимончика» и уезжает, – засмеялась Лямер.

– Не беспокойтесь, – успокаивал их Сергей, – я возьму только некоторые черточки и в самом сильном изменении изображу только то, чего не было, уверяю вас. Ну, например, Федора я сделаю идеальным оперным певцом, гастролирующим в Ясной Поляне, наделю его чудным тенором, словом, «ангел вопияше», а вас сделаю...

– Уж не Леокадией ли, раз она у нас положительный тип? – воскликнула Лямер.

– Нет, нет, что вы! Я вас сделаю... кем бы? Ну хотите, Еленой Прекрасной?

– Мерси, не стоит.

Федор бросился на Сергея и схватил его за вихор:

– Только, чур, вы нам первым прочитаете повесть, чтобы мы могли «внести существенные изменения». Обещаете?

– Ладно.

Тогда Федор погладил Сергея по волосам и сказал:

– А еще лучше, если вы хотите быть очаровательным, как всегда, сделайтесь, Сереженька, из всего этого исторический роман. Оставьте руду, но пусть ее добывают во времена Ивана Грозного – ведь добывали же ее тогда здесь. Будет хорошо, и никому не обидно. Хотите яблоко?

– Лошади готовы, – сказал вернувшийся парень.

– Как, только две? – возмутился Сергей, – а я-то как же?

– Да вы верхом и ездить не умеете.

– Нет, Федор, я обязательно должен быть на заседании, иначе я ничего не узнаю. И потом, Федор, чтобы не забыть, что станется с Еленой, когда я уеду?

— Нет, Сергей, я не могу вас взять с собой, а то вы опять какого-нибудь Фенимора Купера подпустите. Вы годитесь только дома. Серьезно, Сережка, сами понимаете: это у нас рабочее собрание, а вы у нас не состоите на службе. С Еленой, конечно, что-нибудь станет, этого нельзя знать наперед. Я постараюсь вернуться как можно скорее. Кони у нас хорошие. Слышите, как они фыркают и кусают удила?

— Но только смотрите, Федор, чтобы у вас там не было какого-нибудь Куликова поля, это ведь тоже ваша специальность.

— Не бойтесь, не будет. Ну, до свиданья.

Кони изогнули крутые свои шеи, оба Федора стиснули ногами упругие их бока и умчались. Сергей смотрел вслед, стараясь представить, как они будут ехать.

Открытые ворота сеновала стояли неприятно, внутри было темно и сладко от вики. Сергей слонялся по саду. Наконец он сел на ступеньках балкона и хворостинкой стал водить по смутной земле, очерчивая будущую повесть. Внезапно он увидел ее всю, светлую, как золотая полоса, по которой он вчера на мгновенье шел с Федором, такую, какой ей никогда не быть на самом деле, как и эти три дня, прожитые в Мирандине, все-таки не были тем, чем могли бы быть. И все же Сергею стало весело: он прикидывал, что можно выкроить из всего этого. Материя была, как говорят портные, узкой. Если это пустить на рукава, то из чего выкроить спинку? Да потом еще брюки. Э, была не была. Сергей стал кроить наугад, пришиплив выкройку кнопками.

Сперва описывалось детство и юность Федора — в петербургских углах, в закоулках около Сенной. Здесь можно щедро обобрать — кого бы? Нет, не обобрать, а оттолкнуться от него, чтобы вышло совсем непохоже. Сергей знал, что приятно читать в трамвае заграничные исторические романы: у Кириллова, когда он говорит о бое, приятно видеть широкие серые, во вкусе семидесятых годов, панталоны; представлять Ивана Карамазова в пиджачке, реверы которого окантованы тесьмой; роскошную инфернальницу — в пышной юбке, с фру-фру из ваты, подложенной где надо. Параличные маменьки и разумные детки из заграничных детских книг, русские люди — Смиты, Ламберты, Нелли, Миллеры, Герценштубе, старомодная иностранная Русь, выкроенная в Лондоне и Париже. Федор растет, наступает революция. Здесь Сергей решил дать потрясающие картины — фанфары и пафос. У Федора открывается чудесный голос. Его, как выходца из низов, определяют на казенный счет в консерваторию. Консерватория описывалась бы с величайшими подробностями, не был бы забыт даже тот уличный домик, что находится подле нее.

«Надо познакомиться с консерватористами и расспросить их обо всем, — думал Сергей, — потом надо будет узнать, как вообще учатся петь, что такое все эти диафрагмы, маски, филирование звука и прочее».

Но так как у Федора голос совершенно исключительный, то его отправляют в Италию для усовершенствования. О, тут открываются замечательные вещи. Итальянское солнце, чудеса искусства, можно будет ввести и Древний Рим — и все это после петербургских-то углов.

В римском Колизее у Федора разыгрывается роман с Аннунциатой. Она — сплошь пламень, сплошь исступление. Леокадия и будет этой Аннунциатой.

Народный артист изменяет революции и остается за границей, ходит по гостям с банкой зернистой икры в кармане, которую он поедает чайной ложкой, не годя о конфискованных своих домах, но Федор Стратилат верно служит народному делу.

Случайно ему приходится выступать в Ясной Поляне. С Федором рядом стоит жгучая красавица, вывезенная им из Тулузы. Это Леокадия. Все любуются на чудесную пару. Но местное кулачье, возглавляемое попом, не дремлет. Когда Федор спит, оно подкрадывается и вырезает ему голосовые связки.

Казалось бы, все кончено. Но нет, Федор, немой, научается танцевать. Он исполняет патетическую симфонию. Нет, не годится. Здесь надо что-нибудь другое (посмотреть в музыкальном словаре, какие еще бывают симфонии). Кулачье дубинами перешивает ему ноги. Тогда Леокадия закалывается на его могиле, а кулачье идет под суд.

Только вот синьора Стратилато, с ней что делать? По счастью, еще целая ночь впереди. Не забыть бы во времяочных разговоров на сеновале посоветоваться с Федором насчет синьоры.

Сергей прикидывал в уме: если эта линия пойдет сюда, то эта туда. Так. Здесь вот они пересекутся. Нет, не выходит. Этую линию лучше направить вкось и дать второй план. Здесь сдвинуть вот так. Пожалуй, лучше будет Федора обратить в женщину. Он-то и будет синьорой Стратилато. А Леокадию сделать мужчиной, итальянцем, по фамилии Леокадо.

Синьора Стратилато пусть поет не в Ясной Поляне, а в Италии, в Трапезунде (справиться в учебнике географии, какие еще города в Италии). Тогда кулачье удобно войдет туда – это будут фашисты. Местный поп – папа римский. Леокадо сперва был социал-фашистом в Тулузе, но под влиянием синьоры переменился к лучшему, приезжает в Тулу и бесплатно работает в музыкальном техникуме, обучая туляков бельканто. Фу, черт, но ведь синьора Стратилато у меня тоже итальянка, как же мотивировать приезд в Тулу? Разве вот по этой линии: их преследует рок. Нет, рок – это не пойдет. Ну, тогда их преследует полиция, а они...

– Что, Эсэс, скучаете? Ведь это ваша последняя ночь в Мирандине.

– Ничуть. Я занят делом. А вы, Лямер?

– Я тоже ничуть. Пойдемте его встречать.

На балконе зажгли свечу. Глупая мошкова, забыв о вчерашнем, опять стала летать на свет. Лицо Лямер явно улыбалось.

Луна светила как-то сбоку, не решаясь взобраться на верхушку свода. Одна половина Лямер озарила лиловым светом, другая сливалась с черной пашней. Сергей глядел на длинные тени переступающих своих ног. Получалась темная сетка из продольных колей дороги и поперечных этих теней. Чертеж разграфляли сами идущие: смутные поля при приближении Лямер и Сергея покрывались мимолетными клетками.

– Человек – всегда математик, – вздохнула Лямер, – что-то мне даже и петь не хочется.

Шли почему-то довольно быстро, словно не гуляя, а по делу. Прислушивались, не раздастся ли топот и фырканье Федоровой лошади. Луна молча зашла,

чертеж сменился темнотой. Лямер внезапно метнулась в сторону с дороги: вероятно, всадник померещился ей.

— Ложитесь, Сергей, — сказала она.

— Разве уже стреляют?

— Вы здесь не на фронте. Приложите ухо к земле, не едет ли он? Ну что?

— Да ничего. Пыль набралась в ухо и как будто бы кузнец туда попал. Вообще, нелепая ночь, — говорил Сергей, все еще валяясь на земле, — сейчас, наверное, все уже дрыхнут в Мирандине: новорожденный младенец, попадья, девицы, Обожаемое, а земля вращается. Когда она еще немного повернется, все встанут и займутся обычными делами. Хоть бы она помедленнее ворочалась, ведь это последняя моя ночь в Мирандине, а мы с вами бродим как неприкаянные и вовсе не как ангелы. Ненавижу я все эти рассветы и утра.

— Ну тогда: «Довольно, встаньте, я должна вам объяснить все откровенно». Знаете, у нас как-то гастролировала очень темпераментная певица. Слова Татьяны «Сегодня очередь моя» она пела с инфернальной усмешкой, потирая руки. Всем становилось от души жаль Евгения: того и гляди она его укокошит.

— Не говорите так, Лямер. Все возможно, почему его до сих пор нет?

Лямер и Сергей стояли окруженные темнотой. Они поводили ноздрями, втягивая ночной воздух, в котором можно было различить запах соломы на сжатых полях, навоза на дороге и мрака, павшего с неба.

Решили повернуть обратно в Мирандино. Лямер уже давно повисла на руке Сергея, какие-то лошонки заставляли идущих то подыматься, то опускаться, когда вдруг послышался окрик:

— Эй, на базар, что ли?

Встречный остановился и осведомился, не попутчики ли они в Тулу, но, приметив, что Лямер была под руку с Сергеем, только свистнул.

— Так ли мы идем в Мирандино?

— Так, все прямо, потом направо. Стало быть, мирандинские? Как же, наслышался. Нынче в обед там визг, крик. Девки все наседают: «Мы, — говорят, — к тебе чай пришли пить. Ты наш сахар весь спила, всех кавалеров сманила». А она кричит: «Я знаю, чьи это проделки. Он гадина, он стратилат». Так и вцепились друг в дружку. Насилу парни да из стариков, кто поскромнее, их расцепили. А жаль ее. За что вы так ее отделали? Сами-то вы, может, и еще почище будете. Думаете, подальше от деревни, так не узнают? Столичная техника. Без рессор на шесть верст кругом!

Сергей вздрогнул и заметил что-то круглое за спиной встречного. Бросив руку Лямер, он вплотную подошел к парню. Пахнуло туалетным мылом и резиной.

— Так, значит, в Тулу, на базар? Шинами торгуешь, да? — прошептал Сергей ему на ухо. — Продай мне коробок спичек, а то я забыл дома. Понимаешь зачем? Утром в долине был он в кожаной тужурке и три пули в груди. Понял, курить мне хочется до смерти.

Сторговались за гриненник, так как, по словам парня, ему, как некурящему, спички были особенно дороги.

«Не курит, не пьет, идет в Тулу, – соображал Сергей, – дело ясное».

– Скажи, – зашептал снова Сергей, – в которой он дудке лежит? Скажи, ведь уже все кончено, так тебе все равно.

– Давай рубль, тогда скажу, – отвечал парень.

– Да нет у меня рубля. Последний вот был гривенник.

– А ты у ей попроси.

– Нет, нет, она не должна об этом знать. Понимаешь, ведь она мать.

– Го-го, нагуляли уж, стало быть. Ну прощай, а то не поспею.

– Прощай, только скажи, в которой он дудке, ведь я знаю: вы – Мотенька...

ГЛАВА СОРОКОВАЯ

– Что? Чего захотел? А в морду не хочешь?

Пахнуло резиной еще сильнее. Галоша в руках парня прошла совсем близко от носа Сергея. Потом Сергей почувствовал пинок босой ногой, и все скрылось.

Лямер безучастно дала себя повести дальше. От усталости она совершенно валилась на Сергея. Наконец сумрак стал редеть, ненавистный рассвет приближался, и на столбе, в который уперлись идущие, обозначилась надпись: «105-я дудка».

Сергей приподнял щиток, лег у края черной дыры и стал бросать туда зажженные спички. Лямер повалилась на кучку песку.

«Такое равнодушие, и это родная мать!» – думал Сергей.

Спички позволили на мгновение увидеть глинистую внутреннюю стенку дудки, с рубчиками, оставшимися от бурения. Но пониже был, очевидно, сквозняк, и спички неудержимо тухли. Бросаемые комья земли издавали легкое хлюпание, разбиваясь о твердое дно дудки.

– Не здесь, значит. А всего дудок – сто пять. Их все надо будет осмотреть. Ночи не хватит, а тут мне ехать пора. Проклятая служба. Ничего, не теряйте надежды, – утешал Сергей задремавшую молчаливую Лямер.

Наконец показалась дорога, обсаженная елками, налево церковь, направо флигелек, яблочный сад и рассвет, подымающийся над сеновалом. Лямер прошла в дом. На прощенье она крепко пожала руку Сергею:

– Прощайте, счастливого пути. Я бы проводила вас, но положительно влюсь с ног. Не сердитесь на меня за эту прогулку. Вы, конечно, думаете, что это я нарочно.

Сергей схватился за голову и огляделся. Заря явно уже занималась. Лямер стояла вся розовая, изнеможенная, но улыбающаяся.

– Прощайте, – пробормотал Сергей, – счастливо оставаться вам здесь с трупом вашего грандиозного сына. Впрочем, он от вас куда-то сбежал. Жалею только об одном, что нас с вами не встретило вместо резинового парня Обожаемое Федорово начальство: оно порадовалось бы такому ловкому обыгрыванию... предметов.

Лямер потрепала Сергея по щеке:

– Ну, ну, предмет мой, довольно злиться. Все к лучшему в этом лучшем из

миров. Я тоже жалею об этом: кто знает, может быть, Обожаемое и предложило бы мне поступить к ним на службу десятником, — я бы тогда ведала всеми дудками.

Сергей в полном отчаянии вбежал в темный сарай и с размаху бросился на ложе.

Спящий застонал и открыл глаза:

— Ай, ногу придавили. Куда это вы делись, Сережка? Куда вы завлекли мою Файгиню? Я уж думал, что вы с ней тайно обвенчались, бежали и вообще на краю гибели. Ну что ж, погибли так погибли. Плачем делу не поможешь. А только никто не уложил ребенка спать, сеновал здесь вспоминал о вас.

— Вставайте, Федор, довольно дрыхнуть, — сутился Сергей по сеновалу, — вероятно, Елена уже проснулась в своем шалаше. Радуйтесь тому, что вы живы, красный инженер, радуйтесь, что вы молоды и будете молоды и через несколько лет. Смотрите: заря, утренняя свежесть, тополя расчертят светлое небо.

— Надоели вы мне с вашими чертежами. Что вы меня мучите, как обезьяну? Я еще хочу спать.

Пока беседующие совали друг другу в рот сено и катались среди вороха из простынь, одеял и скинутого Федорова платья, близстоящая бочка, на которой был устроен туалетный стол, не выдержала потрясений, и ее днище провалилось. Запонки Сергея и лезвия бритвы «Жиллет» безвозвратно пропали в сене.

— Ну, так и есть, — воскликнула бабушка, пришедшая будить Федора, — трех дней не могли прожить, чтобы не подраться. Да вам-то стыдно, вы старший, — призналась она стыдить Сергея, а заметив задравшуюся рубаху Федора, поступила с ним очень просто, как поступают с пятилетними внуками.

Тот, отбрыкиваясь от нее, повалил Сергея навзничь и вскочил голыми коленками ему на грудь.

— Признаете себя побежденным?

— А вы радуетесь?

— Радоваться-то я радуюсь, — отвечал Федор, одеваясь, — но только не тому, что вы сейчас уезжаете. Зачем вы меня разбудили? Лучше бы я не просыпался. Пусть бы я встал, а вас уже нет, Сережка, словно вас никогда и не бывало, а вы мне приснились на сеновале. Ох, приходится вставать и лить влагу очей.

Федор, сложив щепотками пальцы, отряхивал с глаз мнимые слезы.

Сергей уже влез в телегу и прикрывался синим байковым одеялом, как это он делал и три дня тому назад, когда ехал сюда, к Федору. Стоял тогда такой же утренний холодок, только приезд обошелся дороже, чем отъезд: возчик заломил с Сергея пятнадцать рублей, уверяя, что до Мирандина не меньше сорока верст и что туда ни по какой дороге не проедешь. Сергей не знал, как быть: в своих обстоятельных письмах Федор забыл ему сообщить, сколько верст от Тулы до Мирандина. В Тулу Сергей приехал под вечер, ночевать ему там было негде.

Трясомый телегой, Сергей чувствовал тогда, что у него затекают ноги от не-привычной китайской позы, которую пришлось принять. Мелькнули домишкы с резьбой вокруг окон. «Семнадцатый век», — отметил про себя Сергей.

Наконец пригород кончился, открылись вечерние пространства: телеграфные столбы, черноземная проселочная дорога, вольный нескончаемый воздух.

«Да, это несомненно Россия, – и Сергей ощущал себя иностранцем из Парижа, Лондона и Петергофа. – Так вот он, Крапивенский уезд, страна Льва Толстого. Что же, это очень объясняет всю его философию».

Подле речки встретили отряд физкультурных комсомольцев, певших: «И по полям земного шара народ измученный встает».

Они только что искупались, и от их наготы несло речною прохладой.

Затем начались тишина и сумрак. Ночная роса пала на Сергея, он закрылся синим байковым одеялом. Возчик смотрел на звезды и ничего не пел. Иногда он кнутом тыкал вверх, в небо, очевидно, он целился в Малую Медведицу.

На рассвете, когда было так же свежо, как и сейчас, Сергей вынырнул из-под своего одеяла. Крестьяне вереницей ехали на полевые работы. Заметив нос Сергея, выглянувший из-под синей байки, они поздоровались, снявши шапки. Сергей никак не ожидал такого жеста и, смущенный патриархальностью, вынырнул обратно в свое логово, но порою с любопытством отворачивал уголок одеяла, чтобы взглянуть на являвшуюся ему Третьяковскую галерею, отдел передвижников. Наконец возчик остановился.

– Вот и Мирандин. Вам к кому надобно? Спросить разве девок?

– Будьте добры сказать, где тут живет гражданин Стратилат!

Грустный Сергей выпростал из-под одеяла руку, чтобы в последний раз пожать пальцы Федора.

– Все-таки помните, Федор, что, если вам почему-либо придется туда, я продам кое-что из вещей, например пиджак. И потом, вот вам еще совет: остерегайтесь кулачья.

– Не беспокойтесь, – отвечал Федор, укладывая на телегу Сергеев чемодан. – Скоро я буду получать триста рублей и женюсь на Леокадии. Если вы действительно с отчаяния продадите пиджак, я вам куплю новый в Тулодежде. С кулачьям мы справимся, а потом, Сережка,бросьте вашу ерунду, участуйте в строительстве хоть чуточку. Сделайте это, ну, ради меня. Ну, прощайте, Сережка, не забудьте же...

– Да, Федя, никогда не забуду...

– Не забудьте прислать мне бумаги от мух.

Федор вплотную подошел к телеге, поцеловал Сергея и натянул ему одеяло на голову. Под одеялом оказалось душновато, пахло сennой подстилкой. Снаружи не доносилось ни звука. Сергей широко раскрыл глаза в пододеяльной темноте, но ничего не мог разглядеть: никакого Мирандина уже не существовало.

Сергей поворотил руками сено, сделал себе удобную нору и чихнул – травинка попала ему в нос. Очевидно, наступил вечер, темный теплый вечер на сеновале, где нельзя курить. Табак не заглушал нестерпимого запаха сена, которое вдруг начало колыхаться, трястись, стучать, лезть в лицо Сергею.

Что-то придинулось и надавило ему правый глаз: это возница переменил место. Сквозь закрытые веки Сергей видел сперва оранжевые полосы, потом белое, струящееся полнолуние.

«Безобразие, – подумал Сергей, – нельзя же так-таки сразу заваливаться спать; надо попытаться бросить последний взгляд на Мирандино».

Сергей отвернул краешек одеяла. Ехали уже среди незнакомых полей. Нигде никакого признака фруктового сада и Федорова флигелька. Кругом струился розоватый утренний холод, последние звезды поспешно убирались с неба. Возница, задремав, поник над вожжами.

А, мирандинская колокольня еще видна! Конечно, Федор сейчас там, на ней. Он взобрался по истлевшей лестнице. Все ступеньки покрыты голубым голубиным пометом. Федор наклоняется, чтоб не расшибить себе голову, и думает, что давно пора упразднить все церкви. Над ним большущий колокол. К его язычку привязана веревка. Чеканные изображения святых: чугунные, крепкие щеки Георгия Победоносца, медный лоб Михаила Архистратига. Подпись кругом славянской вязью: «Меди столько-то, а серебра столько-то, принес в дар купец Вахрамеев».

А повыше висит детская стая меньших колоколов, не таких басистых.

Федор чихает от утренней стужи, прикладывает руку щитком к глазам, видит обгорелую деревню и различает на далекой дороге ползущую телегу, прикрытую синим одеялом, под которым только что чуть не заснул удаляющийся.

Сергей стал махать носовым платком, но колокольня стремительно уходила в землю, очевидно, ее опускают «с ветерком» в дудку, а она думает о чем-нибудь постороннем и незначительном: о цене на кур, о заседании, о Сергеев, и всеми своими колоколами трезвонит: «Растительная земля, нанос, подошва красного песку, песчаник, кварцит, руда, руда, руда!» Наконец колокольня угомонилась, исчезнув вовсе.

«Доказательство шарообразности земли», — подумал Сергей и оглянулся.

Кругом в самом деле была зеленая даль под просторным небом. На пустых полях паслись медлительные стада. Телега тряслась ровно. Сергею не угрожало, что его сбросят на всем скаку, никто не хлестал его кнутом, никто не горланил в свежем воздухе.

Он закрылся байковым одеялом. Действительно, под ним было полнолунье, круглое, как лицо Сергея.

Луна всходила над уже сжатыми полями, сперва бледная, как белый налив, но, взобравшись на небесный скат, наливалась золотым соком и висела долгиеочные часы, как рдяное переспевшее яблоко, готовое сорваться на голову гуляющих. Тогда мягко шлепнулась бы она оземь, треснув сбоку и обдав всех душистым своим соком.

Федор уставал от работы и засыпал в девять часов вечера, Лямер тоже ложилась рано — по гигиеническим соображениям. На деревенской улице была бы гулянка, оттуда слышалась бы гармоника и гулкие шутки буровых мастеров. Сергей стал бы бродить поодаль один. Он старался бы запомнить этот веселый ночной свет, спускающийся сверху, этот воздух, такой ощутительный, что на него хотелось прилечь, эту почву, теплую под босой ногой.

— Хорошо ехать с веселым седоком, — сказал возница, сдергивая с Сергея одеяло, — мне сперва и невдомек, кто это песни играет под одеялом, не хуже самовара.

Сергей спрыгнул с телеги, разминая застывшие ноги. Прямо перед ним были известные по картинкам белые, только что отремонтированные тумбы, означавшие въезд в Ясную Поляну. Через дорогу от них, налево, так же юно белела дву-

хэтажная яснополянская школа. Ребятишки на невзнузданных и неоседланных лошадях неслись по деревенской улице все прямо, а потом направо.

Повернувшись к усадебным воротам, Сергей узнал многое: здесь остановка автобусов, на скотном дворе можно получить молоко, а дом-музей Льва Толстого в этот день бывает закрыт.

Пожилая дама, хотя и одетая только в утреннюю распашонку, но все же самого аристократического вида, приближалась к Сергею.

«Нет сомнения, это, конечно, Бибикова», – мелькнуло у Сергея. Он церемонно поклонился Бибиковой, заметив тройное кольцо складок на ее оплывшей шее.

Бибикова с величайшей, породистой и сдержанной простотой произнесла:

– К могилке не хотите ли, молодой человек?

– Как не想要! Но как ее найти?

– Идите все прямо, а потом налево – там на дереве есть вывеска.

Среди желтого лиственного леса Сергей в самом деле заметил вывеску: «К - могиле».

Сергей вприпрыжку двигался по этому пути, пока наконец не уткнулся в низенькую загородку, ограждавшую могилу и скамейку перед ней.

Здесь Сергей почувствовал всю ответственность этой минуты: как-никак он находился у гробницы Льва Толстого.

«Если я не дурак, не аспид и не ирод, я должен ощущать сейчас нечто совсем особенное. Грусть, положим, я уже ощущаю. Но где же возвышенные чувства? Они, конечно, во мне есть, надо только прислушаться».

Сергей сел на лавочку и приложил руку к сердцу.

«Ну что же? Да ощущай же ты, несносный болван», – и Сергей в наказание ущипнул себя.

«Ну да, я ощущаю – прежде всего эти преющие осенние листья, устилающие землю, потом мягкую почву под моим каблуком, твердое сиденье этой лавочки, потом то, что я сегодня еще не умылся. Хорошо бы сейчас почистить зубы, а потом выпить кофе. Нет, Лев Толстой прав: самое горькое разочарование – это разочарование в самом себе. Федор, Федор... тыфу, то есть Лёв Николаевич, ну вдохновите же меня. Ну что вам стоит, Лёв Николаевич».

Но все было тихо. Никто не откликался на отчаянные раздумья Сергея. На скамейке оказались вырезаны инициалы: «А. А. Г. М. С.».

«Так, значит, я не одинок здесь, и до меня бывали люди, то есть экскурсанты. Сама судьба послала меня сюда, чтобы передать потомству».

Сергей вскочил и с блокнотом и карандашом в руках благоговейно стал осматривать ограду и деревья, склоняющиеся над могилой. Теплое чувство общения с человечеством охватило его.

После этого обхода в блокноте Сергея оказалось:

«Болхин, Боря Епифанов, 1925, А. Резунов, Варя, Безсонов, Сазыкин, Силябб, Сорокина, П. и Н. Томазовы, 1928 г. Но будем петь. Не хныкай! Гусли мне радостны, и эпоху будем мы строить. Евстопалов, Бедов, Дуся, Коля, Батузов, Лукавшин, Кооперативная школа 58 чел. 6/VI 1929, Люся, Люда Головановы, Екатерина, Павлик, Женя, Шура, Муся, Володя...»

Смутное, старорежимное, – должно быть, из-за пристрастия некоторых расписавшихся к старой орфографии, – воспоминание посетило Сергея в это мгновение. Гимназическая церковь. Все гурьбой теснятся перед иконостасом. Видны только затылки гимназистов, все аккуратно подстриженные. Ближайший к чаше и золотому дьякону называет свое имя, и внезапно узнаешь, что этот вот черненький затылок – Владимир, а тот русый – Николай.

Ни одной гадостной заборной надписи не нашлось, а между строчек висящей у ограды вывески с призывом: «Граждане, не вырезайте надписей, не губите деревьев, которые так любил Лёв Николаич», можно было прочесть начертанное карандашом и полуустертое стихотворение: «Ты умер, учитель наш милый, над твоему тоскливой могилой вспомнили мы тебя любя... преклонивши».

А на обороте вывески стояло: «Был прохожий Уркаган, Ярославцев и друг Смелай».

Сергей почувствовал, что из кустов наблюдают за ним чьи-то глаза. Поэтому он снова сел на лавочку с меланхолическим блокнотом в руках. Он обводил карандашом только что списанное стихотворение, и ему казалось, что это он сам сочинил его.

Сзади приближались неверные шаги.

Поза Сергея становилась все грустнее, проникновеннее.

Наконец кто-то потряс его за плечи.

Оба в один голос произнесли:

– Сергей Сергеич, ты ли это?

Потом кооператор прибавил:

– Тоже, брат, уезжаешь? Да, пораскидало нас во все стороны света, точно желтые листочки с дерева. Помнишь, брат: «Золото, золото, сердце народное падает с неба». Эх, склизкая осень. Уволили, брат, меня, уволили. Из Москвы бумага пришла. Еще вчера. Погодите радоваться, мы еще выйдем из подполья. Нет, обида-то какова!

Кооператор размахнулся гитарой и разбил ее о ствол березы. Прежде чем лопнуть, гулкое днище гитары успело отразить последний жалостный аккорд крепких струн. Вместо гитары в руках кооператора оказалось древко грифа, с которого свисали жилы и проволоки.

– Я тут всю ночь на могилке у Льва Николаича пролежал, всю ее слезами смочил. Авось маргаритки-то лучше расти будут. Да ты чего, слышьте, тоже такой скорбный?

– Ах, – схватился Сергей за голову, – ах, Леокадия! Безжалостная, так жестоко разбить бедное человеческое сердце!

Кооператор многозначительно прищурил глаз:

– А что? Неужто на самом деле разбито?

– Еще как.

– Ну-ка, стой, брат, мы тебя освидетельствуем.

Кооператор попытался рассстегнуть рубаху Сергея, но тот, застыдившись, не дал, тогда кооператор приложил ухо к правому боку Сергея.

– Ничего не слыхать.

— Ну а теперь?
— Да что-то едва-едва. Тиканье какое-то, словно часы.
— Это и есть механика. Мы, говорят, с тобой похожи. Помнишь разбитую вазу?

— Это что ж, у тебя в блокноте все сочинено?

— Да... Впрочем, Федор уверяет, что скоро этого уже не будет: исчезнет собственность, исчезнут и заборы. Давай напоследок распишемся на них, Сергей Сергеич, ведь мы с тобой оба Сергеи.

— А, Федор. Ну, не спустил бы мальчишке, если б не это увольнение. А сльышьте, мне здесь голос был ночью; лежу на могилке Льва Николаича, думаю о попранной женской чести, потому как я рыцарь. Сверху на меня роса негигиенично садится, сбоку корзинка с провизией лежит. Темно, сыро, верхушки деревьев шелестят-шелестят, понимаешь...

— Понимаю. Это я и сам люблю: близость к природе, например сеновал.

— Э, брат, что сеновал. Лёв Николаич верно говорит: сеновал должен быть внутри нас. А вот деревья шумят — и это плохо: спать не давали. И вдруг мне издалека так, из могилки, понимаешь, сам Лёв Николаич голос подал: «Пей, Сергей, пей!»

Сергей ринулся прочь от кооператора, уже разбивавшего сороковку о ствол близстоящей ольхи.

Бибикова с двумя сторожами летела прямо к могиле, а Сергей стремглав побежал через лесок, к беленым тумбочкам у ворот Ясной Поляны, и там наконец почувствовал под собой культуру, то есть кожаное сиденье автобуса.

Сентябрь 1929 – март 1930

Василий Кондратьев

ЖИЗНЬ АНДРЕЯ НИКОЛЕВА¹

(этюд с комментариями)

Вскоре по возвращении в Ленинград он поселился на Васильевском острове и последние годы жизни был в Гавани, в десятом и последнем доме Весельной улицы. Гавань тогда меньше сегодняшнего походила на портовые ворота города, но хранила много от приморской окраины фабричных, мастеровых и разбойников. От Большого проспекта мимо поросшего вороными гнездами Покровского приюта нужно было пройти по Смольному полю, где торчал осипавшийся дворец культуры и ветер разносил мазут и сырость. Дальше шло поле Гаванское, слева виднелись косой забор и заросли кладбища. Против перекопанного садика выходил окнами кирпичный дом в пять этажей. В Галерной Гавани, у кроншпицев, стояли военные моряки и слышались катера, звуки казармы.

Судя по фотографиям, он был похож внешне на Сергея Колбасьева, «петербуржца, презиравшего Москву», черты лица были неяркие, но четкие и благородно очерченные. Взгляд его был прямой и ясный, благожелательный и едва ироничный. Держался с непринужденной простотой, за столом сохранял прямоту посадки и естественность уютного, домашнего обращения. В его характере была точность и основательность, как ученого, словесника; его выражения были сдержанны и весомы.

Как и многие люди того времени, которое теперь известно не по происхождению, а по рассказам и воспоминаниям, он имел увлечение к собирательству вещей, которые по отдельности ценные только хозяину, но вместе, как подобранный драгоценный сор, образуют воспоминание о целом, хранимом и сбереженном мире. Какой был когда-то? Вырезки из журналов встречаются со страничками писем, записочек и дневников, модные картинки – с некрологами и почтовыми карточками непонятно откуда. Вот что он говорил:

— Я тоже собираю картинки, — речь шла за чаем, о коллекциях Юрия Юркуна, — и делаю с ними некоторые эксперименты. Иногда прихожу к интересным результатам... Я комбинирую. Например: Вы помните картину Репина «Не ждали»? Там в двери входит бывший арестант, вроде меня, возвращенный из ссылки. Я подобрал по размеру и на его место вклеил Лаокоона со змеями.

Этот разговор относится ко времени, когда Константин Вагинов писал свой последний роман, «Гарпагониана». Удивляющие его сегодня собрания именитых хранителей культуры подбирались часто буквально на свалке. Их красота и польза

¹ Текст подготовлен Дмитрием Волчеком.

только увеличивались от места, не свойственного характеру. Природные создатели и владельцы исчезали, обменивали вещи на хлеб.

Вещи теряют хозяев, не имена; те живут долго и обладают неумирающей властью. То было время памяти наименования. В Ораниенбауме ветер гулял по Верхнему парку, в разрушенной перголе у Китайского дворца.

— Должно быть, чтобы дать почувствовать старину, нужно ее чем-нибудь нарушить, — сказал старый поэт, гулявший по писательской санатории; он не пепечатался и был смертельно болен сердечной астмой. Ночные припадки были мучительны, он задыхался, и возникал болезненный, бесчеловечный страх смерти.

«...так происходит брань человека с самим собой. Внутри себя он, пораженный, вдруг застает нечаянное наличие и тех начал, которые он склонен был бы считать внележащими. Их разрушительное воздействие на потрясенную психику дает обломки чувствований и руины идей, что соответствует и украшенному ложными руинами и нарочно незавершенными статуями парковому пейзажу города-дворца». Так он писал двадцать лет спустя в своем «Осмыслении».

Николай Петрович Николев, поэт и воспитанник княгини Дашковой, скончался в начале прошлого века. Он ослеп в юности и прославился своими песнями и комедиями, среди которых — «Испытанное постоянство». Псевдоним Андрей Николев появился в 1927 году. Им были подписаны два романа: «Василий Остров» и «По ту сторону Тулы»; первый не сохранился. Каталог его стихотворений, составленный автором под конец жизни, включает в себя сорок шесть вещей малой формы — и философская, и любовная, в шекспировском духе, лирика. Поэма «Беспредметная юность» есть в двух редакциях, написанная сперва в Ленинграде, потом в Томске. Нет больше ни «Милетских рассказов», ни поэмы «Аничков мост», ни, вероятно, многого, что не указано.

II

В двадцатых годах в Петрограде возле Сытного рынка существовала Биржа труда. Туда пришла искать службу молодая дама, в силу происхождения лишенная права на образование и отчаявшаяся в поисках заработка. Никаких талантов, кроме знания языков в пределах своего круга и гимназического курса. Ей предложено место официантки в заведении для иностранных товарищей. От предложенной службы не отказывались, если не уходили раз и навсегда. Неизвестно, как и чем отговорилась эта дама, но ей было оставлено место кассирши в парфюмерном магазине. Там она проработала долгие годы. Муж дамы погиб на войне, на юге; у нее подрастала младшая сестра. Подростком та отречется от всех родных, уйдет в рабочую семью, получит экономическое, наимодное, образование и сменит, владея многими языками, много мест работы — даже и НКВД. Она вступит в партию, выйдет замуж, родит ребенка... ее сестры, дворянки и бесприданницы, останутся одни.

Андрей Николаевич Егунов был в числе первых пореволюционных выпускников Петербургского университета. Как преподаватели, так и большинство студентов более чем сдержанно встретили октябрьские и последующие события. Еще

в феврале семнадцатого года на совместном совещании Президиума Академии и ректоров высших учебных заведений рассматривался вопрос «о вступлении в деловые сношения с властью, распоряжающейся финансами государства». Собрание «признало невозможным избегнуть таковых сношений». В истории университета это же было отмечено речью ректора Шимкевича, обратившегося к студентам и педагогам во время празднования столетнего юбилея в 1919 году. Для тех выпускников-гуманистариев, которые не выбрали академического пути, начались трудности по выяснению своих отношений с властью, распоряжающейся финансами, – на местах. С двадцать первого года Егунов, впрочем, стал преподавателем иностранных языков на рабочем факультете Горного института, с участия знакомых. Также он преподавал в морском училище Дзержинского.

Город продолжал жить удивительной жизнью, меняя имена и названия своих улиц, словно постаревший питерский денди, донашивая обноски бывших одежд. Темные залы посмертных квартир прорастали проводами и перегородками, уплотнялись, и воздух домов напитывался чадом работы, то затухающей, то вскипающей красками и гримасами. Улицы становились все более пестры, и, беспорядочно оживленные, проснулись вокзалы: город больше не жил в удалении от республики.

Летом двадцать первого года он в последний раз слышал Блока. Тот уже не надеялся на выезд в Финляндию, и спустя месяц умер в мучениях от цинги, астмы и нервного расстройства. В ожившем Петрограде нэповской поры он познакомился с Константином Фединым – с неизменной английской трубкой, в неполные тридцать два года создателем эпopeи «Города и годы» из жизни интеллигентов.

Бывал у Константина Вагинова, который в тесной квартирке, зажатой у Екатерининского канала «между театром, „Молокосоюзом“ и аптекой», писал свою «Козлиную песнь». Познакомился с Михаилом Кузминым и часто заходил в его с Юрием Юркуном проходную комнату в Спасской улице. Под потолком мигала висячая лампочка, на круглом столе на цветной скатерти стоял самовар. И еще везде были расставлены вазочки, скляночки и фланончики, лежали папки с коллекциями.

Люди еще не боялись ходить друг к другу, собираться, разговаривать и быть веселыми. Встречались тридцать первого декабря:

Два веночка из фарфора,
Два прибора на столе,
И в твоем зеленом взоре
По две розы на стебле.
.....
Живы мы? И все живые.
Мы мертвы? Завидный гроб!
Чтя обряды вековые
Из бутылки пробка – хлоп!

И никому не было дела, что с 1929 года празднование Нового года было властями отменено. Были домашние собрания, вроде приглашений «на масло» у Куз-

мина, были общества художников, поэтов и писателей. Был кружок друзей-классиков, переводчиков. А.Б.Д.Е.М., псевдоним, подобный Никола Бурбаки, был составлен из первой буквы их имен и первых букв фамилий.

Самой крупной работой А.Б.Д.Е.М. был перевод знаменитой греческой «Эфиопики». Андрей Nikolaevich Егунов, ученый-эллинист, переводил тогда и Платона:

«Припомнить подлинное сущее, глядя на то, что есть здесь, нелегко любой душе: одни лишь короткое время созерцали тогда то, что там; другие, павши сюда, под чужим влиянием позабыли, обратившись к неправде, на свое несчастье, все священное, виденное ими раньше. Мало остается таких душ, у которых память достаточно сильна».

Он путешествовал вместе с братом, капитаном и писателем Александром Котлиным (Олег Волков пишет о нем в своем «Погружении»). Ходил на корабле в Северное море, к острову Гельголанд. В Крыму знал Максимилиана Волошина, толстого бритого старика в пенсне и в холщовой курточке с бантом. Волошин тяжело болел, уже почти в параличе; ему было разрешено занимать с женой комнаты в собственном доме, отданном под санаторий писателям – сам он стихов не писал.

В Сибири он был знаком со ссылочным Клюевым, обезумевшим от нищеты, страха и унижения.

В квартире Константина Вагинова он встретился с Тамарой Владимировной Даниловой, которая стала его женой за три года до ссылки. В Ленинград он вернулся в тридцать шестом, после похорон Вагинова, умершего от чахотки, после похорон Кузмина. Теперь он остался без работы и был вынужден возвратиться в Томск, к месту своей ссылки, преподавать в университете.

В Ленинграде началось «дело писателей», и погиб проходивший по нему художником Юрий Юркун; погиб Валентин Стенич, ценитель питерских элегантностей, сошедший с ума в тюрьме. Андрей Nikolaevich Егунов переехал в Новгород учительствовать в школе. В новгородском кремле огромная держава памятника «Тысячелетие России» стояла до войны, потом была разобрана немцами для эвакуации. Рукописи горели и оседали в тайных архивах; списки терялись, путешествовали в распухших чемоданчиках «Vulkanfiber» от хозяина к другому, знали и Среднюю Азию, и Сибирь, и города Западной Европы. После смерти известнейшего петербургского поэта его бумаги, вывалившиеся при обыске, лежали по узкой лестничной клетке коммунального дома, и дворник сметал листки. Остаток его архива хранился, по слухам, у приятеля в пригороде и пережил еще года четыре. Тот человек ушел с ними на Запад, оставляя один за другим русские и европейские города, и в Берлине во время пожара сгорел чемоданчик с бумагами.

Другому писателю рукопись его книги вернулась от истопника при органах безопасности. Кто-то, сперва осмелев, потом боялся хранить у себя любые слова, вызывающие сомнения. Хрупкие чемоданчики держали в сараях домов, на чердаках. Бумага желтела и становилась хрупкой, как слюда; буквы выцветали или растекались по странице. Умирали последние хозяева бумаг и забирали с собой, оставляя скучь письма и слова, когда-то предназначенные им.

Мертвые дома стояли с провалами черных, выбитых окон. То там, то здесь

великолепный фасад обрывается стеной, и в потемневший пролет видно усыпанное мусором поле, которое спускается к Неве, а на том берегу поросшее травой кирпичное здание с решетками, и по реке плывет, задувая вокруг копотью, маленький катер «Камиль Демулен».

В Лондоне художник Мстислав Добужинский писал воспоминания: «Город умирал смертью необычайной красоты... Это был эпилог всей его жизни – он превратился в другой город – Ленинград, уже с совершенно другими людьми и другой, совсем иной жизнью».

В сорок втором году Эрминия Васильевна Попова с сыном оказались в голштинском городе Нейштадт, где он поступил на службу в лабораторию молочного завода, а она стала работать прислугой у владельцев гостиницы. Заводской химик, доктор Гюбнер, был большим поклонником Достоевского, хотя и находил в его произведениях странной изломанную речь и экстренные, не чуждые мелодрамы, человеческие положения.

Поздней осенью сорок шестого года Андрей Николаевич Егунов простился с матерью в кафе у вокзала в Берлине. Больше ни с ней, ни с женой он не виделся.

III

За Невой, которая с рассветом становится серебристой в нежно-розовом ма-реве неба, за крышами и высокими окнами Академии художеств, за колонной, венчающей заросший садик, усеянный по краям осколками гипса и мрамора, по другую линию был четырехэтажный дом. Он выходил узким фасадом на улицу, переходами тесных подворотен, двориков и лестничных клеток прижимаясь к площади перед Андреевским рынком, с которого по осени пахло кислой капустой и густой базарной слизью, слышался ветер и дальний шум от Большого проспекта. Над его дверью пылали три ухмыляющиеся козлоподобные морды, каждая вписанная в два треугольника, переплетенные звездой Давида.

Когда-то здесь жил поэт, расстрелянный чека как заговорщик. В конце пятидесятих годов в доме снял комнату пожилой филолог, сотрудник Института русской литературы.

Одна из студенток ленинградского филфака шестидесятых годов без особого удовольствия вспоминала преподавателя, который вел семинар художественного перевода. Он тогда недавно вернулся после двадцати трех лет лагеря и ссылки и был старинным приятелем Егунова со времен вечеров на Спасской улице. Внешне он производил впечатление сильной физической измученностью и надломленностью, удивляя студентку мертвенно бледностью и привычкой курить папиросы одну за другой, без перерыва. В нем не было ничего от внушительной учительности, схожей со многими педагогами университета. Он имел среди студентов свой круг чем-то похожих молодых людей; с остальными был не более чем сдержанно любезен и только как-то раз посетовал, что слова меняются и исчезают, как исчезли милые его молодости карт-постали, оставшись безынтересными открытками.

Спустя неделю-другую после этого разговора ей случилось увидеть среди

очереди в стоматологической поликлинике человека. Он казался бесконечно старым, хотя по близкому рассмотрению ему можно было дать под шестьдесят; его лицо было изборождено морщинами, волосы были редкие и седые. Кто-то его толкнул и выругался довольно громко; он едва повел глазами и продолжал сидеть не шелохнувшись, с холодным и отрешенным взглядом. Руки он сложил на коленях; они были лишены ногтей, и пальцы казались сломанными по основанию первой фаланги.

Первый раз Егунова сослали в 1933 году в сибирское село Подгорное, а затем в Томск, по делу переводчиков А.Б.Д.Е.М. Один из членов кружка умер еще в 1931 году, двое получили разные сроки и назначения из-за вольных высказываний арестованного товарища. После победы советских войск в Германии он сначала учил солдат немецкому языку, а потом провел десять лет в лагерях Сибири и Казахстана.

Его брат был арестован год спустя во второй раз, и после освобождения поселился в Ухте, в Коми. Туда и приехал Егунов из Караганды, в которую отправился после реабилитации.

Из воспоминаний философа В.:

«Кладбище, где похоронен К., расположено в стороне от поселка. Оно состоит из множества холмиков, на которых не написаны ничьи имена. Вокруг кладбища — плоская, однообразная тундра, безвидная земля. Больше всего здесь неба. Ясная голубизна с прозрачно белеющими облачками охватывает вас со всех сторон, красотою небес восполняя скучность земли».

«В акте вскрытия флакон... был вложен в разрезанный труп. С этого момента и навеки прах К. имеет в себе памятник, стеклянная оболочка которого способна противостоять гниению и разложению, сохраняя написанное... обычными чернилами».

Они стали возвращаться к концу пятидесятых, началу шестидесятых годов. «Люди возникали из небытия — один за другим», — писал Шаламов. В те времена рассказы о пережитом прошлом были не особенно приняты, тем более в кругу не самых близких друзей.

— Я бы не хотел сейчас возвращаться в свою семью, — так говорил лагерник. — Там никогда меня не поймут, не смогут понять... То, что важно мне, — то немногое, что у меня осталось, — ни понять, ни почувствовать им не дано. — То, что я видел, — человеку не надо видеть и даже не надо знать.

Возвращались люди, чьи лица были вырезаны из семейных альбомов, а имена хранились под запретом. Их встречали пережившие страх, который непонятен тому, кто видел невероятное для прежних своих представлений.

Бывало, что из памяти исчезали сразу же после своего отсутствия, каким бы коротким оно ни было. После пяти лет эвакуации вернулся в Ленинград профессор, исследователь древнерусской литературы. Когда он уезжал, в квартире осталась отказавшаяся покинуть город домашняя работница. Дом он нашел уцелевшим, квартиру вынесенной и пустой; женщина умерла в блокаду от голода. Он снова стал жить, работать и обживаться. Однажды, зайдя по делам к коллеге, он нашел у того всю обстановку своей квартиры; на вежливый вопрос о причинах такого положения тот ответил:

— Я купил эту мебель и вещи у вашей домработницы, которая осталась и умирала от голода. Если вы имеете претензии, обращайтесь в суд.

Это было неправдой, но профессор в суд не подал.

Для тех, кто исчезал на долгие годы, счастьем было вернуться, застав еще родственников и друзей. В конце пятьдесят шестого года Андрей Николаевич Егунов женился во второй раз и получил прописку в Ленинграде; он снял комнату сперва на бывшей Фурштатской, потом в пятой линии Васильевского острова. Второй брак был оформлен с давней знакомой дореволюционных времен.

Он станет известен как научный сотрудник Пушкинского Дома, автор исследований о Тургеневе и Мериме, работ о русских переводчиках Гомера; он станет готовить к печати переводы свои и своих покойных товарищей. В списке его опубликованных работ каким-то образом окажется роман «По ту сторону Тулы» (Андрей Николев), изданный Издательством писателей в Ленинграде, 1932 год. Подзаголовок, написанный от руки: «Советская пастораль».

«Как хороша жизнь, — запишет пожилой писатель, — когда счастье недостижимо, и о нем лишь шелестят деревья и поет духовая музыка в парке культуры и отдыха...»

«Я пытаюсь, в помощь молодому поколению, прокомментировать первую пьесу в сборнике „Форель“, то есть вскрыть многочисленные там... реминисценции, явные и глухие ссылки и тому подобное. Крайне затрудняет меня стихотворение „Второй удар“... При чем тут оперетта Кальмана „Марица“, 1924 года? Там дело происходит не зимой. Имеет ли отношение кинокартина „Медвежья охота“ тех лет? Карпаты, острог, кони, кровь?»

Вернувшись из лагеря, он встретится с молодым человеком, с покойными родителями которого был давно и хорошо дружен. Он усыновит его, и после смерти оставит ему все свое имущество и все те бумаги, которые останутся после него.

IV

Могилы на Северном кладбище стоят тесно рядами. Если старинная часть невелика, то послевоенные захоронения расходятся на многие аллеи по перелескам Парголова. Не спросив в конторе, невозможно найти могилу даже двухлетней давности.

На разбитом похоронном автобусе из города ехать добрый час, а то и больше, особенно по осенней распутице. На поворотах и по ухабам автобус кренит и подбрасывает, и приходится придерживать гроб, стараясь удержаться в сидении.

Отпевали в соборе Святого Князя Владимира, который в начале Большого проспекта Петроградской стороны. Ближе к алтарю у раскрытого гроба стоял круг людей, читал священник и горели у икон лампадки. Жаркий вар со свечи капал на шапку мальчику. Если бы тот не впервые видел в гробу мертвеца, он бы снова удивился тому, каким бледным и пепелистым делается лицо и насколько покойные не похожи на то, как их знали при жизни. Черты становятся жесткими, строгими и отрешенными, застылыми в одном выражении, какого раньше никогда не встречалось — но которое теперь кажется странно знакомым и, по догадке, един-

ственno правильным. У Платона Сократ – там он говорил о припоминании в душах – таким образом с помощью Андрея Николаевича Егунова описывает Федру место, выбранное им для разговора:

«— ...Но между прочим, друг мой, не к этому ли дереву ты меня ведешь?

— К нему самому.

— Клянусь Герой, прекрасный уголок! Этот платан такой развесистый и высокий, а верба здесь прекрасно разрослась, дает много тени; к тому же она в полном цвету, так что все кругом благоухает. Да и этот прелестный родник, что пробивается под платаном: вода в нем совсем холодная, вот можно ногой попробовать... Потом, если хочешь, здесь и ветерок продувает ласково и очень приятно, несмотря на то что знаменитым звоном отдается стрекотание цикад. Всего же наряднее здесь трава, ее вдоволь на этом пологом склоне. Если вот так прилечь, голове будет совсем удобно».

Сорок шесть стихотворений, выбранные Андреем Николевым, объединяются в книгу «Елисейские радости». Не Елисейские поля блаженных, не Элизиум печальный потерянных душ и не Елисей, увидавший огненную Божью колесницу среди неба. Андрей Николаевич Егунов умер третьего октября тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года от злокачественной опухоли, в онкологической больнице на улице Чайковского, в Ленинграде.

«Примите прилагаемые две карточки, случайно уцелевшие у меня от разгрома, причем я теперь уже не знаю, кто на них изображен. Быть может, они пригодятся Вам в смысле костюма».

<1989>

Александр Ильянен

HIGHEST DEGREE¹

Отрывок из романа

В нов. роман возвращаются старые персонажи.

Как у Иоанна Кронштадтского с женой такие сложились у Бьорка отношения с пансионером.

Бывшей жене пансионера позволено приезжать варить борщ.

Adieu, plancher des vaches название старого доброго кино, полуза забытого, римейк романа.

«Там тобой бабы командовать будут» пророчество персонажа сбылось. Бабы-командиры Бьорка: профессор З., доцент Б. Тема: уцелевайте на скрижалях майкроблога.

Одежда педагогическая: пальто им. Максима Райсина, ботинки Бернара, аксессуар – часы тетушки Шарлотты и еще пиджак франц. – подарок А. С.

По осенней листве Бьорк пошел продлевать больничный синий лист. Как в годы золотые – освобожденье на три дня.

Le mur, les mots: Sartre. Тоска по Спиринину – венскому изгнанинику.

Идея устроить пансион пришла Бьорку после поездки в Швейцарию: у тетушки Шарлотты был когда то пансион в Лозанне для небогатых студентов.

Наталья, кухарка в пансионе (приезжает варить борщ по воскресеньям). Возвращение к нарративу: глаголы движения.

¹ Полностью роман будет опубликован в издательстве «Kolonna Publications».

Б. подумал, что Селин работал как раз в таком народном диспансере (*La mort a credit*).

Conge de maladie. полюбил утренние прогулки по народному кварталу до диспансера (т. н. районная поликлиника. Разговоры, лица etc).

Когда сестры как братья, а бр. как сестры.

Les feuilles mortes.

Очень хочется написать роман «серфинг».

La vadrouille.

Синяя кружка с розовым цветком (черный кофе внутри, на самом деле ко-
ричневый), синий больничный лист вчера, с утра зеленые – тополей (за окном).
Hommage a Matisse.

Le soleil d'automne.

Философия это та же поэзия, только высший градус ее (кавычки, из письма
ФМД). Заготовка для романа «высший градус».

Сочинение романа «highest degree».

Цвет осенней листвы. И среди листьев падших – голубой или синий – боль-
ничный.

В воскресенье, когда бывш. голубчик уходит на свой урок, Бьюрк слушает
фр. радио и сочиняет роман «highest degree».

Отвращение к бывшему.

И милость к павшим – с небесной высоты («highest degree») – осенним лис-
тьям.

Наталья была в черной до пят юбке, белом платке похожем на капот. Ярко
накраш. губы, сутулая. То ли сестра Л., то ли жена С.

Некоторые осенние зарисовки персонажей «highest degree»: Наталья (кухар-
ка, репетитор, курьер), Александр (бывший голубчик).

Un peu, et en certaine mesure, «vingt ans apres» est une sorte de farce.

«Горбатая гора», так, за сутулость прозвал Бьорк бывш. голубчика. Вот он сидит на кухне в позе мыслителя Р(одена), слегка сгорбившись.

La Toussaint.

Вчера звонила адмиральша из монастыря.

Бьорк приглашен к госпоже Б. на борщ.

Между двух борщей (красных): Натальи и госпожи Б. Comme entre deux feux.

Entre deux nuages tout a coup (apparait) le soleil. La Toussaint. Demain, on commemoore les morts (chez les catholiques).

Госпожа Б., как известно, проживала в Коломне, напротив «новой голландии». Само место словно утешение в ее страданиях и скорбях.

En effet, une sorte de consolation dans ses souffrances et douleurs.

Etats d'ame. De mon Bjork etats d'ame. Mots sur un mur.

БГ (бывш. голубчик, но новый персонаж). Бывшее и новое в персонажах. Новый, потому что в новом романе. Сам постаревший, полысевший, ссугутившийся (на стуле. Но новый етс).

БГ ушел на урок в белом шарфе. C'est du dandysme.

«Highest degree» еще и о кипении страстей. Капля чистейшего после возгонки паров горит синим пламенем. Alcools (in memoriam G. A.).

Эскиз к портрету бывшего голубчика (далее – бг): горящие как угли глаза, плешировость, но тело довольно гладкое, накачанное (он вдруг решил заняться бодибилдингом. Лет немногим за 40).

Смесь чувств в отношении бг: между отвращением и остр. жалостью. Entre revulsion (et repulsion) et pitie.

Passions francaises dans nos palestines. «Cruels intentions». Les liaisons dangereuses. Ам. кино, фр. роман. И Бьорк красками (невидимыми миру) рисует слова на стене.

Особенностью Бьорка была бесстрастность (ср. признание ГЕР «я бесчувственный»).

Справедливости ради: следует написать «Бьорк считал себя свободным от страстей». Что явл. очевидным заблуждением.

Abberation evidente. evidente abberation.

Пора идти на званый борщ. от Уткиной заводи к «новой Голландии» путь такой.

Вместо обещанного борща были поданы щи.

«Щи да каша пища наша». Это а рголос. Бьорк получил в подарок зеленый – настоящий, чудесный шарф из шерсти.

Госпожа Б. попросила описать срубленную яблоньку (у туалета) в Удельной.

Мечтаю написать о самогонном аппарате. Вдруг подумалось, что в почти каждой сов. семье был аппарат. Это был куст канабиса, запрещенный правительством.

Во времена Хрущева гонения достигли «highest degree». Против религии, кстати, тоже. Такое совпадение. Народу нельзя было ни пить ни ходить в церковь. Преувеличение, но все же все же.

В семье Бьорка был самогонный аппарат, огромная красивая бутыль с блестящей медной трубкой. Изобретение арабское. Как алгебры, кефира. Словом, кайфа.

«Мы были высоки русоволосы». Да. А стали малы, седы. «Юноша с седою головою» (автопортрет Бьорка осенью).

Откуда взялся Бьорк? Тетушка Шарлотта подарила именице «Березка», за Павловском, в год, когда вышла отставка.

Это был своего рода экзистенциальный перформанс или безотчетный поступок. После обмывания покупки, мой герой упал в траву, уснул. Проснулся уже с новым именем.

В этой «пене дней» хочется написать и об «имени Герцена».

Что за чудо эта стена! И кто тебя выдумал? Вопрос, казалось бы, тривиальный «что у Вас нового?», но если задуматься...

Это и invitation a l'ecriture. Письмо же всегда путешествие.

Да, диалектика нового старого. На примере моего персонажа БГ и даже ге-

роя – Бьорка. Кстати, вчера они смотрели «Опасные связи» с Малковичем, Умой Турман и К. Ривзом.

Если вам вздумается представить себе бг: во-первых, вспомните «мыслите-ля» Р., остается лицо. Горящие глаза, тревожный взгляд (часто), открытый лоб... Залысина. А двадцать лет тому назад.

Il y a vingt ans! (Воспоминание на фоне песни «нищая» в исп. Вадима Козина).

До того, как он поселился в пансионе Бьорка, БГ год прожил вне СПб (Сочи, Москва). Шесть лет жили с Натальей в Разливе, недалеко от Шалаша (с милым и рай в шалаше).

Когда Наталья приезжала варить борщ, Бьорк спросил ее, счастлива ли она была в Разливе (с БГ). Она ответила «да, очень».

Это похоже на рассказ Мопассана «Счастье».

«Зажглись огни в тумане». За окном над Невой зажглись огни! На той стороне реки в здании бывшей фабрики сломали стену (!) и стали мелькать огни Шлиссельбургского тракта.

Почти месяц Бьорк не ходил в свои учебно-трудовые мастерские у финбана (ср. лечебно-трудовые у А. Н. Лавры).

Меньше месяца осталось «ходить» туда, а у Бьорка уже ностальгия по палате номер девять.

Дорога в учебно-трудовые м. (далее утм или ward nr 9) лежит мимо розового здания клиник. Il y a vingt ans Бьорк ходил в бежевое здание с зеленым куполом. Тихо кланяется.

Довоспеть ФФ.

Вариант: успеть довоспеть ФФ.

По русской традиции Бьорк был вновь устроен в лтм (при академии) через «жену истопника при дворце». Это ФФ. Эпизодический персонаж романа.

На углу Невского пр. и Маяковского (БГ сразу вскипает, когда Бьорк произносит переименованные улицы. Надо сказать Б. любить иногда позлить бедного бг).

Так вот, на углу Маяковского и Невского, Бьорк встречает (покойного) Евгения Ивановича, выдающегося педагога и историка медицины.

Жалуется по привычке («жалобы турка»): мол Наталья угнетает в «имени Герцена», нет ли местечка в лтп?

Потом в «пене дней», в пенье дней, в круженыи и кружевах (дней) Бьорк позабыл свои жалобы (ведь это только жанр. Бьорк так любит грустное пенье).

А между тем Евгений Иванович уже хлопочет о месте, звонит своему протеже ФФ (который сам устроен в лтм через покойную профессоршу Нонну Николаевну – знакомую Е. И.).

Через две недели Бьорк вновь встречает на Невском в районе пассажа при выходе из подземного перехода Е. И. Mais quelle surprise!

Не смотря на то, что Бьорк воспитывал себя в трезвости (точнее – трезвлении), в остужании жара сердечного (*le trop plein de coeur!*), эта встреча вывела его из себя.

Это знак какой то! Ибо с покойным они не встречались годами. А тут вторая встреча за две недели. Е. И. говорит, что звонил ФФ. Есть место.

Вернулся БГ с прогулки.

Удивительное совпадение – и БГ и ФФ родом из Луганской области. Compatriotes.

Le journal d'une femme de chambre, прекрасное название. Как «дневник писателья». Кажется, с Жанной Моро в гл. роли.

Падение берлинской стены. Стена храма (она же плача). Не говоря у же о «великой» китайской. И эта наша – стена слов.

Перефразируя классика: в ней и «величие», и слезы и разделение (берлинскость) и надежда на «падение».

Miel d'Az. «Cela ne fait rien – un peu de miel. Mais il m'avait chauffé le cœur» (on connaît le reste). Mood (etat d'ame): право, грустно как женщине.

вфты тщеку фзфке: сам того не думая сказать. Дыр бул щыр. А хотелось менее заумное: nous avons le gaz dans notre aparte. На тему: как слово наше (отзовется).

Не смоет ли метафорический дождь наших слов со стены. Подтеки краски. не обрушится ли поток метеоритов. (У реки вавилонской под названием Нева сидим и плачем).

Human being of cruel sincerity (один п. о другом).

Кафедра, на которой оказался Бьорк благодаря (пок.) Евгению Ивановичу, посредством усилий ФФ («жена истопника при дворце»), напоминала село Степанчиково и его обитателей.

Сам же ФФ сильно напоминал Фому Фомича.

First and probably essentiel character trait of this personnage was... Это был русский человек допетровской эпохи.

Situation peu banale, en effet: ФФ – вечно маленький персонаж русской литературы (казалось бы), между двух имен – Петра и Ленина (России вечный большевик и просто большевик), родом с Украины. В русской перманентной (большевистской) революции ФФ. Но это уже не «бедняк Евгений», кот. клянет судьбу, дыша бензином. «Лихие девяностые» ФФ даже не заметил, а был в них как рыба в воде: все что можно меняя, продавая, перепродаивая, всех устраивая. Сироту устроил в университет. До этого сироте выхлопотал комнату. Сирота оказался благодарным (но это уже другая история).

Немного ФФ напоминал персонажа Лескова («воительница»). Бьорк подумал, что ФФ надоело быть вечным маленьким человеком русской литературы.

Не зря же я устроен, думал Бьорк, на кафедру по протекции благородного Евгения Ивановича, хлопотами ФФ.

ФФ любил напоминать Бьорку о своих хлопотах. Вот мол, все коленки протор, валяясь в ногах у Б. (заведующая кафедрой, баба-командир Бьорка).

ФФ несли как в старые времена – кто, что мог: яблоньку (саженец), канистры бензина («соседей подожгу», говорил ФФ) – всего не перечислишь (щедра наша земля и богата).

Когда ФФ корил Бьорка неблагодарностью, тот отвечал, мол погодите, может и я на что сгожусь. Имея в виду, что опишет его как персонажа. А точнее: допишет, довоспoет.

ФФ это персонаж пожалуй не меньше Fausta.

A suivre.

La suite (comme dans un opera a savon, merveilleux, a bulles irrisees): hier on a regarde (bg et moi) les herbes folles, weeds, un film francais beau et cruel. Cruel and nice, very french.

Le clavier refuse de se mettre en russe.

Oblige donc de continuer (j'espere provisoirement) en charabia anglofrancais.

Vous etes obliges, vous autres, de mettre des accents, la ou il faut. Merci.

Vais jeter un coup d'oeil a la cuisine (je suis en train de mijoter un bouillon de poulet.

Le bouillon de poulet, cette penicilline des Juifs contre le spleen de novembré (a propos de la «penicilline des Juifs contre le spleen» c'est une citation).

БГ ушел на урок. Радость «в одиночестве побыть, в тиши» (цитата Из Ирины Львовны). Когда Бьюрк уходит для БГ такая же радость.

Утром проснулся в семь часов (Бьюрк, далее – без уточнений), помня что «Казанская нынче именинница», решил поехать в Казанский собор.

Красота серого ноябрьского утра, что твой Париж.

До начала службы оставалось время, можно (было) полюбоваться «именем Герцена».

Налюбовавшись «именем Герцена», Бьюрк зашел в собор, отказавшись от мысли обойти собор – histoire de tuer le temps, подумав, что за десять лет достаточно пообходил его.

БГ еще не вернулся. «Радость» продолжается. Поел куриного бульона, вынес остатки курицы кошкам в невский двор, дошел до «пятерочки» – histoire de se promener un tout petit peu,

совершил как в Севилье сиесту, посмотрел за окно – над Невой дождь, огоньки, – принял заваривать чай, обдумывая «highest degree».

Во-первых, не забыть выразить благодарность – и это на волне эйфории от выпитого чая и отсутствия БГ – всем: живым и мертвым (например А. М. – за напоминание о шизо и языках).

В главе «все умерли» не позабыть бы кого.

Во-вторых, не описывать службу в духе К. М. «чеховские мотивы», а упомянуть красоту и молодость св. Георгия, св. Пантелеимона – военного, врача.

В третьих, в желании упомянуть удивительную консонантность женских

имен (напр. госпож Барахтиной и Баракиной) не подвергнуться при этом обвинению в диффамации.

Stop and go! Все эти годы («педагогические») практически рылся котлован для нового романа «highest degree».

ФФ между Петром и Лениным в новую смуту (мысль пришла во время службы в Казанском соборе).

Во время службы на Бьорке была одежда: пальто Максима (швейцарское, наст., дорогое), пиджак французский (серо-зеленый), шарф новый зел. (любимого учителя, подарок госпожи Б.).

На месте стоять стало трудно, в ногах валялся маленький мальчик.

Места на сундуках были заняты старушками и старухами.

Дошел, сняв пальто, до перил у могилы Кутузова.

Но у могилы все места были заняты: к перилам прислонились бабушка, молодой смотритель, тетенька. И втиснуться между ними было не совсем удобно.

Бьорк решил постоять и подождать, как раз у икон Георгия и Пантелеимона. И Казанский образ был отсюда виден. Накануне, читая историю собора, узнал, что икона принадлежала царевне Прасковье Федоровне.

A suivre.

Une rectification: икона принадлежала царице Прасковье Федоровне (а не царевне). Ошибка характерная для Бьорка.

Буквально в таком духе проповедывал и священник.

«Полупомешанный подьячий Тимофей Архипович» из «госпиталя уродов, ханжей и пустосвятов» (Татищев). Наброски к портрету ФФ.

И госпожа Барахтина и госпожа Баракина чем то походили на царицу Прасковью Федоровну.

«Из них наибольшим уважением царицы пользовался полупомешанный подьячий Тимофей Архипович, выдававший себя за святого и пророка» (Татищев).

«Некогда он занимался иконописанием, но потом бросил, стал юродствов-

вать миру – и прожил при дворе Прасковьи Федоровны двадцать восемь лет».

Методом аппроксимации стараюсь написать портрет ФФ.

Родом ФФ был из Луганской области.

Если писать о ФФ ажиографическую брошюру, следует предвидеть бурю страстей, которая разыгрывается вокруг имени старца (ср. «Иван Денисович, его друзья и недруги»),

«и всюду клевета сопутствовала мне»: бывший знакомый по «английскому клубу» (куда ФФ был кооптирован по протекции Евгения Ивановича) распространял слух о «темном происхождении» ФФ.

Можно было подумать, что ВИ (доктор военной медицины, известный клинист) завидует влиянию и популярности ФФ (при дворе Прасковьи Федоровны).

Однажды, встретив Бьюрка по пути на кафедру, ВИ, заслышав имя ФФ, изменился в лице и перейдя на шепот (почти шипение), сказал «опасайтесь его. C'est une crapule».

Из АА: «je suis de retour. Лижет мне ладонь пушистый кот» никакого кота, а только на кухне Наталья варит борщ с шампиньонами и БГ с ней в кухонном чаду (замена счастья).

«И не проси у бога ничего»: прошу терпения.

No news good news, казалось бы. Но на красной кожан. книге – подарке американской тетушки Дэйанны написано «good news» т. е. благая весть, каторга, евангелие.

Теперь, по истечению двух дней, Бьюрк понимал, что именно в Казанской церкви, у иконы Прасковьи Федоровны, при огромном стечении народа он мог ощутить народное единство.

Даже ему пришла мысль, что царица Прасковья Ф. продолжает незримо управлять нашей державой.

Душевые и внешние смуты и вдруг – временами – покой. (В принципе «война и мир»). Литература всегда казалась Бьюрку серией римейков.

Что переписывать, выбор такой: «опасные связи», «фауст», «война и мир», «преступление и наказание», «душечка», «счастье», «в поисках утраченного»,

«entre la vie et la mort» – одно из любимых названий. Французский новый роман. Антироман.

Готические мотивы – антироман. БГ лекцию (на кухне) прочитает, только попроси – о готическом.

Гуляли с доктором, по Итальянской, мимо дома кино. Встретили сестру Елену, которая возила Бьорка к морю, кормила на террасе приморского ресторана мороженым и кофе.

Ирина Львовна – строгая сестра. Но очень добрая.

С ней Бьорк путешествовал в Хельсинки и Таллин. Они ходили в универмаг (как в детстве) покупать Бьорку куртку и шарф. Потом плыли на пароме, смотрели на волны в круглом окне.

Бьорк время от времени смотрел на юношу справа. Ирина Львовна видела это и немного хмурилась.

Почти как у Блэза Сендрара: *tu es plus beau que le ciel et la mer*. Удивительный момент покоя и счастья. Никуда не хотелось убежать.

Ирина Львовна идет в кафе и приносит на маленьком подносе кофе и пирожное. Бьорк говорит «не люблю с кокосовой стружкой». У сестры ангельское терпение. П. на самом деле вкусное.

Роман «братья и сестры».

Однажды Бьорк сказал С. (ви ай пи – very important personnage), что хотел бы быть его старшим братом. Это было давно. Роман «опасные связи».

БГ уже проснулся, ходит голый по квартире.

Бьорк проснулся в хорошем расположении духа (в свое время, когда Б. был маленький, рапА, говорил «проснулся и не плачет»). Посмотрел, полна ли зеленая бадья.

Какие то неполадки с трубами: хол. вода течет в ванной тоненькой струйкой. Бьорк придумал набирать холодную воду в большой бак (раньше в ней солили капусту).

Горчая вода «бежит» нормально. Правда, поломался еще смеситель в ванной, приходится поддерживать рукой. БГ с Бьорком соревнуются в терпении (кто первый починит).

Если взять франц. мочалку типа варежки и ею придерживать кран, вода набирается в тазик наивкуснейшим образом.

Затем из зеленой бадьи добавляете холодной – а *volonte*, что называется, и мойтесь на здоровье! Летом же Бьорк привозит с «березки» разных трав.

И устраивает травяные ванны: иван-чай с розовыми цветками и продолговатыми зелеными листьями, крапиву, березовые веточки.

Revers de la medaille: мрамор ванны в тех местах темнеет.

Но при помощи чистящих порошков ванна (достаточно) легко очищается. Бьорк с удивлением отметил как успешно БГ справляется с домашними работами, кот. Б. ненавидит.

Гремит уже кастрюлями – готовит первый брекфэст.

Конечно, еще, дневник – литературный жанр (дневник писателя, дневник – уже упоминал – горничной). В случае Бьорка – дневник хозяина пансиона.

Штрих к портрету Бьорка – писателя *a ses heures*, хозяина пансиона, преподавателя, контракт кот. истекает через месяц: старые халаты.

Не просто мания носить обноски как Плюшкин («добрый человек»!): коллекция халатов. И еще в Турцию бы съездить за. Сегодня с утра Бьорк нарядился в самые старые.

Бело-синий, и сверху голубой.

Жалость к старым халатам, эта низшая форма любви.

Татары раньше ходили в старых халатах по дворам. Бьорк еще помнит (очень смутно. Как в кадрах кино о далеком детстве). *Espace entre la Fontanka et la rue Rubinstein*.

Сибирь ведь тоже русская земля, так и татары – часть русского великорусского народа (любимый конек в рассуждениях Бьорка: геополитика, *big game*, религия).

Душевно-мысл. деятельность Бьорка походила на барочные храмы (португальское, московское б.): Иоанн воин на Якиманке, *par exemple*.

Гауди, конечно. Хотя испанец (но все же, все же).

В этом Бьорк, конечно, не был оригинален. Патетика, причудливость. Василий Блаженный, Спас на крови. И при этом тяготение (tendency) к простым и ясным формам (мысли).

Например: Спас на Нерли.

La pause!

«И вновь иду в стихи» (из Ирины Львовны) молился перед иконой Божией матери, именуемой «Знамение» (царскосельская, любимая Елизоветой Петровной).

Молился за Павла Дурова и придуманную «стену». Сбывается пророчество Мишо о том, что поэзией будут заниматься все. «Поэзией» в греческом смысле.

А не только сочинением виршей. Хотел поехать в Удельную – на прогулку. Потом расхотел, по дороге свернулся к Лавре. Вышел из андерграунда и направился к Лавре.

И вместо того, чтобы пойти привычной дорогой к Троицкому собору, свернулся в Лаврский пер. – к духовной академии. Вдруг захотелось, пройдя монастырский сад, оказаться в церкви Иоанна Богослова.

Здесь надо признаться, что в детстве помышлял стать священником и уже в те давние годы открыл этот храм в стенах семинарии и академии, рядом с лечебно-трудовыми мастерскими.

Когда шел через едва освещенный сад, обратил внимание на здание, окна которого светились в ноябрьской тьме словно московские: это был местный шарантон (на Обводном).

«И не проси у Бга ничего» (опять Ахматова): все же, ничего не прося, благодаря Павлу Дурову. И все же попросил терпения от моего народа.

Если царь Соломон из праотеческого ряда просил мудрости для управления своим народом, я прошу терпения, чтобы терпеть мой.

Это касается «Натальи и Александра» (больше известного как БГ) – иногда зову его, подражая ВалерИ: SachA.

Наталья принесла фиолетовых, похожих на наши кошачьи лапки, цветов. Видно полевые голландские. Нам с БГ. Две веточки. Одну унес к себе в комнату. Другую поставил на кухне.

Одна из положительных черт (даже virtue) БГ это любовь к цветам.

Je vais dormir.

Rectification: письмо, я предполагаю это и есть, в том числе, ревизии, ректификации. Напр.: «терпения от моего народа» написал Бьюрк вчера. Сегодня я исправляю: попросил терпения с моим народом.

Алена пожелала вчера мне фей и пионов, на ночь.

Попил кенийского кофе, закусил лимоном и медом Азамата.

Подумалось, что стену занесло снегом и трещины, где растет дикая трава, как на заброшенном летном поле.

БГ проснулся – чуткий сон. Пошел, наверное, «отлить».

Жизнь с БГ – сосуществование в постоянном напряжении, какие то флюиды, завихрения, стены отчуждения, трещины и дикая трава.

Дневник хозяина пансиона. Ср.: горничной (*journal d'une femme de chambre*), *d'une femme d'écrivain* (жены писателя).

Экзистенциальная проза, стенография (от слова «стена»), литература существования. Или: литература сосуществования.

Александр Гольдштейн (Золотой камень из книги «все умерли»).

У них бы Бьюрк был Витгинштейн или Наом Хомский (Чомский). У нас он (етс етс книга об этом. Стена, брошюра. Закрашивание слов (на стене), письмо по белому).

Во вчерашней передаче бибиси доктор Маршалл рассказывает как он пил бульон с бактериями. Открытие маленькой б.: наука продолжается.

А религия? журнал «наука и религия». Религия тоже не стоит на месте.

Рассказать госпоже Б. о подтверждении гипотезы о бактериальном происхождении язв. болезни (*gastric or peptic ulcer*). Журнал «здравье» в каждой советской семье.

Итак: самогонный аппарат, журналы «здравье», «наука и религия», «советский экран», «семья и школа», «работница», «крестьянка».

La suite: «веселые картинки», «мурзилка», «пионер» (в нем работал Гага Ковенчук). Фаина Георгиевна произносила «пионэр».

Слово вдруг вспомнилось. Или: к слову, *shelter*. БГ находит себе «убежище»,

спасение в прошлом. Не сов. прошлое (интернат, техникум) – хотя, немного и там. А в основном «в России, кот. мы потеряли».

Однажды Бьорк объяснил БГ слово «пассеизм» (первая строчка из «Жан Жене. Комедиант и мученик». ЖЖ – пассеист, пишет Жан-Поль Сартр).

Иногда (в минуты досады, раздражения) Бьорк вдруг иронично произносит про себя *le client a toujours raison* (т. е.: пусть пансион называется *Shelter*).

Конечно, не формально, без вывески «*Shelter*»: пансион господина Бьорка, а в смысле «клиника доктора У.» У Уткиной заводи.

Но надо жить без самозванства! мой Бьорк, жить так, чтобы в конце концов.

Возвращение к нарративу. С одной стороны, маньеризм, мода на барокко (каталонский, португальский и все латиноамериканские инварианты), с другой – неоклассика.

Ср. пустая клеточка в периодической системе элементов. Доктор Маршалл рассказывает, как он находил имя для своей бактерии.

В принципе: ризы мокрые сушу. Роман «прежние гимны» (under form of «new songs»).

Или: роман «мокрые ризы» (ср. «белые одежды»).

Роман о том, как вымокли наши одежды под снегом и дождем.

Роман о форме. Роман формы. Формирование романа в разгуле стихий. Тем-периорование стихий при помощи магических заклинаний. Решительный отказ от магии: белая магия или.

Штрих к портрету БГ: в ванной комнате Бьорк заметил перевернутый веник.

La pause!

BD party yesterday.

У госпожи Б. (новая Голландия) прием по случаю ДР. Адмиральша не приехала. Из «основного состава» были доктор и Лена-писательница.

Из переменного: Нина Афанасьевна (товарка по бизнесу и иногда – работодатель), Ирина – молодая ж., похожая на Анну Герман (сотрудница фирм флер де сантэ и ботэ акомпли).

Госпожа Б. опять просила написать о яблоньке в Удельной.

Что можно написать о гибели яблоньки в У.? Ср. «что знает женщина одна о смертном часе»? Не думайте только, что я. В Удельной – метафора.

Это было деревце, росшее у туалета, поразившее однажды госпожу Б. в пору цветения своей красотой: бело-розовые лепестки и чудный аромат.

Не зная доподлинно историю чудесной яблоньки ни имени ее губителей («везде везде проклятый Углич»), напишем просто: роман «Яблонька в Удельной» (посв. госпоже Б.).

У Бьорка было два доктора.

Как у НР два мужа: старший, младший.

У Бьорка два ума: передний, задний.

Esprit de l'escalier: задний ум по-французски.

У Бьорка было две силы: большая и малая.

У Бьорка нет фотографического аппарата.

У Бьорка два крестика: оловянный (когда крестили в детстве, в Спасо-преображенском соборе), красивый (папа римский бросил с балкона).

Второй крестик – тоже как детский (эмалевый, росписной), подарок датской девушки.

Можно продолжать в таком духе: у Бьорка две слабости, две думы. Stop. Как у византийского орла.

А как же: «он знал одной лишь думы власть»?

У Бьорка было две резиденции: большая и малая. Квартирка у Уткиной заводи (для кр. словца: уютная квартирка у У. заводи) и имение «березка».

А как же «три желания»?, «любовь к трем апельсинам», «третьего не дано»? «до третьих петухов», наконец.

В рейтинге любимых книг указать и «святого Жене. Комедианта и мученика» Сартра.

Stop. Пора идти в прачечную за пост. бельем.

Больное и думы: тема «нового романа».

У Бьорка была и третья резиденция!

Третья резиденция это вагон пригородного поезда, место на палубе парома или каюта теплохода, номер гостиницы,

encore qch a propos du troisieme: любя, допустим, ЖПС и ЖЖ, Бьорк любит и ЛФС (Луи-Фердинанд Селин). Не говоря уже о Поле Моране. Но это уже другая тема (четвертого).

По бибиси рассказали о книге одного американца, посвященного смерти философов. Дескать, philosopher c'est apprendre a mourir. И вот вам двадцать конкретных примеров.

Assez cruel, mais fort. Другая книга (видел в одной библиотеке) посвящена модусу вивенди писателей. Источники доходов, в основном. Поучительная книга.

Одной из любимых книг Бьорка была и остается: биография Мопассана Морана. Вот вам «литературная матрица» (или: пример л.м.).

В планах: написать роман «морковный сок» (Jus de carottes).

«Зажглись огни в тумане».

Штрих к портрету ФФ: «фэфэ», надо видеть лицо ВИ, – гримасу, с которой ВИ произносит имя Федора Федоровича, . . . , фэфэ (как если бы речь шла о «мадемузель фифи»).

Tristesse.

В посл. дни думал о Хлебникове (можно сказать: тосковал по Велимиру). Я – йог, марсианин, кто угодно только не... Священник цветов! Родился вчера (прочитал у Б.).

БГ живет у меня как девочки в Боголюбовском приюте: без телевизора, в маменькиной комнате с иконами, заставляю работать, чтобы приносил деньги,

сделал ему послабление: привез из «березки» транзистор grundig (грюндиг), он прильнул к нему как подросток-старовер «к коротковолновому радио» (о. Сергей).

Когда прохожу мимо его келейки, оттуда доносятся звуки музыки (радио максимум, европа плюс, маяк).

И все таки, не смотря на строгое с ним обращение, кажется он не собирается никуда убегать: я говорю ему «поехал бы ты что ли в Испанию» (показываю пляж испанский).

Кроме архитектуры, красивых людей, он любит тепло.

Чтобы поехать за границу нужен паспорт («у меня нет паспорта!» говорит он, когда я предлагаю ему поехать в Испанию).

А «двадцать лет тому назад» мы ездили с ним в Москву.

Иногда я разрешаю смотреть (вместе со мной) кино.

Я полюбил голливудскую клюкву! Как вечность наших болот.

Маруся (Татьяна Эйсмунд) тоже любят со Славой наше американское кино.

В нашу боголюбовскую обитель (приют и скит) заходил художник Олег Хвостов. БГ разрешил выпить красного вина.

«Жил-был художник один» роман про О.Х.

Римейк с картины Шишкина «Плакучие ивы».

Mood: to wear my green coat and go (walk) to cemetery.

Роман on line.

Я опоздал на празднество Расина. То есть: на кладбище (гулять) ехать поздно. Темнеет рано в ноябре.

Controversial being is my Björk: аскетические опыты и погружение в кайф.

План такой: продолжать культивировать парадокс.

Вас. Вас. Розанов, Александр Гольдштейн. Интеллектуальный роман. или: «интеллектуальный» роман.

С одной стороны, для поэтики Бьорка характерно состояние двусмысленности, амбивалентности. Состояние амб.

С другой, после возгонки и испарения в перегонном куб, кот. и есть организм писателя, стекает капля чистейшего кот. горит синим пламенем.

L'alambic!

Rimbaud Arthure: le charme des lieux fuyants et le plaisir surhumain des stations!

Больное и думы, новый интеллектуальный роман Бьорка, другое название: Highest degree.

Никита предлагает усыновить молодого и талантливого.

Бьорк завидовал белой завистью, другими словами – восторгался – примером аббе Пьера, который организовывал приюты типа боголюбовского.

Приюты для молодых, талантливых (римейк макаренской колонии).

Флаги на башнях, педагогическая поэма. Это на наш лад Cruel intentions, Liaisons dangereuses.

Об этом немного в «мистер тичер».

Во время второго завтрака БГ читал выдержки из газеты «метро», кот. я выпросил у курсантов (о дне доброты, черном чесноке, звездах тениса. Намеренно, чтобы не волноваться, пропустил про пользу секса).

Climate of suspicion.

Il faut cultiver ton jardin, Бьорк. То есть: культивируя парадокс, мульчируя и удобряя почву, поддерживая атмосферу неопределенности, вдруг етс етс.

Римейк романа «братья и сестры» (когда сестры как братья, а б. как сестры). И еще тема: adoptiv kids.

Unbearable lightness в ноябре на октябрьской Наб. в легком тумане.

...все цыгане спят (кроме Ольги, Дмитрия и Стеллы).

Почти 12 лет я служил за метафорическую Рахиль у Лавана (мои педагогические тетки-начальницы).

Это был своего рода женский монастырь (ср. у Пазолини экранизация «декамерона»).

ФФ (старец Федор Федорович) с благосклонностью принял вчера мой подарок – луковицы гладиолусов.

Штрих к портрету моих начальниц (бифл. Лаван): одна была высока, дородна, белокура (kind of russian beauty), другая – наоборот, но все же дородна.

В посл. два года Бьорк находился в послушании у старца Федора Федоровича в женском монастыре («кафедра»).

Римейк «доживем до понедельника» (в моем случае понедельник это среда).

«Декабрь» Вивальди в ноябре на октябрьской набережной. Very good!

Моя садовница адмиральша. В планах: написать о ней брошюру (как о Матрене Московской или старце Федоре Федоровиче). Вчера дала приглашение (invitation) на выставку фотографий в Лавре.

Немного солнца в холодной воде (в кавычках: строка Элюара, римейк романа Ф. Саган). Получение из Франции книжки от Valerie – Lettres de M. a F.

Остался у берегов (буквально – берегов реки Н. стоял на остановке и смотрел на пейзаж: тьму фантастическую в огоньках. Многих пейзаж пугает. Поэтам нравится: госпоже Б., И. Л. АТД, Мите).

Ехать на гоголевский Невский проспект (далее – НП) вдруг расхотелось. Вернулся в наш боголюбовский скит. В приюте натоплено, тепло. БГ сидит в келье, читает.

Un peu de soleil dans l'eau froide. Роман о сегодняшнем дне.

Солнце не физическое, а метафизическое (метафорическое – французское).

Одеввшись как помор приладожья иль заонежья по вчерашнему снегу шел на почту. Возвращался с книжкой (редкое издание 41 года). Был удивлен красотой нашего захолустья.

Вдруг показалось (стоя во тьме – ночной и зарубежной), что на этом берегу ты ближе к городку Веве на озере Лиман, к Гудзону или Лондону, чем к НП.

Бывшую почту (брежневская стекляшка) почти упразднили, осталось маленькое помещение в крайне убогом и запущенном состоянии.

Нет никакой ностальгии по почте прежних лет (запах сургуча етс), а просто радостно и отрадно видеть вещи в их истинном состоянии.

«С отрадой, многим не знакомой», я вижу не цветущую почту, а дорогу к почте, дворами, – вдоль реки – среди берез, рябин и кустарников, покрытых белыми ягодами.

У соседа запела дверь, вернулся бГ с прогулки, устав слушать бибиси Бьюрк решил етс етс (хроника боголюбовской обители).

Вспомнилась вдруг картина вчерашней тьмы (обитель наша боголюбовская находится на окраине веселого (сик!) поселка, на Неве, в оазисе промзон).

Место, как утверждают поэты, которых заносит в нашу глушь, исполнено какой то страшной красотой.

Однажды на остановке встретил И. Ч. – удивительно, как занесло его к нам?

Штрихи к описанию боголюбовской (невской) обители – скита и приюта: на краю «веселого» (поселка), на Неве, у Уткиной заводи, где стоянка кораблей – посв. Н. М.

«Gloria по русски значит слава» БС веселый по англ. значит gay, gay village, gayburg, так можно перевести местный топоним. Подробнее о нем читайте у Юрия Минаевича.

По грусти и безотрадности его можно сравнить разве что с Иматрой.

Никита одет был в одежду синих, сиреневых оттенков, кроме пальто – из серого сукна. И обут в кроссовки цвета пармских фиалок.

С доктором У. и Никитой ходили смотреть кино в «порядок слов» на Фонтанке. Femmes femmes фильм французский.

Дедушка Ленин (баба Лена на языке людей лунного света) сказал бы: он перепахал меня.

Я даже не знаю как сказать. Потряс? Будучи легко потрясаемым, т. е. мало сейсмоустойчивым, этого мало.

Откровение. Да, une sorte de revelation.

Фильм словно трофеиный! Его привез нам из Москвы БН. Вот что он рассказал о нем нам: снятый в 74, показанный в Каннах, он стал любимым фильмом Пазолини.

Пьер-Паоло Пазолини (далее – ППП) написал о нем большую восторженную статью. Признался, что мечтал снять такой фильм.

Когда монах покидает свой богоявленский скит, он уже не вернется (в него) прежним. Мне подумалось, что я пишу роман *Hommes hommes*.

Совсем не обязательно, подумалось мне, менять прежнее название – *Highest degree*. *A quoi bon?* Просто вдруг открылся (или точнее – приоткрылся). Как в фильме – створка двери).

И вот в дверном проеме: Бьорк и его персонажи (*Hommes hommes*).

Когда вышли ночью из «порядка слов», оказалось, что фильм (FF) продолжается. Никита в подземном переходе у Пассажа сделал Бьорку предложение – создать школу языков.

Бьорк сказал, что языков больше нет, а есть лингвистическая компетенция. Все равно, решили, что школе быть (ср. Петр – флоту быть).

Это будет, наверное, как в фильме школа-кафе (типа богоявленского пристоя-скита) только в новом формате: для одаренных детей и умственно отсталых взрослых.

Это будет как воссоздание барочного алтаря (другими словами – дома культуры. Мечта Эдуарда Лимонова).

В качестве приглашенного профессора будет переманен из Смольного института АТД.

Вообще это будет настоящий педагогический театр, по типу частных студий и мастерских прекрасного прошлого («кот. мы потеряли»: Ходотова, мужа Комиссаржевской етс).

Римейк фильма (уже который по счету!) «непристойное предложение».

Бьорк всегда очень серьезно относился к тому, что можно было, на первый взгляд, принять за шутку.

Очевидно, будущее – за частными (или гос. – это не важно, кто поддерживает) школами, небольшими лабораториями. У мэтра была такая школа.

В принципе, все повторяется как на буддистской картине и это радует.

БГ похож на Савонаролу (сегодня стал обличать прогнозирующих погоду. Голос грозный, глаза горят. Причем, тембр голоса не из приятных, немного визгливый).

Дом терпения, но отнюдь не толерантности – наша боголюбовская обитель.
Дом неприязни, китайской стены, о кот. разбиваются волны ненависти.

Настоящий феньшуй – когда противоположные стихии сошлись. Звонок грандамы ОС прервал (к счастью) разглагольствования. Персонажи неожиданно возвращаются.

Доктор У. рассказал о фильме португальского режиссера О. – двадцать лет спустя «дневной красавицы».

Non stopped Stella.

Наш друг НМ спросил бы «а что „стелла“ значит звезда?»

Кусочек фильма «сало или сто двадцать дней содома» вчера в «порядке слов», en marge du film «Femmes femmes».

БГ прошел прогуливать «отчаянье и злобу».

Вчера Наталья (красные губы, длинная юбка, воротничок бежевый) угостила кос-халвой. Приезжала варить борщ.

Никита, пришли гейш. Хочется не борща, а гейш. (Ср. – «духовной жаждою томим»).

Жажды гейш.

Пью зеленый чай словно одеколон (памяти В. Е. и покойного Головина, адмирала). Теперь у меня есть не только адмиральша (садовница), но и адмирал.

Обычно, этот зеленый чай с сильнейшим запахом, вызывающий удушье, я отдаю БГ (на тебе боже что мне не гоже). Но сейчас решил выпить: как это люди пьют цветочный одеколон?

Фигурки словно из фильма (из фарфора): «отчаянье и злоба» в виде китайских собачек.

Вчера в фильме FF героиня (Элен) на вопрос подруги (и героини) Сони (Соня. Sonia) любит ли та мужчин (как прежде. Нет ли разочарованья?) отвечает: люблю. Они сухие и чистые.

Какое счастье любить сухих и чистых.

В семнадцатом кажется веке гейша был юноша, промышлявший артистическим ремеслом.

В переводе на русский (*exercant un metier artistique*): художник, поэт, музыкант.

«Огней так много золотых»: mood такой. Вышел чуть подышать влажным воздухом в тьму приневскую (заневскую?). В тьму «веселого» поселка. В самом его конце.

Это роман-исследование. Roman-research. Но не roman-investigation!

Будь моя воля, назвал бы его Roman roman.

«Поэт, музыкант, художник» это, разумеется, не означает что профессионально гейша... Нет, но! ср. «все они красавцы, все они таланты, все они поэты» в этом смысле.

«Огней так много золотых» (ремикс этой песни звучит в романе-романе). Бьюрк выходит в свет ночной, как Сергей Георгиевич написал «тьма дневная».

Нечеловечий вой людей веселого поселка. Как в саге сумерки.

Третье ухо (тончайший слух) БГ очевидно слышит этот вой. И он заставляет его бежать из приюта. Потом он возвращается.

У Бьюрка нет третьего уха, он не слышит воя веселого поселка. И потом дом находится на самой окраине, у Уткиной заводи. Можно сказать, что это и не веселый поселок (уже).

В принципе, роман роман (далее novel) строится как *Sagrada familia*.

Выходя вчера ночью из «порядка слов» с Никитой и доктором (У), Бьюрк сказал, что, кажется (*it seems*) начинает любить здания (линии горизонтали и вертикали).

БГ объясняет Бьюрку азы архитектуры. Зачитывает (по настроению) пассажи из книги (шедевры архитектуры барокко) или разрушенные храмы СПб.

Ненавязчивая суггестия: дадзы-бао, дзуйхи-цу.

Весь воскресный мост (хотел написать – день) был день. Т. е. весь воскресный день был мост между веселым поселком (далее *gay village*) и Никольской пл. (сине-голубой собор) – *Stella's home*.

Вампиры и оборотни веселого поселка.

Дубленка сына Татьяны Эйсмунд. Нет, лучше дубленка сына Маруси Климовой. Опыт перетаскивания вещей и персонажей в нов. (анти)роман.

Действительно: белая Индия.

Triste et beau.

Ночь, набережная, фонари, аптеки нет. Сочувствующий желтый свет и снег.

Сочувствующий – как солома мягкий снег и желтый. Свет, хотел написать.

Снег белый в свете фонарей (словно солома, желтом). Шуршащем (перебор) снова: солома, свет, мед Азамата – оттенки желтого, янтарь, балтийский берег.

Совы белые кружатся. И кричат (но их не слышно Бьюрку).

Над Веселым поселком кружатся белые совы. летают вампиры. И снежные волки. И серые (красивые).

Словно боголюбовских: девочку ли мальчика – из скита – приюта разбудили игуменья, игумен. Строгие (волки, вампиры. Из недавней прессы. Кажется МК. Опять: Маруся Климова, московский комсомолец).

Бьюрк проснулся (пописать). и вспомнил про боголюбовских.

Удивительно, действительно: ночь белая (бо снежная, бессонная. Во франц. смысле: *nuit blanche*, *nuit sans sommeil*).

Итак, возвращаемся к нашим белым барабашкам – *l'hiver oblige!*

Взглянув на заснеженный Петроград, Бьюрк вспомнил о Блоке.

«Не позовет меня игумен в ночи на строгий свой порог», это вспомнилось и нахлынуло наше боголюбовское.

Уже как ритурнель *La ritournelle*. D'abord a cause de la neige. Cela tourne et tourne. Et retourne. Et puis, ces moutons blancs loups garou chouettes blanches, mouettes (*nuit blanche a Gayvillage*).

Николай Никифоров (далее – NN) как Герцен разбудил в ночи своим тихим мелодичным звоном (намек на колокол).

«Простите меня изувера», вспомнились слова из брошюры «Письма валаамского старца».

Да, вспомнились еще стихи учителя (над Ладогой вечерний звон).

Метафоричность этих птиц смешна (белые чайки, черные вороны. Для контраста и красного словца).

Но особенно: белые совы Веселого поселка в ночи.

Бьорк просыпался, как будто дети, разбуженные игуменьей для молитвы.

И Паунд в клетке как икона.

Боголюбовские дети молились Распутину и Паунду («в клетке»).

С гран-дамой, благородной О. С., были в театре варьете. О. С. была одета словно английская королева. По дороге на Итальянскую встретил князя Никита М. (в его особняке).

Князь Никита М. известен как большой оригинал. Судите сами: в своем особняке он занимает маленькую, но уютную комнату бонны, с видом на шпиль Михайловского замка.

Бьорк решил пройти на Итальянскую через «Пассаж» (особняк князя Никиты М.).

В середине первого этажа среди роскоши сидел князь в своем сером пальте-це и писал письма.

Бьорк чрезвычайно обрадовался, увидев молодого князя, хотел подкрасться и напугать его, но князь Никита М. заметил Бьорка и улыбнулся.

Улыбнулся и отложил белый ноутбук. Бьорк сел подле князя и поцеловал его тонкую руку. Князь Никита М. грустно улыбаясь молвил «это я тебе должен руку целовать» (чем смущил Бьорка).

Как всякий настоящий аристократ князь Никита (М) любит простой народ, двери его особняка открыты с утра до ночи.

A suivre.

Опять: суеверные приметы борются с чувствами души. А божественный разум как чистый снег спокойно падает. Иероглифы бога.

Вместо согласия с чувствами души суеверные приметы. Сувенирные предметы.

Objets de souvenirs то есть предметы памяти. Нашел, нашел.

И острова Пасхи (искали недавно с маленьkim Никитой на глобусе. Не с князем М., а с внуком кузины).

Это вместо – amuse-geule.

Гран-дама Оливия Семеновна (во святом крещении Елизавета) была одета в костюм фисташкового цвета. like the queen Elisabeth. Бьюк в одежды, подаренные Валери.

Одежды (подаренные и привезенные В.): серые тунисские джинсы, черная рубашка, серый (пепельный) свитер «бенетон» (кажется).

Теперь, когда у него в ските-приюте живет бг (бывший голубчик), он может себе позволить такую роскошь как новые ботинки.

Раньше жил на девушкины деньги, теперь на бг (пока не убежал из приюта и не пожаловался солдатским матерям, далее – см).

Конечно, не всегда – на девушкины (дд – девушкины деньги), иногда и на собственные. Что это значит – собственные д.

Этюд по политической экономии. Батай как (Маяковский) продолжается. Для красного словца: как Батый.

На другом витке (см. модель Татлина) спирали. Об этом роман «HIGHEST DEGREE» (the cow is dead. см. Игорь Бо).

Но поскольку в белой индии коровы не умирают, а только спят. Или погружаются в зимний сон. Une sorte d'hibernage (hibernation).

Вдруг вспомнил о той серой (чудесной) бумаге. Помню разговор со Спирихиным о бумаге.

Красная майка любовника Юленьки (воспитанницы боголюбовской обители).

Купленные на скромные сбережения (вероятно рента военного п.) синие с малиновыми ниточками носки.

Кепка как у Александра Скидана (далее АС), дубленка сына (Маруси Климовой, далее – Татьяна Эйсмунд).

И зеленый, из чистой шерсти умерших ягнят, но живых (как молоко мертвых коров). Итак, зеленый шарф – подарок Нины учителю, потом отданный матери Нины, ею переданный госпоже Б., переподаренный Бьорку.

Андерсен как никто любил воспевать душу вещей. Мечтал танцевать. Боялся пожаров. Дружил с принцем. А стал писателем.

Когда ездили с А. С. в Копенгаген, Бьорк пошел на кладбище кланяться могиле. Уже на самом кладбище началось верчение. Могилы было не найти. Захотелось в туалет. Решил терпеть как оловянный солдатик.

И терпя, и кружка, как в шаманском танце, вдруг нашел другую могилу – С. К. (далее – Кьеркегора). Успокоился. Нашел Андерсена, взял на память (с могилы) розочку.

Долгое время эта розочка («история розочки») хранилась у Бьорка в музее фетишей (ср. музей сновидений). Среди засушенных волос, ногтей, камешков (любимых).

Старшая сестра («братья и сестры») кружила со свечой перед чтением.

Маленький Никита показал Бьорку букварь и прописи. Век живи, подумалось Бьорку, а остаются – те же букварь и прописи. К падающему снегу – иероглифы Бога (ИБ).

Отвращение к бывшему голубчику: вчера, когда вернулись из театров (каждый ходил в свой), он открыл консервы. Тошнотворный запах рыбы. Роман «тошнота».

Точнее римейк романа «тошнота». Но, в принципе, можно уже, для избежания неоправданной тавтологии, не повторять слово «римейк».

Две сестры во гробе. Одну сестру – подарок Бьорку (тогда он еще не знал, что он – Бьорк) привез Митенька из Москвы.

Теперь без мистики: Бьорку подарили альбом художницы Розановой (с удивительными письмами Крученых и к Крученых). На первой странице она была сфотографирована, как в Вии панночка.

Потом много лет спустя, но которые, к слову, промчались так быстро, увидел в гробу точь в точь как на фотографии, Е. Ш. в апофеозе военной славы. Совпадение, конечно, но все же все же.

Князь Никита М. проводил вчера Бьорка до театрального подъезда. Давай

попрощаемся холдно, предложил Бьорк. И как снежный принц (князь) Никита-М. уже летит по Итальянской.

Бьорк завороженно смотрит вслед летящей фигуры снежного князя.

БГ продолжает переворачивать веник (мол де так сушится лучше). Бьорк как игумен скита (боголюбовского) решил повременить с эпитимьей, подумав о презумпции невиновности (а вдруг, действительно, лучше сушить веник, перевернув его?).

Зарыться б в глубоком сугробе (Бьорк думает о Блоке, глядя из окна на Неву: плывут льдины).

Les blocs de glace flottent.

Буду думать о Блоке, решил Бьорк. Завтра др (уточнил в Вике). Ты стоишь под метелицей дикой роковая родная страна.

БГ дуется (Бьорк отобрал деньги).

Иногда Бьорк чувствует себя Швейком, кот. пишет хронику. У последнего был полк, у Бьорка пансион (скит-приют б.).

Решил остаться в приюте (а хотел поехать дышать св. воздухом за город): контролировать боголюбовскую сироту, думать о Блоке, вести майкроблог (хроника боголюбовского пансиона).

Боголюбовская сирота вошел голый на кухню в веселом настроении, Бьорк сидел в грустно-возвышенном, смотрел на плывущие льдины.

Начал греметь кастрюлями, рассказывать, что слышал по радио «маяк» (Бьорк попросивший у Бога терпения, чтобы управлять сиротой, сидел в двух старых халатах как шаман).

Но когда б. сирота дошел до «пузырей земли» (произнеся имя «Курникова»), Бьорк не выдержал и напомнил о числе (сирота сразу сник, замолк. Тихо пошел в свою келью и вернулся с данью).

В «письмах валаамского старца» автор признается как тягостно для него быть игуменом. Но братия упросила.

Кстати, звонил ПН из сиротского института («имя Герцена»). Тоже хочет не остаться «за бортом». Змеиной интуицией почувствовал, что плетется новая повесть временных лет.

У сироты невозможный возраст (по отцу Шмеману: он пишет в дневнике, что не понятно, как можно быть м. сорока лет).

Надо бы, думает Бьорк, уже составить список приглашенных персонажей (a hint toward Proust).

Когда ездили с сестрой на залив, она призналась, что хотела бы написать пьесу. Сестра моя Чехов («и сегодня в разливе»).

У доктора Угна (далее доктор У.) обсуждали теорию нового романа.

Когда в частной переписке со Стеллой (девушка по имени звезда) Бьорк написал «доктор Унг», она поправила «не Унг, а Уgn, Саша!»

Приехала инокиня Наталия.

Инокиня Наталия угостила тирольским пирогом.

Петербургские сумерки снежные. Достал с полки Блока – издание 1923 года, Берлин, Алконост.

Торопиться не надо, уютно. На прогулку не пошел. Пил чай с тирольским пирогом, спорил с БГ (инокиня сидела и слушала).

В споре неожиданно дошли до «пузырей земли» (ими случайно или закономерно оказался Тян-Шанский. «профессор всех российских у.» и уже не в силах побороть волнение, БГ…

БГ обвинил Бьорка в принадлежности к стране, кот. ограбила Тян-Шанского.

Бьорк поблагодарил инокиню Наталию за угощение, БГ сказал, что не обижается и не сердится, а любит правду, ушел слушать бибиси.

Потом вернулся на кухню, чтобы спросить БГ, к какой стране принадлежит тот. Тот уже остыл, стал юлить и готов был идти на попятную.

Де мол, по паспорту… Бьорк же как игумен строго сказал «не юли и не иди на попятную», а отвечай честно, считаешь ли ты, что принадлежишь иной стране.

После некоторого колебания, он тихо ответил «да».

Никогда я не был ни гордым ни надменным, поэтому (и) оказался в обществе м. поэтов на Итальянской улице (в особняке князя Никиты М.): на Александр Блок-party. Первое, что заметил Бьорк, входя в комнату – парсуну Артюра

Рембо в красном углу (поэт изображен по известному фотоснимку на фоне цветов радуги как шриматаджа).

Князь Никита М. прочитал два стихотворения своих и одно – доктора Угна, Стелла искала свою любимое, где строчки «и п. с п. говорит», но не нашла, К. П. персонифицировал собой молодую поэзию.

Бьорк прочитал из Блока «я Гамлет. Холдеет кровь».

На ноге К. П. Бьорк записал стихотворение «не встречал лучшей бумаги, чем волосатая нога Кирилла П.».

Удивительные носки были у общества м. поэтов: у Стеллы розовые, у князя Никиты М. радужные, у К. П. – разноцветные. У Бьорка – не помню.

Князю Никите М. – Никита мой талисман и эталон.

Невидимыми миру чернилами (не выжигаются не стираются), а проступают при касании любимых рук и глаз слова на коже.

«Никто не хотел умирать»: когда князь Никита М. сказал «тише. Сейчас придет сосед и всех нас убьет». Стелла сказала, что умереть в таком обществе – счастье и высшее наслаждение.

Но сосед не пришел и никто из м. поэтов не был убит на А. Б. пати. Но чувство – точнее – предвкушение райского наслаждения осталось.

Бьорк спросил у Стеллы «какого рода гурии на том свете?» Стелла спросила Бьорка «кто такие гурии»?

Книга доктора Угна как чаша передавалась по кругу.

Чтобы лучше дышалось – на столе белая роза (подарок князя Никиты М. бывшему брату).

Князь Никита М. был молчаливый и грустный. Вся атмосфера встречи как школьная тетрадь была излинована в синие и алые линии.

Всп. вдруг алжирский автобус (арзамасская ссылка): арабы курили.

Договорились устроить ЯМ-пати у Бьорка в боголюбовском приюте.

Это были наброски по горячим следам (ступни Стеллы горят – она вышла из майи и летит по Садовой). Над Садовой?

Халас (конец по арабски) на данный момент.

Цыгане проснулись (или еще не ложились спать, смотрю по «он лайн»). Бьорк проснулся, посмотрел за окно (*le conte de fee d'hiver*. По русски почему то хочется сказать «Германия. Зимняя сказка»).

Хочется сказать, думается, интенция мысли, порридж слов. Любимая книга (заготовка для интервью): «Мышление и речь» ЛСВ.

«Так жили поэты и каждый из них»: опять о вчерашнем. Ключевые слова: белая роза, парсона Артура Рембо, волосатые ноги Кирилла, огненные следы Стеллы в воздухе и на снегу.

«Мой бедный мой далекий друг». Бледное лицо князя Никиты М.

Солнце неожиданно ворвалось. From other side of Neva-river. Вчерашнее уже кажется на другом берегу (так и есть – даже в географическом смысле).

Чашка с изображением гейши. Стелла легкой походкой вышла из майи.

«И заплачет сердце по чужой стороне». Вдруг захотелось отправиться на прогулку (на тот берег реки), по б. местам, к У., потом в Коломну. У. на моей стороне реки. На велосипеде (синем по белому снегу) не поедешь. А саней у меня нет.

К моему б. сироте приехала инокиня Наталия. Мне захотелось халвы и хурмы и я поехал в финский супермаркет напротив АН лавры (конец невской перспективы – бывшей просеки в лесу. Место битвы).

Вдруг как беременной захотелось хурмы и халвы.

Кстати о беременности (*pregnancy?*): когда Бьорка хотели уволить из красной армии и уговаривали написать рапорт (ср. «кассирша ласково твердила») см. выше.

Начальник отдела кадров приводил такой довод, что де это лучшая статья – «как по беременности» (быть уволенным «по сокращению»).

Язык киллеров и терминаторов (и алигаторов): язык персонажей Лескова (вести «сократительную» жизнь).

«Беременные долго не живут» (Елена Сунцова)

Помню как тетушка в костромской деревне делала пироги. Мешок муки сто-

ял в углу. С вечера ставила бродить тесто. Опара. Утренняя звезда. Русская печь. Русская речь.

Сироту отправил зарабатывать деньги. В скиту-приюте тихо и хорошо. Попил (словно) цветочного одеколона (закусил «мишкой-на-севере»).

На том историческом вечере, когда после чайной церемонии все четверо лежали на икеевской кровати, Бьорк спросил у Стеллы, нравится ли ей волосатая грудь, она переспросила «мужская или женская?».

Помянуть Б. А. в заснеженный скит к Бьорку приезжала Елена (цветочным одеколоном и пастилой как у протестантов. Ср. Тютчева «я лютеран люблю богослуженье»).

В прихожей скита висят две намоленные парсуны св. Уайльда (подарок Тимура Петровича).

Однажды сказал Рубинштейну, что родился на его улице (бывшей Троицкой – улице шляпников).

Стена чем то напоминает «карточки» Рубинштейна. «Как слово наше отзовется»: родился на улице, пишу будто на карточках.

Как то надо усовершенствовать «карточку», ср. довести до ума колесо (кузов) наше веселое ремесло (АБ).

«Но я люблю товарищей моих» – однажды И. Л. подарила Бьорку один из первых сборников Б. А.

Думал днем о Джакометти.

Роман онлайн. Хотя нашему русскому «роман» (провансальское как капуста с клюковой) он предпочитал novel из за сквозящей в этом слове новизны.

Дневник уездной барышни (дуб или уеб), это оскорбило слух общества мертвых поэтов или чуть чуть покоробило. Когда у князя Никиты М. Бьорк рассказал о проекте дневник уездной барышни (далее – уеб).

Все это было, было, было. Да. Но не в этом дело. А так же: слова, слова, слова. Суггестия. И быдло, гопники. И рафинированное: dead poets society.

Памяти Всеволода Некрасова. Это одна из фигур, благословлявших моего героя, «в гроб сходя».

Чувство, что вас вдруг вознесло на гору Килиманджаро. Где холодно и перехватывает дыхание и кружится голова (Бьорка пригласили сесть рядом с ВН на возвышение «подобное лобному месту»).

Но от самой фигуры ВН не несло холодом (скажем вежливости или надменности). Но: свет и теплота.

Когда то с бабушкой в детстве, придя на Охтинское кладбище, Бьорк впервые увидел гроб (стоящий у церкви). Бабушка рассказала, что во время войны обмывала покойников.

Не страшно ли было, поинтересовался Бьорк. Бабушка сказала, что бояться надо живых, а не мертвых.

Если бы Бьорк был (как скажем Тимур Петрович или Хвостов) богомазом, он написал бы парсуну «общество мертвых поэтов» (римейк к кинокартине).

Ирина Львовна любит рисовать ангелов, цветы.

Taggers and graffitis в своем роде.

С Всеволодом Некрасовым меня познакомил Бурич в музее Сидура.

Когда я оказался с ним на подиуме (тридцать см) как на Килиманджаро, произнес в качестве пароля имя «Бурич».

Мемуар-римейк «снега Килиманджаро»: о Всеволоде Некрасове.

У него уже было состояние надмирности, но не надменности. Между первой встречи с ним и той последней прошло лет 15. Хотя, строго говоря, была еще одна, на след день.

На следующий день, на обломках Пушкинской улицы, состоялись его чтения. В обстановке замечательной – выставки арт-брют (в том числе детей из рождественского приюта худ Барсукова).

Да, Россия страна приютов, островов спасения, скитов.

Об этом однажды сказал ак. Панченко (учитель Ирины Львовны), на кладбище, в маргиналиях похорон. Де мол в России всегда надо (было) спасаться и прятаться.

«Было» это употребление прошедшего времени в контексте похорон. См. грамматику, тема «согласование времен».

Мемуар об Андрее Вознесенском я назову «Васильки Шагала».

С моим другом Хосе (персонажем и просто поэтом) мы сидели в ресторане дома писателей («мастер и маргарита») в обществе АТ (из него помню строчку о Вийоне).

Мы сидели году в девяностом прошлого века (для мемуарной патины). Да строчка из АТ про ФВ: качается в вехах повешенный\тысячелетья минут – всегда свежайший и всегда нетленный\никто его не снимет.

Когда проходил АВ с женой ЗБ (я почему то думал, что у него жена актриса), АТ пригласил его сесть за наш столик.

«И это я тебе взамен могильных роз»: я прочитал ему на память строчки из «Васильков Шагала». Помните, «лик ваш серебряный как алебарда, жесты легки (etc etc).

Он был весьма и неподдельно тронут. В тот вечер «вся москва» шла в дом архитектора на встречу с Аксеновым. И он отдал нам с Хосе свой пригласительный билет.

Это был настоящий бал в благородном собрании. Триумфальное возвращение из Америки. Да: pena тех дней.

L'ecume des jours anciens, так назову римейк-мемуар. Даже: remarque-memoire. Так точнее.

Цитата из Верлена («полное затмение» с Ди Каприо) Je me souviens des jours anciens et je pleure.

Из него же: il pleure dans mon coeur comme il pleut sur la ville. Поскольку сейчас зима и вместо дождя снег. Мои слезы это снег. Il neige dans mon coeur comme il neige sur la ville.

Как будто «наряд»: в военном училище нашем спали по два часа или четыре (два часа «на тумбочке», четыре спиши, потом дневной, словно красавицы, сон.

Кофе на меня производит сопорифический эффект. Effet soporifique. Как хорошая музыка.

Кроме слова эффект мне еще очень нравится слово effort.

Люблю себя уговаривать, мол fais un effort, voyons.

Ночью как рыба в воде. Или в неводе (сеть). У кого то прочитал «абыр». Вот простой пример человеческой зауми.

«Последний сын вольности». Сегодня предпредпоследнее академическое «бдение». В ауд. Номер 9.

В борьбе содома и гоморры за наше сердце (гламур и трэш – на выбор) есть передышка (armistice). Богородица цветов сыплет лепестки нарциссов благоуханный снег (Хохловой Стеле).

Если бы. Нет, без «если бы да кабы» (кстати, проходя с доктором Угном в рне Староневского у Лавры, в направлении финского супермаркета, видел афишу «Кати Кабановой» (о Янчеке впервые услышал от Шлендорфа («жестяной барабанчик»)).

Если б предложили сделать книжечку, попросил бы у АБ фотографию с космоса для иллюстрации нашего жилья и крестиком на ней пометил бы нашу боголюбовскую обитель на Неве.

А пропо: АБ прошу не путать ни с Александром Блоком ни с Ахм. Беллой (наш некрореализм).

На этом чудесном снимке, сделанном из космоса, видны и Ладожское озеро и финский залив и Нева. Все в свечении.

В принципе (как любит говорить АТД), это римейк «писем валаамского старца», книга столь любимая мной. В двух экз. (один, кажется, подарил). Из Финляндии привезла однажды госпожа Райя.

С утра был звонок от расстроенной и чуть рассерженной госпожи Б. (с западной части снимка из космоса, там где дом Блока, посл. квартира, у устья Невы).

В среду было последнее занятие, будничное без звонка, а писал, что «предпредпоследнее». Иллюстрация К Вольтеру.

Госпожа Б. признала про новый антироман. Юленька, воспитанница нашего приюта, оказывается рассказала ей.

Смысл звонка: «все плохо» как название красной книги Кирилла Медведева. Учителю плохо, он стал как ребенок («но разве он не был ребенком всегда», Нет, сейчас стал хуже, капризничает).

Мышка бегала всю ночь, пыталась грызть душевую кабину, баня стоит сто шестьдесят рублей, Б. А. умерла. Госпожа Б. ожидала сочувствия и утешения.

Кстати, двадцать лет тому назад, где то на полустанке в р-не Зеленогорска (север на снимке из космоса), госпожа Б. с девицей Мариной из Львова (навешали в Комарово учителя).

Госпожа Б. сказала трагично «учителю очень плохо. Предстоит тяжелая операция. (наверное умрет). Двадцать лет тому назад.

«Смерть в Венеции. Жизнь в Петербурге», написал я когда то на розовой обертке шоколада «гейша». Посв. Паоло Гальвани.

С Еленой Андреевной мы пришли навестить Паоло в мариинскую больницу.

Точнее дело было так: я пришел первым в воскресенье, но у него уже сидела хозяйка пансиона с ВО, где он проживал. Потом, когда собрался уходить, в конце темного коридора появилась с веточкой березы.

Елена Андреевна. Был троицын день, воскресенье. Мы пришли навестить Паоло Гальвани в бывшей больнице для бедных (ныне – Мариинская). Там где умерли М. Кузмин, бабушка Бьорка.

Опыт мемуаров, римейк граммофон. пластинки «по волнам моей памяти».

Елена Андреевна тогда произнесла «Паоло, как же тебя угораздило?» (голос ее звучит до сих пор, прекрасный тембр, как в записи).

Паоло угораздило быть серьезно побитым (грабитель его привязывал наручником к батарее, угрожал черным револьвером). Паоло признавался, что прощался тогда с жизнью.

На мой вопрос «был ли грабитель красивым и молодым» Паоло, кажется, отвечал утвердительно.

Учитель отказывается лечь в больницу (стал вообще капризным как ребенок). Далее называются болезни в стадии обострения.

Потом госпожа Б. спросила «давно ли я был на кладбище». Давно, признался я, с красного лета.

Она сказала, что хочется, но холодно (поехать на кладбище). Прекрасная точность: и хочется и холодно. И снежно.

Я удивился, как госпожа Б. все прознала и про роман онлайн (боголюбовская Юленька рассказала) и про встречу на Фонтанке.

А между тем мой б. сирота разбил себе локоть (вчера поздно вечером, катаясь с горки).

Как же тебя угораздило (подражано Елене Андреевне, повторяя ее интонацию).

Вчера купил скотч, поролоновой ленты – утеплял окно в игуменской своей комнате.

В кухне скита тепло – сирота ходит голый.

От холода я две ночи не мог заснуть, вспоминал песню «цветы у дома» (про эту ледяную чистоту).

Нет, про эту ледяную пустоту. Пусть и чистота и пустота послужат худ. правде.

Кстати, эту песню любил (а может б. и любит до сих пор) Александр Д. фон Романов. Его даже прозвали «трава у дома». (опять перепутал траву с цветами).

Confusion is my style. Конечно, стиль это уж слишком, но элемент, стихийность несомненно Сумбурность мысли «встает река моих стихов».

Тревога вот мое истинное призвание, да Поль Валери, двадцать лет тому назад. Теперь еще и смятение. Тревога стала тревожностью.

Задумал цикл – опять же в тревожно-смятенном ритме онлайн – «De l'aage» (из Мишеля Монтеня – далее ММ). Старофранц. «L'aage». Помните у Франсуа Вийона En l'an de mon trentième aage.

Все смешалось. Это и есть confusion. Были прекрасные: ясность, откровенность. Прекрасные и беспощадные (nice and cruel). теперь еще и это замешательство, смущение, прекрасная путаница.

Пример: парсунा.

Вчера, вернувшись с прогулки, перебирал фотографии (как у Тютчева: только, не сидя на полу, и не швыряя их в огонь).

И не свои фотографии, а чужие (альбомы юношей). Даже позвал сироту (боголюбовского), показал некоторые из. Чтобы и он подивился на красоту сего падшего мира.

Введение во храм пресвятой богородицы, праздник Оптиной пустыни. Вспоминаю монастырь (двадцать лет тому назад) в снегах.

Введение во храм. И улица еще Введенская, где жил АБ на квартире отчима, на Малой Невке (см. снимок из космоса).

Вот АБ: родился на Неве, потом жил на Введенской, напротив Выборгской стороны, а последняя квартира, с одной стороны на б. реки Пряжка, а с другой – у самого залива, где верфи.

Снимок из космоса (А. Богуша) перевернул мои представления, вызвал замешательство. Затем все улеглось и наступила прекрасная ясность.

Вдруг (опять как б.) захотелось послушать Жоржа Брассенса.

Как все странно, странно. Страшно.

Глючила стена.

Problemes avec le mur все сложно со стеной в посл. время.

Попил кофе и затеплил восковую свечу (у стены). В том числе для тепла. Посмотрел за окно на Неву: набережная спит в электрическом сиянии.

Вспомнился снимок из космоса (сделанный Богушем). Нева, наша обитель отмечена крестиком, Ладога, финский залив. Все в сиянии.

Вчера сироту посыпал в Ашан (вид послушания) за продуктами. Вернулся довольный, рассказывал о социальной утопии, городе солнца, рожд. мишуре.

Молитвенное правило игумена невского скита боголюбовской обители.

Сопорифический кофе эффект дает себя знать.

Le general Dourakine графини де Сегюр, урожденной Ростопчиной. Madame Barakine (de Bjork).

Sel et cierges de cire, le nouveau roman.

Позвонила в скит госпожа Б. и посоветовала вымыть тщательно с солью пол и стены и обойти со свечой справа налево.

Богуш сфотографировал землю из космоса.

Реклама МРТ (апельсины и под лупой сочная мякоть). Так снимки из космоса: крестиком помечено, где наша обитель.

Опять какие то атаки марсиан на мою стену. Все заливают краской и ставят желтый треугольничек и вместо числа Зверя – воскл. знак.

Сирота вернулся с прогулки по рыхлому снегу.

Юрий Рытхэу, рыхлый снег (упражнения на аллитерацию). Опыт воспоминаний: приезжала австрийская девушка братью интервью про снег (у него).

Учиться жить в условиях помех. Хотел написать «писать». Так, наверное, вернее.

: и с любопытством иностранки, плененной каждой новизной. Кавычки. Заготовка для нового романа про новизну письма (и снега).

Патина нового романа и любовь к пасте Гойя.

Курсант Трудков чистил медную бляху и я спросил его про пасту Гойя. И получил утверд. ответ.

Сирота и я, его игумен.

Хор солдатских матерей и новое общество защиты боголюбовских сирот. И Бриджит Бордо (далее – ББ), приглашенная в Москву на встречу.

Намек и рефрен: краеугольные камни, красные нити. Вид послушания: ткать половик (как в архангельской деревне). И еще: восковые свечи.

Зажечь свечу (затеплить, в том числе для тепла в зимней комнате), включить бибиси – и не заплакать.

Пора собираться в «порядок слов» (на тему «пора мой друг пора»).

Несмотря на метель, вечер состоялся, недалеко от моей родины, на противоположном берегу р. Фонтанки. Единственно, из за снега чуть нарушился «порядок слов».

Ждали анемоны (до сих пор я их видел на картинке или принимал за сорт пионов). В артист. уборной в вазе – хурма, чай. А какие люди пришли.! О каждом из присутствовавших (в основном – писатели, поэты, мемуаристы) можно вести отдельный разговор.

«Ушла. Но гиацинты ждали» эпиграф к вечеру на Фонтанке. Надо только подумать, почему «ушла». Кто была та таинственная незнакомка, кот. ушла. Но а немоны.

Уже привык к глюкам – даже интересно, как они приходят и уходят. А «немецкий народ остается».

И вчера как в пушкинской метели, кто то (чудом) дошел, кого то пурга заставила сбиться с пути и попасть в другую церковь.

Фильм любимый с детства. На музыку Свиридова. И вчера такая же атмосфера была.

У Гийома А. есть стих о девяти читателях (без устали вспоминается). Здесь и мистическое число и не менее загадочное обстоятельство встречи. Вчера показалось, что кто-то из девяти в зале.

Госпожа Б. спросила про фразу на стенке-доске, как мальчик из сказки. В таком странном виде запомнилось *ergo stupid ergo sum*.

Госпожа Б. принесла колобок чухонского масла.

Андрей подарил золотую ручку на память.

Стол был в праздничных блестках.

Елена – *la belle Helene* – была в черном как невеста из фильма Трюффо.

Каждый – как три короля-волхва – пришел со своим даром (чудо о читателях).

Сейчас и здесь в моем заснеженном скиту, в благоговейной тишине, молюсь о читателях и каждого благодарю за дар.

К сироте пришла ученица заниматься начертательной геометрией. Его послушание – давать уроки н. геометрии.

Конечно по мере удаления от чудесной встречи (по выражению В. К.) многое будет проясняться (смысл той загадочной фразы на стене, например Дурак. Значит существую).

Госпожа Б. вся в розовом заметила еле заметно написанную синим фламастером (тонко) на белой стене.

Дураки и дороги. Метель. Гибель. Князь Никита М. сегодня велел вывесить бюллетень о здоровье (37.9). Мол не пришел из за болезни.

Дураки и дороги (далее – ДД).

«Дураков у нас нет», выражение моей тетушки.

В кофейне «Абрикосов» среди бамбука, зеркал и шинуазри (выражение Элен),

за окном феерический Невский проспект, – тихо празднуем. Доктор У. угожает (для аллитерации).

Элен обеспокоена моей «новой серьезностью». Я успокаиваю ее, мол это педагогическая патина, «выгорание» о котором говорил курсант Алексей Аришушкин. т. е.: бледно-зеленое с черным.

На св. воздухе, выполняя послушание игумена, дай Бог, все пройдет.

«И печаль и радость».

В посл. годы как утешение выпадает снег. Последние годы – эсхатологическое выражение, (почти) апокалиптическое.

Стелла едва нашла дорогу домой. Шла на золото куполов (сине-голубой собор буквально растаял в пурге). Не было сил помыться, поесть. Уснула. А когда проснулась и хотела выйти – сугробом завалило дверь.

Пора идти благословлять трапезу. Ученица (сироты) ушла, он гремит кастриолями на кухне скита.

Сегодня в Голландской церкви на Невском после шести часов.

Да, он был этот вечер. На тему «он был или не был, тот вечер». На тему (еще) нездешних вечеров и снежных утр (не уверен, что существует «утр». Но пусть). Рассветов.

Про дураков и существование. Напомню, что в разгар вечера на стене слева явственно проступила надпись про дураков и существование. Почти уверен, что многие заметили те синие строки (вдруг проявившиеся как в криптограмме проявл. текст, написанный симпатич. Чернилами). Цвета анемонов.

Когда я вернулся к обдумыванию темы ДД, смущенный и растерянный ее необъятностью и неподъемностью (как снежный ком, о котором пишет ДВ), спасительной (соломинкой) показалась фраза ЖПС «ад это другие».

Да, ад это другие (hell is other people!). А поскольку ад это (наверное) концентрированное выражение дураков (куда ведут дороги) далее мысль стала ветвиться веселее.

Во время (исполнения) молитвенного правила вспомнилось и определение ада митр. Сурожским Антонием: Ад божественной любви (далее – абл).

И то, что именно госпожа Б. (пришедшая на вечер в розовой куртке несмотря

ря на метель и в шарфе цвета персика как гейша) заметила ту таинственную фразу (*ergo stupide ergo sum. Puisque fou (donc) existe*).

Кстати, это был один из самых теплых и душевых вечеров (совсем рядом с моей родиной – домом Лидваля, известн. еще как «толстовский»).

Елена Курмеле подарила блокнот «музей Ф. М. Достоевского. – далее ФМД. – в Санкт-Петербурге.

«И белый белый снег до боли очи ест» и белизна монитора слепит самоедские глаза.

Название с детства слышимое – пьесы Пиранделло «шесть персонажей в поисках автора». Любопытно: нашли они или нет. Пример моего терпения: не удосужился узнать до сих пор, дожив до волчьей седины.

Серия автопортретов автора (то, что они очень любят). Даже я, игумен невской (боголюбовской обители. Скита-приюта), подвзывающийся, казалось бы, в созерцании бесплотных сил (*a suivre*).

И то впадаю вдруг во внезапное созерцание собств. отражения (в «порядке слов», в артист. уборной, где в ожидании вечера пил чай из зеленой кружки и ел хурму).

Конечно, элемент неожиданности как на войне (в искусстве).

С другой стороны, художник Хвостов, упражняясь многие годы в искусстве автопортретирования, может быть – таким окольным путем, дошел до самоизбавления.

Помню его выставку на развалинах константиновского дворца, под лестницей (не знаю как правильно называется арх. деталь. Прекрасное место и удачная выставка. Фотография «на память»: Хвостов, Спирихин, Глюкля, Цапля, Бьорк. Под дубом).

Да, а мы долгие годы избегавшие собств. отражений как генералиссимус Суворов Александр Васильевич, вдруг находим себя в артистической уборной (перед зеркалом).

Вспоминаются старые строки из стансов к Малибан.

Кофейная пауза (пока в скит не приехала инокиня Наталья с визитом. варить борщ моему сироте).

«Моему сироте» борщ потому что редко соглашаюсь его отведать (вкусить)

ибо должен соблюдать священноначальственную иерархию. Хотя и часто трапезничаем вместе (за столом Райскиных). Но едим по уставу все раздельно.

«Жизнь без начала и конца. Нас всех подстерегает случай». Так случилось, что эта фраза стала сакрментальной. И теперь, когда сочиняю римейк «писем валаамского старца» (усл. название Highest degree) etc etc и главное – продолжение цитаты.

Вчера вечер у доктора У. у костела (наполнить текст гудением).

Елена убежала как мадам Б. (кстати, третья Б. уже).

Также и с Димами было: Селиванов, Улитовский, Конокотин и даже четвертый как рим Ильтубаев.

Новые цифры и имена. И девять читателей как триста спартанцев. Фонтанка и Фермопилы (буква ф).

Летом сирота приносил полевых цветов с прогулок в промзоне. Я ленился привозить с летней резиденции («из «Березки», игуменского имения: пионы, нарциссы, тюльпаны, турецкую гвоздику, гладиолусы»).

Есть цветы, называемы по французски *les capucines* (как мы – монашествующая братия). Оранжевых оттенков, малиновых и желто-лимонных насадил под яблоней, вишней и сливой.

Жанр «стена» форма – записи, «слова». Здесь опять – и Сартр и Жан Жене. Богородица цветов. И Хлебников неизбежно (труба гульмуллы).

Это не дневник. Может быть майкроблог из за красоты и необычности слова. В смысле, что хоть горшком назови. Майкроблог и есть тот горшок.

Когда автор сочиняет это всегда горящий куст (для кр. словца – говорящий).

Показалось немного странным и в то же время сразу нашлось объяснение – дидактичность и афористичность (мнимые, конечно). Дидактичность понятна из за пед. практики. «Не объясняйте» был завет учителя.

Таня сказала, что учитель расстроился, узнав о том, что я лишился педагогического места (полставки преподавателя английского языка в бывшей медико-хирургической академии).

Женские голоса: учитель сказал Тане, которая передала Елене Курмелю. Ретрансляция. И это сквозь пургу, помехи.

Архимандрит Н. сказал, что надо менять послушания. Obediences.

Как А. А. прошу поставить во дворе бывшего Воспитательного дома (им. Герцена) памятник толстому мальчику, кот. я заставлял переводить из «клиники и критики» далее КК Делеза).

Напоминание «Сегодня день рождения Дмитрия Кузьмина». С днем рождения, дорогой Дима!

Mieux vaut tard que jamais! Посылаю и другому Диме (вообще тема Дим) поздравление с др. С другой стороны, поздравил его в «порядке слов». А помнится, (...) лет тому назад отмечали его др в периховском обществе на Морской.

Да, кстати, о порядке слов. Один из читателей написал мне, что «хотя и было немного людей» – мне вспомнился вечер в Голландской церкви, где мы читали с Сергеем Бехтеревым и боголюбовскими сиротами из БВ.

И мне вчера во время прогулки вдруг четко представились параллели между «чеховскими мотивами» – сценой в церкви и нашими вечерами. В том смысле, что наши вечера были похожи скорее на богослужения.

Т. е. a rebours (посв. Вячеславу Кондратовичу).

Как Жана Жене одолел какой то пассеизм.

Да, Андрей, и намеки (Посв. АБ).

Когда прохожу мимо армянской нашей церкви вспоминается АБ (когда то как в пушкинской метели мы были с ним случайно там повенчаны).

Вчера в скиту молились о князе Никите М. (лежащем на постели болезни).

Стелла и ее сурок Ники (фотография эпохи возрождения).

Когда читатель из середины зала (по имени Александр Сергеевич) спросил про Андре Макина, я тогда не сообразил сказать (а точнее не вспомнил о его романе про Ольгу Арбенину).

Имен как снега намело. Все это иероглифы Бога. Кстати про Айги: однажды мы разговаривали с ним в музее Блока.

Была выставка художника Улангина (далее – худ. У). У меня хранится его работа «философ».

Что тогда сказал Айги? можно сказать, что «не помню» и это не важно. Но, даже молчащая фигура писателя говорит много.

Но я помню, что он тогда сказал. Я спросил его про Елену Андреевну. Вернее, поделился с ним своим «открытием» ее (вдруг она открылась мне на чтениях в фонтанном доме). «А правда, что» спросил я у него. Он ответил «о да!» и сравнил ее с Еленой Гуро (для Геннадия Николаевича это высшая степень сравнения) и сказал, что хотел бы организовать фестиваль.

Фестиваль женской поэзии по линии финляндской железной дороги (с такими именами: Эдит Седергран, Елена Гуро, Анна Андреевна, Елена Андреевна).

У меня есть проект. Мне нравится слово «проект» из за необязательности осуществления. Проект например написать агиографическую брошюру или брошюру по изучению иностранного языка. Потому что учебник пишу.

Можно сказать «учебник уже написан». На вечере в «порядке слов», похожем на службу в молельне поморской общины, я показывал один свой учебник (*Idees, cadeaux*) написанный для Даши Алпатовой.

Второй свой учебник (в соавторстве с госпожой Лукрецией Уокер) забыл показать. Написан специально для курсантов и слушателей медакадемии.

У доктора У (у костела св. Екатерины) видел записную книжку с иллюстрацией Карла Шпицвега. И вспомнил (как помните «я Брамса услышу»).

В свое время Василий Крючков мне привез из Германии альбомчик Карла Шпицвега. Zwischen Resignation und Zeitkritik. Это и есть настроение нового антиромана.

Как сказал профессор Rybalko (из американского университета, Сэн Луи) «кто говорит «постмодернизм» ничего не понял в постмодерне.

Как сказал св. праведный Амвросий Оптинский «кто разговаривает во время службы, тому Бог посыпает скорби» (фраза-римейк из «чеховских мотивов»).

Сироту благословил сходить в цирк с инокиней Наталией.

Сам был в балтдоме (как балда – для аллитерации). Но je ne regrette rien. Хотелось посмотреть артиста Володю Баранова.

По дороге видел собак хаски. Театр лежал в сугробах. На ступеньках ждала Люба.

В театре-амбаре я не был давно. Представление было на малой сцене. Фею играла несравненная Ирина Соколова (Геббелльс в фильме Сокурова, актриса Элеонора Дузे в (...)

Люба это мать Аленки (она говорит «мама как ребенок»). И я решил сходить с Любой на детский утренник в балтдоме.

И не пожалел. Поблескался сталинским ампиром (сравним с театром Советской Армии). Публика! Дети из интернатов, не было только солдат и суворовцев, нахимовцев, кадетов.

Люба ела орехи во время спектакля, смеялась, разговаривала, так что иные серьезные дети на нее смотрели с укором.

У Любы перевязана рука – она работает сиделкой и дворником в богатой семье. «Убирала снег», показывает синяк на запястье.

Аленка уехала на заработки в Москву (нашла место бутафора в театре). Аленка мастерица (со Стеллой они работали вместе в пермском театре оперы и балета).

Она делает маленькие книжки. На выставке в фонтанном доме ее книжки вызвали восторг.

С Аленкой у нас проект (типа театра ампир и маленькой сценой в нем).

Аленку я нашел в мастерской Глюкли (там она шила, танцевала). Однажды она показала мне удивительное издание (книга побывала в морской воде, синевозеленой, просолилась, потом Аленка обожгла ее).

Не помню какой был текст (какой то роман, кот. Аленка читала в Крыму). Представьте красную книгу в твердом переплете побывавшую в зелено-голубом соленом, потом в огне. Черное белье (как у студента).

Сначала меня (сурowego валаамского старца, строгого игумена б. невского скита-приюта) смущала любина непосредственность (полузгайте семечек), поведение во время спектакля, где даже дети (етс етс).

Потом мне стало весело. И когда спектакль закончился и мы с Любой вышли на улицу – другой спектакль – СПб бай найт. Новая волна восторгов. Вспомнилась та муз. педагог из детского сада, полковничья жена.

Римейк «простого сердца». Опять же, если надумаетеставить памятник моим студентам в им. Герцена, отразите на нем детей, читающих «простое сердце». Особенно Романа. «Аристотель пришел, можно начинать», пошутил Бернар однажды.

Я пригласил Бернара почтить студентам из Флобера (в тот день пришел один Роман. Он ходил почти всегда. И Бернар, видя мое смущение, сказал «Аристотель здесь, можно начинать»).

Да, пережил все волны восторгов детского и женского любиного сердца. Любу отправил в сторону музея сновидений доктора Фрейда (это не каламбур, а проза-

изм: в доме, где она ночует нах. институт психоанализа, при нем – музейчик сновидений доктора Ф).

Некоторая усталость от прожитых дней (просто фраза. Как на уроках шитья или вышиванья).

Все-таки мне интересен Даррел тем, что воспел Александрию и Кавафиса.

Практически римейк Александрийского квартета (но не читал одну из четырех). При всей, казалось бы, удаленности от города и автора. Но все же все же вспоминается. Именно вышиванием восторгов и вздохов.

После спектакля про «сказочное королевство» сам оказался как будто в сказочном из-за иллюминации. Белые ночи наоборот. Всеискрилось и сверкало. Проходивший итальянец сказал «белиссимо» и мы с Любой это слышали. Холод и красота.

«Каждый раз после бала веселого возвращаешься без головы». Мой король вы теряете голову. Видел проезжавших в карете королей. И финскую королеву.

Вернувшись в скит, прочитал в ленте новостей, что пустили поезд (типа TGV) между Хельсинки и Питером. Аллегро назвали.

Найти место у Иезикииля, где говорится («кто живет подолгу на одном месте, тому простятся многие грехи» на тему «кто разговаривает во время службы»).

Будни игумена Боголюбовского (далее – б.) невского скита-приюта. «Утро помещика». У Федотова «утро аристократа». Утро сироты б. приюта. Игумен ходит в двух халатах, сирота как Адам (до грехопадения).

Сирота послан в Озерки (послушание – преподавать начерталку).

А пропо: однажды одна сестра Белова сказала, когда я употребил слово «болванка» (я от Вас не ожидал! мягко, но с укором).

Болванка, начерталка. Милые такие слова.

Я люблю слушать речь. Так раньше я любил гулять вдоль моря (когда жил в Одессе).

Сейчас главное послушание (*obedience*) – писать роман он лайн. Это по сути продолжение исследования речи. Театр. Кинотеатр речи. Розанов, Гольдштейн. Монтень («замахнулся на старика М.» скажет мой сирота).

Николай Кононов

ТРЕХЧАСТНЫЙ СИБЛИНГ

*Часть первая,
длинная*

Теперь все эти люди настолько далеки от меня, что на самом деле их попросту нет, и с этим связано мое чувство свободы, и я могу нынче описать ту нашу прошлую жизнь, где было много чего интересного во всех смыслах. А в каких смыслах? Во всех, в бытовых, во-первых. Наша жизнь была вычурна и поэтому интересна до сих пор. Начать хотя бы с того, что мы жили втроем – *она* одна и двое нас, и еще один приходящий, точнее, наезжающий из еще более южного поволжского городка в более северный, если так можно говорить о нижней Волге. Мы странным союзом – то квадригой, то триумвиратом снимали очень плохую двухкомнатную квартиру у Стива, кандидата наук по Бабелю, он был главою скучнейшего архипорядочного еврейского семейства. До того – они, то есть еще лишь *она*, *он* и дитя снимали другую квартиру, а я, я-он, был приходящим платоническим третьим и совсем не лишним. Я водил их ребенка от еще другого брака в садик, носил продукты и алкоголь.

Однокомнатная на девятом этаже двенадцатиэтажного дома, угрюмого, как силосная башня в степи, упертая в небеса.

Окно в восемнадцатиметровом параллелепипеде зияло, как язва желудка, и кровоточило закатными вечерами.

Да-да, я имею право это рассказать, ведь когда *она*, то есть ты стала знаменитостью, примой, случайно встретив меня, ты сделала вид... А какой вид? К какой-то... Усталой экскурсантки. Да и господь с тобою – у всех все разное теперь. Я тут же отметил про себя: ты пополнела, отяжелела и провисла и стала теткой. Это была полнота – не пышность, веселящая мужской зрачок, а наполненность. Я увидел все, что ты съела за то время, которое уже прошло. И по этому гастрофизическому признаку я понял, что прошло его много.

Эту однокомнатную, пока я еще не стал совсем третьим, а был просто нелишним, снимали у странной, опять-таки, троицы девиц. О это магическое число три. Тем девицам было возле сорока, но именно девицами они и оставались. Вечные заочные вузовки. Рывки в Ленинград, Москву и прочим искусствам.

Когда все закрутилось, я сожрал девичью банку меда, тоскующую на антре-

солях. Там же, а я был любопытен, как мышь, была найдена общая тетрадь со стихами. Помню только из одного, ощетинившегося восклицательными знаками:

*Вот! Ты! О! Стойная! Береза!
В снегу-та-та-та та-та-та!
И ноги гладила тебе...*

Совершенно белые стихи.
Все понятно.

У нее была какая-то закавыка с одной из них. Но мне это все равно.

Когда девицы прибегали упряжью, борзой тройкой, проверять свое хозяйство, то три стула мы чем-то несъемным занимали, чтобы они не залезли на антресоль, где лежала их разоренная коновязь. Где мед когда-то помнил их неумолчное пчелиное гудение и конское хрумканье. Теперь в антресолях жило беспамятство. Банка была промыта до слез, как вдова. Я выливал в нее чай, пока не растворил весь сладкий налет. А что? Ведь мед – это налет пчел.

Запомните, трехлитровая банка содержит четыре с половиной килограмма темного засахарившегося гречишного меда. Девственники, монахи (люди созвращенной девственностью) любят сладкое, а я тогда был девственником.

Мы втроем любили сладкое, ведь непорочность была и твоим главным качеством.

После меда был укорочен и раскладной диван, часть горделивого девичьего гарнитура, но я еще не участвовал в его окороте.

Со дня на день мы ждали тройку борзых.

С диваном же история случилась небезинтересная. Его раздолбала пара друзей – профессор Баксин, доктор философии, спец по материалистической теории времени, темпоралист, и лучшая подруга, конечно, ее, Любаша (соискательница философского чина). Вместе они весили на сорок килограммов больше, чем выдерживал диван в позиции спокойного старушечьего сна.

Итак, мы снялись среди ночи.

Книги, уложенные в мертвый холодильник, были перевезены заранее.

Диван в меду – любимое конское лакомство – терял последние винты сам по себе.

Три мешка с чайниками, тарелками, наливной резиновой грелкой и прочим переменчивым скарбом звякали на всю темную округу.

Их жизнь, а потом и моя так и стоит у меня в памяти посудным звоном.

Колокольчик, дар Валдая, утомительно звенит.

У них ничего своего не было. Все кто-то что-то дарил. Валдай, например, – электрочайник со свистком. Стив – медный пестик. В ступке его иудейская жена что-то глупо копила.

Еще тема накопления и жадности вступит гнетущим лейтмотивом в нашу мирную историю.

Мы поймали маленький автобус, состоящий вообще-то из дребезжащих фрагментов, они держались шумной компанией только благодаря матюгам пьяного

шофера. Сильно пьяного, как говорится, – в сиську. А почему «в сиську»? Ученый, а он был ученым, сказал, что это в структурализме означает оборачивание в младенчество, близость к молозиву, к утробе, и разве вы не заметили, что все пьяные, сильно пьяные спят в эмбриональной позе. Нам – ей и мне еще не хотелось этого замечать, так как до Стивовой квартиры мы пока не доехали, точнее, не докатились, ибо она была под горой. Мы катились. И если бы не фаллос столба, мы бы оказались в Волге. Но а так как столб все-таки был, мы оказались вторым на вполне целом Стивовом диване.

«Не уходи, так поздно».

Сначала он любил ее, а потом я ее тоже любил. В первый раз в своей молодой жизни. В соматическом смысле, конечно. И надо сказать, что он мне немного помог – и словом и телом. Если руку считать телом тоже.

«И огнь дымящийся водвинул».

Так мы и зажили, тем более в садках русской культуры Серебряного века этот нерастворимый тройственный осадок выпадал сплошь и рядом. Как чешуя на дно аквариума. Мы не были первопроходцами. Надо было только принадлежать культуре, ну хоть и не Серебряного, но, по моему ощущению, свинцового века уж точно.

У границы туч ходят хмуро. Край свинцовый тишиной обят.

Мы все писали. Сделайте точное ударение в последнем слове. Тогда еще нечто и кое-что, но уже не ничто.

Все завязывалось более чем удачно.

Ребенка от первого недействительного мужа было кому отвести в ближнюю школу, встретить-накормить и проверить дебильные уроки – дитя в первом классе преуспеяло.

Вечером наша беспокойная жизнь превращалась в семинар – то философский, то литературный, то кулинарно-алкогольный.

Мы становились, ну не знамениты, а имениты.

На нас пялились и показывали пальцем, подбородком и бровью.

Про нее я могу сказать словами, слышанными мной через много лет от одной нелепой тетки, с какой она, та она, состояла в «штопоре»:

— «Эбеновая статуэтка», «серебро и немного горного хрусталия».

С теткой я пил шило у знакомого физика-оптика, ставшего к тому времени отцом – то ли Силуаном, то ли Интегралом. Отец Интеграл отпускал грехи. «От и до». Показывал он на голову и пятки. «По де икс» – крестил он себе зиппер на джинсах. Веселый поп – оптоволоконный лоб.

Я ее не встречал уже много-много лет...

А пока жилось нам весело, укромно и уютно.

Иногда появлялся наездами третий, то есть в общей сумме четвертый, и я

уходил ночевать к себе, по-настоящему домой. Там настоящие мои, повздыхав, снабжали меня съестными припасами, готовыми к употреблению – пирогами, вареньем, курямы. И еще почему-то всегда крупой. Я столько ее перетаскал, что хватило бы на прокорм виварию мышей во время долгой оккупации.

Мне все было смешно.

Тогда.

Если бы не сплошные неудачи, преследовавшие первого *его*.

Иногда они висели над всеми нами не дымом, а вонью пожарища.

Где погорело все – и «Слово о полку», и вообще все слова обо всем.

«Я слово позабыл, что я хотел хотеть». Он в такие дни становился чистым сгущением, сгустком вековечной печали. Ему не давали:

— публиковать статьи,

— ездить на конгрессы,

— защищать диссертацию по гениальной всеохватной теории «мироощущения».

А ведь она, эта теория, дает ключ ко всему, и к мирозданию тоже. Я тогда в это истово верил. В его мироощущение.

Но все дело заключалось в том, что он был жуткой занудой. Как говорят теперь – по жизни. Он канючил. Он сам в себя не верил, и когда появлялся где-либо – от библиотеки до жэка, то первое естественное желание было сказать ему: нет, уходи, воздух при тебе скисает.

О мое кислое фундаментальное несчастье, кем ты мне приходилось, если у нас было одно ложе и одна жена между нами?

Все-таки мы были как-то породнены.

Не так ли?

Ведь это долго тянулось, и ты, невзирая на свое сыворотное страдание, был великодушен ко мне.

Как мы делили твою по закону эбеновую статуэтку?

Тебе – серебро, а мне – хрусталь.

Эбен поровну.

Или наоборот?

Иногда в нашу устоявшуюся жизнь заходили названные события. Они входили, выражаясь высокопорно или высокопарно, как смерч в – пропилеи.

Не тронув ничего или порушив все.

К безобидным явлениям относился рев и рык настоящего биологического отца дитяти. От этого, с позволенья сказать, «папули» мы легко отбояривались. Просто я или *он*, не тот он, скандалист, а другой, наш *он*, бежали в ближайший винный отдел, а уже потом бежал тот он, пришедший сильно поскандалить.

— Ведь я, мужики-понимаешь, все-таки отец-понимаешь.

— А кто спорит, – говорили мы, разливая вторую.

— Да, вы – мужики-понимаешь, вы не извращенцы.

Извращенцы понятливо кивали.

— Что это-понимаешь? – вопрошал он, тыча себя перстом в клокочущее горло, ослабляя косой узел на глупом галстуке. Всхлипывал и добавлял:

— Способ существования белковых тел-понимаешь.

Биоотец лил чистые мужские слезы над своей позагубленной жизнью супруга и доброго папы-отца.

Это ничего, думал я, ведь жизнь могла быть и порубленной.

А бывало, что наши бедные шаткие пропилеи падали и пугали нас, пока однажды всех и вовсе не завалило, и мы не посмели друг на друга больше посмотреть.

Как у хорошего начитанного шизофреника, у другого него фазу уныния сменило плато отчаяния.

И он обитал снежным тоскливым человекоподобным в этих перевернутых горах, не выходя на равнину обычной человечьей жизни.

— О пять моих обширнейших монографий, двадцать пять моих фундаментальнейших монографических статей! Все сгорело, как «Слово о полку». Это никому не нужно. Ни единой душе в целом мире...

И он смотрел на нас.

Потом, конечно, оказалось, что монографий нет вообще, а статей в несколько раз меньше, чем заявлялось.

Наш грустный-грустный ослик Иа. Как мы жалели тебя. Тебе не везло больше всех.

Даже если мы умеренно выпивали, ты блевал, как Самсонов лев в Петергофе, и страшный рев раздирал твою пасть.

Про себя вторую фазу нашего выпивания, когда ей и мне становилось просто весело, я называл «петерблёв» в честь фонтана, сокрушающего тощие стены Стивова сортира.

— Ну почему мне так плохо? – вопил ты, почти плача.

И нам становилось тебя жалко.

Через год эта пластинка стала мне надоедать.

Когда он в очередной раз спросил «почему?», я ответил:

— Да по кочану.

А ей я сказал:

— Не могу больше есть эту ветчину.

Ну, это просто так, шутки ради.

А дело в том, что к тому времени наши отношения усложнились, так как я с ней стали ему изменять. Это довольно забавно при нашем марьяже де труа, где я оставался одним кормящим мужем, так как *она* и *он* ради науки с культурою бросили вообще-то непыльные мирные необременительные службы.

Мои перипетии доходили, сильно запыленными, до моей настоящей семьи, и, нагрузив меня теплой снедью, мама не удерживалась и, сморгнув слезу, причитала по-простонародному из дверного проема. В голосе ее дрожало тихое неподдельное отчаяние:

— Ты козел.

С лестничного марша я посыпал ей свое сыновнее:

— Ммее...

И я поспешал на площадь перед кинотеатром «Победа» на штурм проклятого трамвая.

Лютые двери двадцать первого сдвигались, как судьба. За морозным стеклом предметы переходили в окраины, а окраины в выселки, а потом и в задворки. Там обитали мы.

Вообще-то, поезд и трамвай как его жалкая разновидность сыграли некоторую роль в нашей истории. Они словно опускались с небесных колосников в те моменты, когда рыбина нашей судьбы лишилась последней чешуи. Высокопарно? То-то и оно.

Старая дореволюционная реклама паровых мотовил на фасаде конторы «водоканала». Мимо этого здания мы всегда проходили, гуляя, и всегда разглядывали этот пропоезд, словно запечатленный робким художником неолита.

Трамвай, на котором я ездил на работу, и, наконец, сам поезд, в чьем чреве и произошла роковая измена. На перегоне между Жирновском и Урюпинском. Трагические, знаете ли, места. Степь да степь кругом.

Все случилось в нечеловечески чистом спецпроводничьем дортуаре (не могу применить к этому оборудованному чистейшему месту для перевозки двух зайцев слово «сортиру»). Там был даже кактус размером с пенис.

Под стук колес без слов, без слов любили мы друг друга.

Твое тело – из чистого эбена.

Ты молчалива.

Ты что-то гудишь низким грудным голосом.

Больше всех слов на земле я любил тембр этого гуда.

Мы ехали к нашему четвертому, отдельноживущему другу. Понизу помещенница шел жирный сквозняк – он прилипал к ногам. За двенадцать часов дороги я продрог так, что, приехав, сразу заболел, и в светелке у нашего четвертого пролежал несколько печальных дней. В тряпичном старушечьем закутке.

Они без меня, так как я стал заразным, занимались любовью. Наша жена стенала в низком утробном ключе, до полного истирания этой дрожащей звуковой жилы.

Канифоль кончалась у нее только под утром.

В обратном плацкартном мы лежали стерильно друг над другом на боковых местах – головой по ходу неспешного вонючего поезда. Как символ безопасного секса. Тот туалет казался мне парадизом.

— Мастерица виноватых взоров, – шептал я, свесившись, ей, лежавшей на шестьдесят пять сантиметров ниже. Она молча улыбалась. «Ну ты и похотлива, аленьких впускательница свеч», – говорил я про себя, неправильно склоняя эти злосчастные «свечи».

Для того чтобы допереть до этой мысли, мне понадобился год с лишком.

О трижды плотно утрамбованная утроба!

О трижды глупый пестик!

Она вознамерилась пожить с тем, который был далеко.

В гавани глупого дивана я остался с другим.

— Почему мне не везет, как тебе, хочу я спросить тебя откровенно? — сказал он, коснувшись моего плеча.

В полуверсте пророкотал первый трамвай, как дальнего грома раскаты.

— А ты не волнуйся, и никогда не перепутаешь снятую перчатку с левой рукой, — сумбурно процитировал я строку из святыни. В дверном проеме. Но до него не дошла это скрытая цитата.

Надо честно признаться, что наша речь была центонна.

— Ты отвесь прохожим на вокзале пригородном вежливый поклон, — говорил я потной замусоленной продавщице в овощном, когда она выныривала из аспидного нутра подсобки, как гусеница из гнилой репы.

И жить становилось гораздо легче.

Цитату из задорного Павла Васильева никто не узнавал. Особенно продавщица.

— Чёй-то, частушки, чё ль? — щербато улыбалась тетка, торговая душа.

И в этот момент ничейные перманентные дисперсные проходящие часы становились моим неотчуждаемым прошлым.

Что бы сказал на это наш профессор-темпоралист, доконавший кибитку дивана у тройки борзых девок на той квартире? В Стивовы конюшни мы его не звали. Этого сексуального Геракла. И без него все было довольно хрупко, безденежно.

А он был скуп — ни горошины на суп.

Для вечеринки — ни маковой росинки.

Однажды наш первый *он* опять заныл:

— Я никогда не стану кандидатом...

Каких именно заунывных наук, он говорил мне уже в дверной проем.

Да, с занудой все понятно, хотя бы потому, что его легко спародировать. Найти таким вот образом его явный стержень — примитивную зависть, тускую трусость, боязнь выбора и в результате ступор и пароксизм. Ведь когда-нибудь могут и не отказать. Но что тогда делать. Ведь бумаги придется собирать, мысли сложить, ссылки соотнести со сносками... А вдруг ничего не выйдет, и он в ужасе уже тайно подозревал, что вот-вот выйдет. То есть критическая масса отказов и неудач, та самая риска последнего «нет» была близка, и на горизонте нагло маячило «да», согласие, выигрыш и перспектива.

Фанера в мехах.

Апперкотом в самую физиономию: «Да ты получишь то, чего больше всего боишься не получить, и больше всего боишься, что перестанешь этого бояться...»

Но вот ее поймать на кончик пера гораздо труднее. Потому что главное ее качество было ускользание.

И однокоренное слово к ней, к нашей *ней*, — сквозняк. Она ведь все время сквозила: если смотрела в глаза, то так, что взора ее нельзя было поймать. Такое чувство вековечной вины, такая череда признаний, где одно подталкивает другое,

такая бесповоротность, грусть и ласка, что через миг мне этого уже не выдержать.
И я сглатывал вмиг пересохшим горлом.

Она была родом из Тамбова – Тамбовская казначейша.

Была ли у нее казна – вот незадача...

Но прекрасный эбен, из которого она была сробыена, и тихая ненасытная податливость в любви. И глубокий такт – во всем. От простого физического до сложного душевного.

Ну что я излагаю историю своего чувства. Что мой краткий конспект против библиотечных полок – шпаргалка против синклита экзаменаторов.

К тому же она все время, кроме ночей, была больна. И оставлять ее наедине с хворью или занудой мне не позволяла совесть. Боли в основном гнездились за грудиной.

— Мама, что же делать с этой болью? – восклицал я, получив очередную порцию теплых шанюшек и пампушек.

— Драть.

— Так мы дерем, мама.

— Драть, не пущать и плакать не давать, – выпалила мама, добавив: – ну, козлы.

— Ммее, – откликнулась моя животная сущность с лестницы.

Я так и не знаю до сих пор, что мама подразумевала под глаголом «драть», и если бы она употребила «лупить», то ясности не прибавилось.

Одним словом, мы стали лечиться.

У нуууочень интересных врачей.

ЭКГ, УЗИ.

Сто процедур возьми.

Моя мошна стала давать течь.

И вот тут возникает новая блестящая тема, ее раньше не было, она не планировалась, не ожидалась и даже не снилась никому из нашей троицы в самых безоблачных или дурных снах. Сны мы, кстати, всегда трактовали и обсуждали – по Юнгу.

Ну скажите, чего не было в наше милой семействе, в марьяже де труа, точнее, в сиблиинге?

Правильно – золота.

Его жирно-телесного блеска.

Ведь было почти все, кроме золота.

Поначалу и жизнь казалась золотым дождем, но это ведь – символ, знак смены Зевса. Ведь мы так дождили нашу эбеновую Данью. Две дождевальные установки на поле другого пола.

А приключилось вот что.

У *него в начале нашей* круговерти умер отец.

Отец-доцент, не живший с сыном,
Зато с виною перед ним.

Так можно было начать эту балладу.

В ней, кроме вины отца, оказалось много чего, кружавшего голову: винные пары жадности, пропитавшие все в жизни отца-доцента, укусные пары самоедства, источаемые доцентом-сыном, который к тому же доцентом не был.

И в этот фиал просыпалось золото – из старого валенка, куда его, обернув каждую блескучую цацку в навощенную бумажку, будто она может поржаветь, последние сорок семь лет своей жизни набивал доцент-отец.

— Ключ-сарай-дача-валенок, – только и смог прохрипеть умирающий склонившемуся над ним первородному потомку. Злая и еще более жадная мачеха, с которой доцент-отец не был, кстати, даже расписан, ухо держала востро. Но что она могла услышать?

Фортуна повернулась к ней неряшливым задом, как избушка к глухому лесу. Итак, доцент-вдове одиннешенькой предстояло коротать остаток дней в трехкомнатной юдоли слез на волжской набережной.

Все это нашей семьи не касалось, кроме финансовой стороны упокоения доцента-отца. Ну поплакали, и будет. Жить ведь все равно лучше, чем не жить. А тут эти непреходящие боли нашей дорогой жены. Мы тогда с ней про аурум ничего не ведали. Телеграмма на бланке «Ключ-сарай-дача-валенки» была адресована вовсе не нам.

И вот ближе к лету очередной невропатолог-дэндролог-климатолог неумолимо выписал рецепт: на сигнатуре значилось «Kurort. Tridzat' dnej po tri edi».

У меня не было таких денег. У матери я занимать не стал, так как не отдал еще те, что занимал на пристойное погребение останков доцента-отца.

Он очень выразительно-грустно молчал, взглядывая на меня. С укором. Я мучился и страдал. В постели толку от меня стало меньше, наверное, на ту сумму, что я не мог раздобыть. Да, ничего не проходит бесследно, и если в одном месте убудет, то в том же самом месте, но на пять сантиметров левее, убудет еще на столько же. Это неумолимый закон «Сохранения чужого везения путем увеличения чужого невезения».

Жизнь дала течь, брешь и трещину одновременно. Грязная забортная канализационная жижа заполняла Стивову жилплощадь, что поначалу казалась мне прозрачным аквариумом. Немытые окна, свистящий бачок в сортире, вечные жалобы и молчаливое страдание нашей благоверной, благонравной и благой.

— Да она у вас блажная, — моя мама тоже стала диагностом.

В общем, все было очень плохо, бесповоротно и беспробудно.

В нашем доме теперь порождались только мрачные макабрические тексты и непечатные танатологические трактаты. Все это можно было публиковать только на надгробиях, высекая. Половина летних месяца мы жили предсмертно.

Я замечал только две остановки трамвая – первую и последнюю. Все буквы надписей «вход», «компостер», «контроль», «талоны» выкладывались в слова «деньги-курорт-болезнь-страдание».

Я заболевал сам.

В одно из утр я должен был оставаться в постели, и он, полный печали, принесет мне еще одну резиновую грелку.

По обоям проползет клоп между двумя полосочками, как красный трамвай.
«Осторожно, двери закрываются».

Это было печально, как крематорий,

*Где загнивающие укрепленья
В кореня превращаются в печи.*

И вы сейчас провоете на два голоса. Ее низкий и скорбный, его – унылый и жалобный:

*Там те, кто, убоявшись погребенья,
Багряный погреб предпочли.*

Это про нас. Это до сих пор стоит у меня в ушах.

— Да сходи ты, наконец, в бакалею, купи три граненые бутылочки уксусной эссенции. Ведь все всем остоебло...

И он пошел, так как был человеком порядочным, во-первых, а во-вторых, не терпел обсцентную лексику.

Тут следует припомнить один небезинтересный, хоть и зимний, эпизод.

Однажды мы втроем ехали в какие-то экстравагантные гости, где намечалось чтение ее новых переводов из вагантов. Экстравагация. Мы были несколько торжественно настроены. В полупустом морозном вагоне, залитые, как клецки молоком, мы улыбались друг другу. На остановке в вагон впихнулся мужичонка, мелкий и стертый, как фараона вощь, пьяный в последней стадии, когда до падения – рукой поддать. От сивушного матра и солидольной вони мы солидарно перестали улыбаться. Ты сказал:

— Вам в таком состоянии лучше выйти из вагона.

А ты тихо и скорбно проскандировала:

— В торжественную тьму уносится вагон.

И ты печально откликнулся:

— Я опоздал, мне страшно, это сон...

— Это я сонь?!? – проорала, как в плохом анекдоте, пьяная работяга. – Это, твою мать, рабочий класс – сонь!!!

И ты стал выкидывать его из остановившегося вагона прямо в торжественную тьму. Но мужичонка, попервости оказавшийся в снегу, воспрял, и из скульптурной позы «бульжник оружие пролетариата» бросился на отъезжающий трамвай. Целый перегон он висел на входной закрывшейся двери, удерживаясь лишь инфернальной силой ненависти ко всему непролетарскому. Его побелевшее расплощенное о стекло лицо – зрелице, от которого седеют, как бурсак Хома в повести «Вий». Но побежать за нами он уже не смог. Вся его сила ушла на классовую ненависть.

— Вот настоящая экзема экстаза, — сказал тогда я, когда мы отдохнули.
Такая вот зимняя история о ненависти к культуре.

Но вот *он* пошел... Но не за эссенцией уксусной кислоты, которой в нем и так было предостаточно.

Он пошел, чтобы вернуться через два часа. *Она* лежала рядом со мной, перенося соматическую боль, кончающуюся к короткой летней ночи, и я лежал, охваченный болью душевной, не имеющей конца.

Ты вошел еще более мрачным, чем уходил. В черном нимбе, с лучиной, горящей черной копотью. Как вестник смерти. Ты должен был сказать: «Ведь лежать мне в сосновом гробу». Ты ведь тогда изучал оппозиции *уже неживого к еще немертворожденному* у одного поэта.

Черный-черный человек, в черной-черной комнате с черным-черным чепчиком, с черным-черным валиком внутри. Полным по щиколотку ювелирными изделиями 583 и 750 пробы.

Драгметалл и породил черный-черный смерч, разрушивший все наше мицроздание.

Вираж, куда вошли мы, опьяняемые золотым сиянием, наш марьяж не выдержал.

— Вот, берите, это все, что у меня есть.

Есть оказалось немало.

Сперва мы все-таки изобильно украсили — и он-таки повеселел — нашу единственную женушку. И она стала походить на сумасшедшую буфетчицу с жирным перстнем на каждом пальце.

Потом мы и обули ее в кольца, и она стала походить на индийскую богиню Кали.

«Кали, где твои печали?» — сказал я про себя, в смысле, чтобы никто не слышал.

И нам, босоногим мужам, хватило украшений для каждого пальца. Мы принимали вычурные позы, как катанники.

Одного кольца досталось на целых полтора kurorta с edoj для нее.

С вокзала мы понуро расползлись с ним по разным жилищам. Без нее с ним я жить не хотел.

Хотя любил его любовью брата, но совершенно не сильней.

— И когда ж это все кончится! Господи ж ты боже ж мой! — причитала мама.

— Скоро и само собой. Без всяких «ж».

— И все у тебя не как у людей.

— Мама, давай этот деликатес из меню исключим.

Я ненавидел разговоры про «людей».

— Нет чтоб все по-простому, вот у Криворотовых уже двое.

Наше одно «детей» перемещалось из группы продленного дня то к бабушке, то к биоотцу, то туда, где «скоро все не кончается».

Оно бы и не кончилось вовсе, если б не счастливый случай в виде одного роскошного мужчины средних лет. Уже седеющего мужчины. С замашками барина-экспансионаста, как он сам отрекомендовался. Он был хорош, как вздох полированного баяна в ракушке парка культуры и отдыха. Круглогрудый, белозубый, с глазами-пуговками. К тому же он был полиглотом-самоучкой, соискателем в легендарном столичном институте АН у легендарного членкорра.

«Сравнивай, изучая» – был перламутровый девиз на баянной боковине.

Чтобы выразить всю мою ревность, ненависть и отвращение к этому человеку, я должен пользоваться каким-то другим, не свойственным мне языком, иначе меня заподозрят в предвзятости.

Все покатилось как по маслу – он захотел занять мое место.

Да я, еб его мать, его, место это, и уступил бы ему и так, если б они – *он*, но не тот он, лупоглазый, а мой *он* и *она*, моя эбеновая, не действовали так для меня обидно.

В какие-то дни, когда он бывал у них, меня стали не пускать. Как так?! Ведь я был муж!

Но однажды вышла *она*, печальная и томная:

— Пожалуйста, уйди, он проводит со мной экстрасенсорный сеанс, а у тебя такое тяжелое поле. Ты хочешь, что бы мои боли вернулись?

Это уже был театр.

Театр боли. Бели. И баян в постели.

Так мы начали, расчесываясь, расставаться.

Все-таки как хорошо, что мы жили, не принося друг другу клятв. Вне логики, а так просто.

Когда я уносил последнюю толику своих пожитков, то, честно говоря, был почти ранен, углядев фотокарточку этого баяна под листом плексигласа на письменном столе рядом с фото Поэта, вблизи школьного расписания нашего дитяти.

Я молча вытащил этот мерзкий кусок картона. Я захотел его порвать, но потом решил поступить мистически. Согласно наукам, сгущаемым им в столичном институте до консистенции киселя. Надорвать от левого уха, через рот – к правому глазу, что и было исполнено. Фотобумага была не очень плотной, да и фотография довольно большой. Так что рвать, глядя попеременно то в его физиономию, то на фото, было удобно.

Пока я, как иконоборец, надрывал этот лик, то подумал: «Вот ведь уже по выражению глаз можно догадаться, что у мудака грудь колесом».

— Вам лучше уйти, от вас все устали. Прошу вас, не медлите! – обратился он к гигантскому амфитеатру аудитории, где с первого ряда ему восхищенно внимали *он* и *она*.

Я с аппетитом плюнул ему в рот, но не его физиономии, а его фотографии. Я-то знал, что с его познаниями в магии это гораздо чувствительнее. И если рот можно просто утереть, то с надорванной и заплеванной фотокарточкой «унибром» ему предстояло жить.

*Часть вторая,
совсем короткая*

Прошло много, ну очень много лет.

В столичном метро, естественно, на станции «Библиотека им. В. И. Ленина» я встретил дурно одетого, по старой пижонской моде, человека. Черты его лица были мне знакомы, но, главное, колесо груди выдало его. Лик его был надорван тонким шрамом – от левого уха до угла рта.

А что стало с ними?

См. начало этой истории.

А вот и

Часть третья,

которой по многим причинам не будет.

.....

Станислав Сnyтко

ЛОДКА НА ИМАТРА

Предисловие

Работа с абсурдистскими концептами часто терпит фиаско: фаустианско начало не может быть только творческой стратегией, но охватывает всю жизнь автора. Нередко побеждает воля к компромиссу, выражаясь в стремлении списать все на так называемые «причины внелитературного порядка». В таком случае автор становится персонажем своих собственных произведений, которые с каждым годом становятся все более похожими, если воспользоваться известной метафорой, не на раскидистые ивы, а на телеграфные столбы. Здесь не хотелось бы называть конкретных имен, так как внешнее проявление нередко лишь след внутренних противоречий, подбрасывающих человеку не только правила игры, но и неверную последовательность ходов. В случае тех, кому удается преодолеть роковые рубежи, нужно говорить о личном усилии, которое дисциплинирует автора и не дает ему пропасть в хаосе, реальном или виртуальном. Думается, именно поэтому Сэмюэль Беккет вместо церемонии вручения Нобелевской премии отправился в Тунис, где продолжил заниматься написанием и постановкой своих пьес, а Борис Божнев, отдавшись от малоприятного культурного сообщества русского Парижа, не только не замолчал, но и продолжил упорно работать и публиковаться практически самиздатовским способом.

Станислав Сnyтко принадлежит к поколению авторов, пришедших в литературу в то время, когда позиция автора как частного лица является общепринятой, а исключения воспринимаются если не агрессивно, то сочувственно. «*Просто пишущий человек. Не исключающий читателя, но и не навязывающий себя ему. Текст создается для самого автора – чтобы воспользоваться приращением смысла, возникающего в ходе диалога с языком, – чтобы пристальнее увидеть – или сохранить – или понять – или поиграть, сидя в купе поезда на Петербург. Текст как одно из (только одно из) средств более интересной жизни, вот и все*»¹.

¹ Александр Уланов. Автор как private «Черновик». [Нью-Джерси – Москва], 1997. Вып. 12. С. 5–6. А вот другой, гораздо более идеологизированный пример: «*Я воспринимаю литературу как тексты, написанные частными лицами. Именно в таком ключе авторы интересуют меня как читателя – а не как контрибуторы в «великое дело русской литературы». И если копаться в моих текстах, то очевидно, что их делает определенный человек, который пишет их на русском, потому что*

Эти слова имеют самое непосредственное отношение к творческой стратегии Снытко, часто работающего с малыми формами², в рамках которых соединяются одновременно концептуалистский и метафизический подходы: думается, творчество авторов круга журнала «37» преломляется в текстах Снытко, как творчество Бергмана в лентах Гринуэя. Пафос, свойственный этому кругу, связан с выходом за пределы ««социальцины» и психологии к опасному эсхатологическому бунту, неуловимому для здравого смысла»³. И если старшие авторы (прежде всего Александр Миронов и Олег Охапкин), остро переживавшие исчезновение целостной эпистемологической картины у человека середины двадцатого века, были склонны апеллировать к трансцендентальным категориям, то у Снытко такой возможности не остается. Остаются языковые игры и замещение, связанное с фигурой Отца, который напрочь лишается метафизического ореола, но остается в лучшем случае тенью, в любом случае жертвой: «Наверное, он больше не придет, как спелый, свежий хлеб: его время прошло, его ноги продолжавшим кладом спрятаны на погoste, а все остальное...» Или вот так, гораздо более прямолинейно: «Папа, ты слышишь эти слова о матушке-мыши и комбикорме моей души?! Для тебя я припас крысиный яд». Это прямая аллюзия к творчеству Николая Кононова, в своих поэтических и прозаических текстах соединяющего религиозные и эротические коннотации «отцовского мифа». Возвращаясь к современному кинематографу (исключительно важному для Снытко), нельзя не вспомнить короткометражный фильм Франсуа Озона «Маленькая смерть», герой которого, дабы избавится от гнетущего комплекса вины, фотографирует тяжело больного, когда-то отрекшегося от него отца: одновременно запечатлевая его и унижая. Действие, отсылающее к Делезу/Гваттари, на поверку оказывается невероятным аккумулятором трагического, охватывающего все уровни текста: «Не знаю, как зовут старика. За прозрачными занавесками окон напротив он ведет свою каждодневную жизнь. Часто водит к себе мальчиков лет десяти. „Инфантальный“, – объясняет Надежда Петровна». Беккетовский образ приобретает зловещие региональные коннотации.

Безусловно, это петербургская проза. В миниатюре с многообещающим названием «Изгнанники» автор сам очерчивает контекст, внутри которого его тексты воспринимаются должным образом: «Суровый питерский топос, гнавший Вагинова и Добычуна к прежним колодцам, размазывал старорежимных извозчиков по унавоженной Гороховой. Дети нулевых, мы перестали вглядываться в лужи и пересчитывать ворон на кленах. Традиция туберкулезного окостенения

это его родной язык. Как правильно мне когда-то сказали: потому что это язык, на котором разговаривает бессознательное. Вот я пишу роман на английском, но где бы он ни вышел, например в Штатах, – это не сделает меня частью американской литературы, а сделает меня частным лицом, издавшим свой роман на английском языке». Макс Тула. Перемещенное лицо. Интервью с Линор Горалик.

Помимо множества миниатюр Снытко является автором повести «Песни бога Ра», а также новелл «Ученник мачо», «Пальцы Никиты», «Подледный лов в июле» и др.

³ Горичева Т. Сиротство в русской культуре // Вестник новой литературы. № 3. Л., 1991. С. 242.

*утонула в новом топосе ларьков и пекарен*¹. Помимо названных Вагинова и Добычина (которые важны здесь не только в «авторском» обличье, но и как модели «несчастного сознания») нужно назвать и Андрея Николева, чьи мерцающие персонажи, разыгрывающие алогичные сценки на античном материале в рамках раннесоветских реалий, безусловно являются предтечами многочисленных героев Снытко, нередко выполняющих исключительно «рабочую» функцию: им остается реплика или неловкое движение. Все остальное пространство текста занимает развертывание трагикомического энвайромента, где на равных правах существует «тоска по мировой культуре» и своеобразный черный юмор.

Как и другие современные образцы малой прозы, тексты Снытко стремятся к концептуалистской схематичности: за рамками любой отдельно взятой миниатюры остается не только ставший анахронизмом психологизм, но и многие наработки прошлого века – от объективистского письма до «нового барокко» – присутствуют лишь в гомеопатических дозах. Думается, что подобный способ текстопорождения не в последнюю очередь есть ответ на девальвацию, которой подвергается любой современный текст (особенно поэтический). Миниатюры Снытко, на мой взгляд, находятся в силовом поле поэзия vs проза), написанный на русском языке: достаточно четко очерчивая концептуальные рамки высказывания, Снытко предъявляет нам картину скептицистского сознания.

Денис Ларионов

Соседка *Карелия для Ардан*

Фанни Ардан машет мохнатой рукой с киноэкрана. Гостей продуло: яро гогочут, глотают таблетки, просят закусок. Хозяин домика Иосиф Прый спасается бегством: луна кругла, а ведь еще вчера была овальная. Ночь тиха. Под ногой шелестит ковер трав. Муравьи несут кота в муравейник. Слышно, как растут грибы по обочинам троп. Иосиф бьет себя по ляжке, и пучки искр нижут темноту. А гости уже бьют окна, у них источился запас огненных вод, хотят еще, диван летит в сад. Но Иосиф уже не видит никого и ничего, его будто ударили по голове, он слышит себя и шелест беличьих хвостиков вдоль стволов, запах кота и крота, фурункул компостной кучи среди дачного леса, ад проселочной дороги, лом тонких берез вместо рельс и шпал, плеск сома в дождевой бочке, копытце фавна оставляет двойной острый след. «Фанни, Фанни, это, наверное, ты!» – лепечет Иосиф и падает в чьи-то мягкие лапы.

¹ Станислав Снытко. Суровый питерский топос // Textonly. 2010. № 31.

Пейзаж с отупением

Наверное, он больше не придет, как спелый, свежий хлеб: его время прошло, его ноги продолговатым кладом спрятаны на погосте, а все остальное... Ах, обо всем остальном – промолчим. Дань несоизмерима с прошением, подаренная ему четверть любви – это квелький палисадник и банка малинового варенья, опустошенная на одну треть. Мухи и осы лезли в нее, чтобы покончить с полетом, усики колкого хмеля задирали рубашку и лезли в брюки. Ты придешь на похороны кошки? – Нет, я хороню своих улиток. А где же пенсия, где же счастье, где все, что у нас было – и называлось «Дача. Лето»? Где ежевечерняя стрижка ногтей под красной лампой, где ветер в волосах по пути к гальюну? И где ночевавшие в осоке осколки чашки и черепки кирпича от недостроенной бани? Ах, – он обнимал березу и покусывал едва отстававшую кору, – я не люблю тебя, не люблю...

Зимний пейзаж (с брусничным кустиком)

Нам не удастся вылезть из пепла по шатким зернистым тканям – ни за порог, ни за край, ни на берег реки. К вечернему умывальнику не ради колхоза идут, а за прощением, за чистотой тленных покровов – и их же бессмысленностью, пустотой. Луна шлет лучи на ночную лодейную пристань, осень ест труп жары, каллиграфическим почерком выписаны: лес, небеса, пустота, одеяло, под ним – я и ты, мой котик, хорек, хомячок, ландыш подледный. Поля леденеют от ветра, картофель пасленовым кортиком тычется в небо; томат, баклажан и табак целуют нам ноги. «Хочешь питательного пюре? Хочешь расти до небес и стать похожим на водонапорную башню?» Последним гелиевым поцелуем шарик воздушный падает на шип забора. И приходит газовое прободение. И зимняя чистота ног-рук. И последняя атомная бомба. И брусничный кустик.

Парижский жанр

В 1908 году был издан запрет на показ фильмов «парижского жанра», то есть фильмов фривольного, порнографического содержания.

Страстолюбец и страстотерпец: в нашем случае – одно и то же. Вожделение, жажды тела – та космическая начинка, что заложена в нас Богом, как капуста или грибы с луком внутрь бабушкиного пирожка. Насилие взгляда неописуемо (оно страшнее грязного соития в лунную ночь): как если бы ты пошел в лес, встретил там лешего и сыграл с ним в морской бой (в городки или в кости: угадай, чья взяла?). Физика сближения двух и более тел – деепричастный оборот, калька с иностранной пословицы, флюид солнечного затмения. Но еще страшнее – знать,

что в этот *переплет* ты никогда не попадешь. Стареющий Альфред Дуглас, бывший Бози, идет в вечернее синема на ленту «парижского жанра» и, когда все уходят из зала, тихо-тихо плачет, но не может найти платка

Еще один отцовский цикл

(1)

Немые, мелочные, все время прихорашивающиеся: мы. «Ну что, мелочь взял?!» – «Взял». – «Ключи взял? Зонт взял?» – «Взял. А зачем?» – «А ты представь, что у продавщицы не будет сдачи, что небо одарит нас дождем, как мать молоком. Папа говорил: дождь, дети – это слезы Господни». – «А про снег что сказал?» – «Ничего про снег. Он ушел от нас. К другой женщине. В тот год осенняя погода стояла долго на дворе».

(2)

Федор Егорович, егерь, когда приехал в Ленинград, то перестал стрелять уток, удить в ручье, растить картошку. Имея высшее педагогическое, учил нас с сестрой: она классом постарше была, а я – помладше вообще-то. Федора Егоровича сестра не любила (девки дразнили его «дядя-ванна» – а что в этом обидного?), а я уважал, почти как если бы был его сыном, за что Федор меня утешал: «Не обижайся, – говорил, – на ребят. Пусть меня дразнят. И тебя. Представь, что мы с тобой вдвоем – храбрые карабинеры на конях, а они – глупые аборигены. Мы поскакаем-поскакаем по сухой степи, а потом их всех перестреляем». И я вертел в руках воображаемые карабины. Но никого не перестрелял.

(3)

Путешествие в зоопарк всегда становилось словесной игрой. Тетушка-утка, матушка-мышь... А чего мне стоило их всех выдумывать? И, нарекая немыслимыми зверинными именами, сыпать им в клеточки комбикорм детской души.

Папа, ты слышишь? Слышишь эти слова о матушке-мыши и комбикорме моей души?!

Для тебя я припас крысиный яд.

Розовое постельное белье

Он говорил всегда очень убедительно. Даже иностранцы, не знавшие русского, кивали в его присутствии. О женщинах и говорить нечего. Едва различив запах его туалетной воды, они начинали раздеваться. Догола. С мужчинами разговор был короткий: они либо лезли в драку и были избиваемы до кровавых выхаркиваний, либо через первые же пять минут становились гомосексуалами и, осознав всю безнадежность чувства, кончали жизнь самоубийством. Он сам был похож на гигантского утенка. Любил только свою мать: раз в день она появлялась

в его комнате и вкладывала в его уста огромную предварительно раскуренную трубку. Он разбил каблуком лакового ботинка голову отца, когда тот отказался вернуть матери розовое постельное белье. Жестокость к самому себе – вот что он взял у матери под большой процент. В предсмертном письме он обратился к Жан-Люку Годару: «Когда-нибудь все люди станут птицами».

В угол за двойку

В угол за двойку по математике, выпороть за нерадение к чертежам и диктантам, за незаконную перлюстрацию проверочных и контрольных. Маша Сереже чертит призывные буквы на ватмане: «Может, любовь в кустах? Поцелуй и страсть?» – и прилагает к посланию мятую десятирублевку. Тропки детства смыты грибным дождем – вот и Сережа вечером сбрив первую волосянную дорожку от паха к пупку. Ритмами кровотока, просторечием страстной гугни – синхронно дергаются на диско-вечерине Машка с Сережкой, здесь же скачут Машкины неродившиеся детишки и Сережкин 60-летний цирроз, и поблизости бесятся цены на нефть, на литр и на баррель, открываются месторождения в Африке, в Москве линчуют таджиков и пьяным падает в воду реки редактор журнала «Рыбалка».

Его слова

Мы никак не можем забыть его слова: «Жизнь стала жестче и бескомпромисснее». Как будто когда-то жизнь была к нему снисходительна! Ведь однажды он был знаком с Богородицей, его щека горела от прикосновенья десницы Ея, он встретился с Ней на улице Мира 1-го января сего года, перечислил ей свои журнальные публикации и процитировал отзыв критика. Это было страшное похмельное утро, и никакой Богородицы, конечно же, не было, он лежал в бреду под зaborом, и слушали его вороны и собаки, а кошки при виде его мучились совестью и отрыгивали прошлогоднюю рыбью. Просто жизнь действительно стала жестче, и не к нему – потому что он уже умер, потому что мы перечитываем один и тот же некролог, – а к самой себе и к той нескончаемой необходимости, которая не дает нам забыть его слова – о том, что жизнь стала жестче и бескомпромисснее.

Свидетели

Свидетели в зале суда голосят. Разбирательство по вопросам недвижимости. Прохожие думают, что филармония. Вороны в снегу делают клювом ямки и в эти ямки садятся, как в купе поезда. Наверное, едут куда-то. Деревья у пороховых амбаров замерли – будто кто-то им крикнул: «Стой, стрелять буду!». В сухой док (он огромный, глубокий, чтобы суда ремонтировать) кто-то выкинул за ненужностью облетевшее декабрьское Christmas tree и красного пенопластового деда-мо-

роза – воробыи собирались вокруг него и думают, что это к ним Бог упал. Кронштадтские старухи ходят с арбалетами и куканами, метят в ворон, промахиваются, ругают «сионских оккупантов». Снег под ногами перемешан с маленькими рыбными чешуйками, народу почти нет, можно на главной улице (им. Ленина) встать к дереву и спокойно мочиться, пока не надоест. В суде стреляют бутылкой шампанского: недвижимость присуждена кому-то из сионских.

Гутенберг

Некоторое время в типографии работал человек по фамилии Гутенберг. Не говоря уж о том, что у него были необычно длинные руки, он имел еще и высокий голос, как у женщины, причем женщины оперного склада. Стоит сразу заметить: Гутенберг всем своим телесным сложением напоминал нам, сотрудникам типографии, о существовании отечественной балетной школы. Мы уговаривали его: «Брось, брось книгопечатание! По тебе плачет Ваганова!» На что он только махал своими длинными руками, высоким голосом пропевал долгое самоотверженное «ннееее» и, совершив балетный взлет, покидал помещение. «И быстрой ножкой ножку бьет», – добавлял кто-нибудь из сотрудников свою словесную лепту.

Девушки

Девушки ходили по зимнему лесу и ждали чуда. «Скоро мир узнает про меня такое, чего никогда не знал!» – подумала одна. «Скорей бы вступить в законный брак», – мысленно вздохнула вторая. Третья ни о чем не думала, отряхивала свой полушибочек. Сороки купались в снегу. Волки, завидев девушек с красными плащами, прятались в берлоги к медведям. Медведи покряхтывали. А чуда все не было. Электричка пронеслась, подняла снежный вихрь, и человека, несшего старый велосипед через мост, сбросило вниз, на замерзшую реку.

Первая девушка дунула на ровный снежок, а из-под него показался брусличный куст с красными ягодами, и девушка стала их срывать и есть. Вторая с помощью фисташки подманила белку и ухватила ее за хвост, но потом все же отпустила. А третья увидела велосипед, лежащий под мостом на замерзшей реке.

Человек уже уполз.

По персоналу

Начни со слов (это должно быть что-то высокое, нет, лучше низкое): «Сегодня, когда жизнь человека не стоит выеденного яйца...» Нет, ты сам понимаешь, что все это уже было, скажи лучше (встань перед ними с улыбкой на лице, ось левой ноги перпендикулярна оси правой ноги – и говори): «Вас ждет экскурсия в мир иудейских молитвенных практик!» Нет, что за чушь, какие еще иудейские практи-

ки, лучше сразу поставь под своим лицом табличку: «Кустарев Дмитрий, диетолог», нет, поставь-ка «Елена Попова, заместитель главного по санитарной части», поставь там еще свой номер телефона, или мой. И чтобы на груди твоей сиял свеженький бедж: «Оскар Уайльд. 1854–1900». А лучше, чтобы гостей встретил приятный транспарант: «Продаются телята!» – и телефон. Или, как советует один поэт, пообещай гостям смешной фокус, а вместо этого сделай себе харакири...

– Да, да, да, спасибо. Кажется, я понял. Спасибо.

В сторону сына

Мучнистоглазый сынок Сашенька и кривой пьяный Колян – оба в тени парка походили на клочья волос. Их прогулки затевали в нас желание поднять в воинственное снежное небо метафору длительного морозного поцелуя: что за странный союз, двенадцатилетний ублюдочек-воришко и прилежный пятидесятилетний батя-писатель, любитель водки, всегда при манишке и брильянтовых запонках? У обоих в руках по невидимому ножу, оба – из разряда «палец в рот не клади», «мордой по сторонам не верти», «руки перед питанием мой прилежно», одним словом, бесконечные отцовские наставления. Его как прозаика мастерство определялось пушистым похмельным часом, когда двое были на берегу шатучего кухонного стола, сын и отец: первый дует из железной кружки крепкий раскрашенный вишневым соком чаек, а второй чертит черным фломастиком на обрывке хельсинкской карты очередные абзацы романа «В сторону сына». И вот, когда этот роман на картах уже сложен уютной стопочкой и отправлен в издательство, соседка Нина Филипповна, завидев обоих прогуливающимися вокруг деревянной песочницы, пугливо плюет в горшок с пахучей геранью, под самый корень.

Лодка на Иматра

Для А. Б.

Кто красив, как исландец (как альбиносый Ной, вылезший на берег бушующей воды)? Взять в рот сладковато-соленый леденец тела (будто девочка, заблудшая в приморском лесу, – лакомится случайным мхом, задумавшись у разбитого гроздой валуна). Не граниты реки (вот радость глупого натуралиста! Камни могли бы дышать и плакать!) и не объятия твоего тела: только молчание, теплое дыхание вепря. Девочка спит, и вепрь принял ее за куст ежевики. (Подаренные мамой клипсы – красненькие, синие ягоды, – думает вепрь.) Любовь к тебе – это самая большая опасность; ты распростерта на скользких камнях, выхаркнутых вечерней рекой. Грубая густая темень слотнула твои глазницы – не поперхнется и не вылижет твои кости (как песок вылизал корни сосен); к вечеру ты сделан из тьмы колен, предплечий и паха. Ощутим лишь под кожей камень твоего носа, ты сам – камень-голыш реки. Если скормлю тебя вепрю, то девочка, когда вырастет, из берцовой кости твоей сделает рукоять большой суповой поварешки.

Маргарита Меклина

ПИДЖАКИ НА СТОЛЕ

1

Пиджаки были аккуратно, будто рукав одного не хотел соприкоснуться с обшлагом другого, разложены на столе. Между ними затерялся опустевший футляр: гармошку забрали. Под ногами стоявших на веранде людей, набиравших на тарелки мясистое авокадное месиво и пивших мутновато-желтый, негигиеничного вида яблочный сидр, мешались коробки с грудой наваленных в них самодельных CD.

Уверенные, загрубевшие от гитарных струн руки не мешкали, открывая бутылки вина.

Перед тем как пройти к столам с пирогами и сальсой, вновь пришедшие сначала толпились перед столами с одеждой, сожалея, что опоздали. На самом деле все, что тут лежало, и было основной составляющей материальной стороны жизни «скончавшегося от передоза в шестидесятых годах» гитариста Z. Manna (так ошибочно сообщала обложка пластинки). Где была духовная сторона и кто и что там раскладывал на столе, никто не знал, да и вряд ли задумывался, запихивая в пакеты с кукурузными хлопьями привыкшие брать за горло гитару и музыку руки.

Для двух-трех десятков коллекционеров-ищеек, нюхачей, слухачей и вообще редких и едких эстетов Z. Mann умер сразу же после того как записал два альбома. Для тех, кто играл с ним в группе экзальтированного, с экзотическим чувством юмора «Шейха Ербути», неприкаянный Z. Mann с его развинченной манерой держаться на вечеринках и удивительной дисциплиной на сцене, исчез, когда ему поставили диагноз «шизофрения» и одели в смирительную рубашку, – как гитару в футляр. Для преданной ему женщины, до встречи с ним «воскрешавшей» шумерские гимны (записи эти покупали только музеи; людям они были неинтересны), он оставался живым и когда по-настоящему умер, через сорок лет после строчки о собственной смерти.

Его зачали очень легко, в 1942-м, тогда многие мужчины сражались на фронте и женщины начали пополнять слои рабочего класса под лозунгом «все для войны»; в семье уже были дети, но отец хмурился, приходя домой от станка: ему казалось, что жизнь все еще лишена смысла и обязательно нужен последний тол-

чок. В пять вечера дочери до сих пор не вернулись с продленки, а жена лежала в постели, объяснив свое растрепанное бездействие так: «занемогла, наверно, мигрень». Когда она попыталась накинуть халат, чтобы подогреть суп, он потянул ее обратно в постель; давно потеряв интерес к «пустой трате времени», она протестовала, но у него перед глазами стоял мальчик, который, несомненно, будет ученим. Все получилось с одного раза, и доктор вскорости объявил: «у вас сын». Однако когда сын сказал, что вместо химика пытается стать музыкантом, отец прекратил с ним общаться.

Сын продолжал играть в группах и даже аккомпанировал Дженис Джоплин, которая угожала его самокрутками с марихуаной, хранившейся в банке из-под майонеза, но слава к нему не пришла. Он выбирался из сумасшедшего дома только на концерт или турнир: хорошо играл в шахматы, но слишком долго раздумывал над каждым ходом, и арбитр засчитывал поражение. Видимо, и после строчки о собственной смерти он долго решал, стоит умирать или нет, и застыл над своей жизнью в течение сорока лет, как шахматист, размышляющий над следующим ходом ладьи или коня.

На удивление и умиление покладистый, витавший в кокаиновых облаках Z. Mann не женился, но несколько лет назад встретил погруженную в ископаемую, древнюю музыку женщину, следившую, чтобы с него не спадали штаны, а также, что он питается не только табачными крошками, кокайном и кофе (он был чрезмерно худым). Ее кисти после артрита были вздернуты, как на дыбе; память пропала, и она не помнила, кому послала приглашение на поминки, а кому просто – на посиделки, забыв скопировать некролог в «тело» письма.

А умер он так: после встречи с драгдилером оступился, упал, разбил голову, и на лбу образовалась страшная рана. В приюте для старииков, где он жил, никто не обращал на это внимания, и он покорно гнил три недели, пока она не отвезла его в госпиталь, где он скончался после отключения аппарата, передоверив гитару и голос магнитофону, а естественные отправления и прием пищи – медицинским приборам.

Друзья звали ее «Нина-Наседка».

С морщинистым широким лицом без какой-либо отметины уникальности или красоты, с полуненужными умениями игры на ливадийских и аккадских арфах и лирах, она была зачата совершенно случайно или, если выражаться точней, по ошибке, и сразу после рождения никто не хотел брать на руки красный кричащий комок. Тем не менее эта странная легкость, когда ничто не предотвращало встречи овума со сперматозоидом, впоследствии переросла в полную препятствий, раковых заболеваний и хронического безденежья жизнь.

Позабыв про шумеров, она обходила собравшихся на террасе, вежливо морщаась, когда те с излишним милосердием брали в свои ее руку; шепот гостей сливался с шепотом листьев; затем всех позвали вовнутрь.

Когда пришедшие собрались в тесной гостиной и Нина-Наседка включила недавно записанный Z. Mann'ом трек, раздались рыдания: это всхлипывала сидевшая на стуле мешковатая женщина в шляпе, служившей для скрытия бородавок на лбу.

Все время, пока из динамиков доносилось «*Aint' no more cane on the Brazos*», она не переставала рыдать.

Мешковатая гостья была вокалисткой, и ее рыдания смешивались с ее собственным голосом на звучавшем в комнате треке, голосом, при помощи микширования размноженном на несколько голосов.

Создавалась иллюзия, что Z. Mann играет со слаженным хором.

Пел мощный хор – а в комнате плакал всего лишь один человек.

Остальные, с иссушенней скептицизмом и несчетными летними сезонами кожей, в ковбойках, стояли с тарелками и дожевывали куски пирога. Эти зачинали так же просто и бездумно, как сами были зачлены, между водкой и огурцом.

На треке прекрасные голоса взвивались вверх и обивали гитару, создавая впечатление целого хора в белых одеждах; в комнате же присутствующие лицезрели мятую шляпу и телеса, заполненные до краев невнятное платье.

Нина-Наседка подошла к ней и обняла.

Вокалистка была единственной дочерью неопрятного библиотекаря и строгой служащей отдела кадров: они не решались завести малыша, но после девяти лет тихой жизни, чей покой нарушался лишь списанными книгами, которые библиотекарь приносил домой и, внося в каталог, ставил на полку, или обсуждением двух-трех человек, уволенных кадровичкой, они наконец легли, как на эшафот, в обрамленную балдахином постель и начали медленно двигаться.

Ни в тот, ни в следующие разы ничего не получилось, и после нагих натужных попыток они решили, что не суждено, и снова принялись закупать тугие пакетики, защищая от посторонних свой священно-спокойный семейный союз. Неожиданно она понесла. Некрасивый, поседевший в двадцать пять библиотекарь даже не мог усомниться, что ребенок его, так похожа на него была какая-то вся потрапанная, как тканевый корешок, неприметная и задвинутая в угол другими книгами дочка.

Дочь обладала невиданным даром, и так чисто и сильно звучал сейчас божественный хор, что верилось, что под этим однотонным платьем и шляпой умещаются несколько человек.

2

Маргарита была приглашена на поминки, чтобы написать статью о Z. Mann'e.

Она стояла сейчас на самой середине террасы в оранжевом шейном платке и красных штанах (а в списке видных журналистов Района Залива – в самом низу), с печальным лицом и вдохновенными волнистыми волосами, как бы позирия и напоказ, по опыту зная, что никто не заглядывается на ее красоту.

Жизни творцов она воспринимала сквозь фертильную призму и даже о Дженис Джоплин, которую Z. Mann так ясно помнил, несмотря на то что все остальные встреченные им битники и хиппари погрузились в мутную жижницу памяти, думала так: «Легкомысленно зачалась и так же легкомысленно испарилась, опрокинув в себя майонезную банищу наркоты».

В эту субботу произошли две попытки, оставившие в ногах и спине ломоту,

но когда случайно пролилось несколько капелек, она пришла в ярость и принялась хватать попавшиеся под руку вешалки и журналы и швырять их в закрытую дверь. Раффи, с таким трудом загнанный в детскую, сразу же прибежал; прошел целый час, прежде чем им удалось его успокоить, но после этого настроение было не то.

Музыканты, сыграв несколько песен Z. Mann'a, перешли к собственным композициям, как бы показывая, что, хотя один из них умер, музыка и профессионализм жить продолжают, а у Маргариты в голове вертелись фолликулы и фертильные графики. «Сегодня шестое? – думала она про себя. – Шансов в конце цикла почти уже нет, но завтра надо на всякий пожарный попробовать. Сначала в пять тридцать утра и потом в десять вечера, когда ребенок заснет».

Ее сын, шестилетний Раффи, с крутым лбом и кудрями, похожий на чрезмерно активного ангела с картины Итальянского Возрождения, гляделся в стоявшее на полу зеркало, поправляя воображаемый бант. Потом он встал с колен, поклонился игнорировавшей его публике и, опасливо погладив собаку с розовым носом, прошел на террасу, где повстречал двух детей, очевидно, брата с сестрой, схожего возраста, в изжеванных стиральной машиной футболках, с белыми, как будто вареными, лицами и полусонным выражением глаз.

Раффи сказал им «хау ар ю», и в ответ этому было только молчание и недоверчиво вскинутые белесые брови: здесь дети, уже научившись у взрослых, блюли границы, пытались не касаться один другого плечом или рукавом, как пиджаки на столе.

«Да уж, Америка – это тебе не Армения», – расстроилась Маргарита и прижала Раффи к себе (когда ей казалось, что в этом месяце в ней наконец завязалась новая жизнь, она испытывала подъем чувств по отношению к сыну, как будто плодородность делала ее намного добрей).

Раффи, говоривший в свои шесть лет на четырех языках: английском, армянском, азербайджанском и русском, – простодушно кидался к любой собаке или ребенку, чтобы обнять, и в то время как собаки были приветливы, дети и взрослые отстранялись и шли мимо с каменными или удивленными лицами, совсем как сейчас, когда Маргарита сама пыталась нащупать чай-либо взгляд, а в ответ глаза натыкались на равнодушие, а руки – на штопор или кукурузные хлопья.

Рты были заняты не разговорами о только что умершем человеке, а горячей водой и едой, руки – кружками с чаем.

Неделю назад у чашки, подаренной Маргарите, треснула ручка, и ее пришлось немедленно выкинуть, чтобы кипяток вместе с обломками не пролился на ребенка. На кружке было написано «*Mann Made Music*», и рекламировала она его новый CD. Маргарита подумала, что трещина образовалась как раз в тот день, когда он скончался. У нее тоже были язвы и трещины, внутри все болело и ныло, но она не решалась покупать лубрикант, чтобы трения проходили полегче: а вдруг химия все там убьет.

Тут Нина-Наседка к ней подошла, с дешевой чахоткой румян и необработанными пальцами ног, торчавшими из плетеных сандалий. Маргарита, уставясь в

пол и разглядывая заплесневелого цвета ковер, сорвала, что уже подготовила материал для статьи, разумеется, скрыв, что в голове-то у нее была только постель 1942-го года и копошащиеся в ней, как под прожектором времени, немолодые родители, сотворяющие тело Z. Mann'a, впуская в зарождающийся эмбрион вместе с музыкальным и шизофренический ген.

«Выйдет во вторник, – сказала она и добавила: Извините, мне надо идти».

«А куда же вы едете? Хотя бы возьмите книгу для отзывов из кафе, где он играл!» – попросила Наседка.

Маргарита в этот момент пыталась вспомнить, куда же запропали овуляционные палочки, которые могли определить самый пик, и ответила невпопад:

«Книга, в которой Ербуты упоминает, как он выгнал Z. Manna из-за метедрина и ментальных проблем, у меня уже есть, – а потом, в ответ на повторный вопрос, куда же она так спешит, объяснила: Я назначила встречу с кузиной, ведь мать сожгла все фотографии перед отъездом в Америку, две ночи в Ереване сидела на пепелище, устроенным в унитазе, края стульчака даже расплавились и пожелтели, зачем, говорит, вести их с собой, они и так перед глазами стоят».

«Вы про что?» – отшатнулась Наседка.

«У кузины – те же самые предки, и я с ней договорилась, что сделаю сканы для своих потомков, для Раффи, чтоб знали, кто их породил».

Маргарита взяла за руку Раффи и, перешагивая через футляры от инструментов и спотыкаясь о пустые пивные банки, уехала на зеленом пикапе. Все, казалось, было рассчитано правильно, и цервикальная жидкость, и базальная температура, но зачатия не случалось. Казалось, что за планированием живой жизни скрывалось проклятие; рассудок боролся с никак не объяснявшимся врачами бесплодием иставил диагноз: магический сглаз.

3

Эту гоночную, длинную, узкую жестянную машину на фотографии она до сих пор могла представить до мельчайших деталей.

Сзади плескалось черно-белое озеро, а на переднем плане стояла шестилетняя Маргарита в совершенно незапомнившемся, незнакомом ей платье, с продолжавшимся предметом в руках.

Когда они возвращались на дачу с вокзала по пыльной дороге, она увидела на траве за забором детского сада игрушку и упросила отца спрыгнуть туда и ее взять.

«Только сломанная!» – передавая ей «гонку», сказал легконогий, с воздушными рыжеватыми волосами отец, но она прижала машину к груди.

Дома он помог ей скрепить верхнюю и нижнюю половины машинки резинкой: у жестяного сокровища были толстые, с красными ободами колеса с рифлеными шинами и ярко-желтые, нарисованные на боках номера. На пластмассовое сиденье можно было сажать человечков.

Прабабушка глядела на Маргариту светлыми льдинками глаз.

У прадедушки был лапсердак и какой-то колпак. Дедушка стоял окруженный рабфаком. Бабушка-географичка сидела рядом с классным руководителем

Иваном Абрамычем в гимнастерке с медалями, выделявшимся на фоне давно истлевших школьниц в коричневых платьях. Бабушка приглашала Ивана Абрамыча к себе в гости, и он расхваливал ее соления и форшмак, а потом дал рекомендацию в партию. Вот эта рекомендация в партию в семейной памяти и осталась да еще малосольные огурцы.

Фотографии начала двадцатого века уже ничем не отличались от фотографий самой Маргариты, снятых в тысяча девятьсот восьмидесятом году, когда ей было шесть лет. Они потемнели, будто попали под грязный сапог; бумага была зернистая, темная, будто из печки, и уже мертвые люди ничем не отличались от тех, кто еще жил.

Родственники же все были друг на друга похожи, так как время стерло черты и оставило на потускневшем фоне лишь светлые пятна. Расплывшиеся надписи на обороте, овалы лица.

Множественные лица ухнувших в яму истории предков сливались в одно: в девочку в темном, отороченном белым воротничком платье, державшую гоночную машину, состоявшую из двух половинок. Машина была одна; однодневные тексты о полусостоявшихся, полностью состарившихся музыкантах можно было множить бесчисленное количество раз. Захлестнуло чувство собственной ограниченности, когда вырваться за пределы себя получалось лишь при помощи дополнительной плоти. Она подумала, что ничего не понимает ни в Z. Mann'e, ни в блюзе, ни в «Бразос» и опять запорет статью.

Праматери соревновались с зеленою жестянкой.

Все они нарожали по девять-девять детей, за исключением сестры деда из Минска: мужа ее забортили только трактора и репортажи из Биробиджана, куда он почему-то хотел перебраться; она мучалась и завлекала его, но безуспешно, а потом он осунулся и стал есть только протертую пищу, но она по-прежнему приходила к нему раз в неделю «за дочерью или за сыном», как заводные часы. Счастье стукнуло в матку через пять лет после унизительных, убогих попыток его соблазнить (надевала пышные юбки, красила губы, рассказывала срамные байки) – и вот в фотоальбоме младенческие, обведенные чернилами по контуру пальчики, а еще через год началась Вторая мировая война.

С таким трудом пришедший ребенок ушел легко, под залпами автоматов уснув на материнской груди.

Имен остальных мужчин и женщин Маргарита не знала; армянских предков уничтожили турки, евреев – немцы, русских – соседи с большими ушами и маленьким сердцем, приникшие к стенке, коллективизация и Советский Союз.

Она подцепила полиэтиленовую, приникшую к фотографии пленку, достала себя и положила на прозрачное стекло сканера лицом вверх.

Тетя матери пережила блокадный Ленинград, потеряла в голод двух малышей: они стояли на невысокой скамье, двухлетний и четырехлетний, каждый со своей стороны держась за ухо медведя в полупустой, как рай, фотостудии.

Маргарита прикрыла себя пластмассовой крышкой, нажала на зеленую кнопку, волна света прошла справа налево; Маргарита, зажмурившись, ощущала в пояснице резкую боль.

Тетя матери трудоустроилась после войны крановщицей, застудила придатки, и в пятьдесят лет ее увезли на Ковалевское кладбище. Со своими сестрами она не разговаривала после какой-то глупой размолвки, и даже на похороны, не то что в больницу, одна из сестер не пришла.

Под крышкой лежал крутой лоб Маргариты и «гонка». Из-за неудачного разрешения на скане вышел нечеткий продолговатый предмет, но с каждой новой попыткой к Маргарите возвращались кадры и клеточки детства.

Ей было шесть лет. Бечевкой она привязала «гонку» к велосипеду и, затащив его на пологую горку, вскочила в седло и ринулась вниз, ногами не успевая за бешеным прокрутом педалей. «Гонка» подпрыгивала сзади и тарахтела. Сидевшие на поленнице бабки что-то кричали. Одна из них протянула клюку через дорогу; Маргарита попыталась объехать и чуть не грохнулась в пыль. Маргарита подумала, что если бы «гонка» сейчас попалась ей в руки, она абсолютно так же прижала бы ее к сердцу, несмотря на прошедшие тридцать лет.

Отложила в сторону прадедушку в армяке и «Оганеса», подростка, которому удалось бежать от турецких погромов. «Эти потом, Оганес никуда не уйдет!»

При помощи компьютера начала размножать сканированных Маргарит; из принтера вылетали глаза в пол-лица, кудрявые волосы, крутые лбы, становясь все лучше и лучше. Раффи подбежал к принтеру, собрал распечатки.

Маргарита знала, как держать руль, чтобы он вильнул в сторону, когда замечала клюкастых старух. Знала, как падать набок с велосипеда, чтобы не сломать руки, а только поцарапать колени. Но не могла контролировать живую материю при помощи графиков, палочек, дозированного до доскональности секса.

Раффи носился с чучелом серебристой лисы, привезенной из Петербурга кузиной, во время каждой пробежки через всю комнату с размахом налетая на стену. Несколько раз со стены слетала акварель Петропавловской крепости.

Пробежав мимо стола, Раффи его неловко толкнул, и лежавшее на нем фото с «гонкой» упало. Не заметив, Раффи наступил на него башмаком.

Кровавая маска застлала лицо, в висках стучал жар, в такие моменты она не могла с собой совладать. Потащила за шиворот, чтобы оттащить от себя, на кого он сейчас наступал, высвободить себя из-под его башмака.

Раффи пытался вывернуться из ее рук; кузина тем временем усаживала лису обратно на спинку кресла, гладила мех, поправляла свихнувшуюся набок острозубую пасть.

Маргарита вздела его в воздух, держа за ворот рубашки, он висел, как в детстве игрушечный клоун, привещенный к люстре.

Кузина сказала: «Сейчас будем пить чай».

Маргарита поволокла Раффи в ванную комнату, принялась мыть ему руки, а потом всю пятёрню положила ему на лицо. Как бы стирала его такую похожесть. Он фыркал и, смеясь, уже простив матери вспышку гнева, пытался пить воду с ее ладони. Она стирала с его лица свои черты, но они не смывались.

После чая с рогаликами она сказала кузине, что Раффи пора уже спать, а то завтра будет зевать в детском саду. Кузина спустилась вниз их провожать. Марга-

рита попрощалась, стукнулась головой, пока пристегивала Раффи к детскому автокреслу. Распахнула дверь с водительской стороны.

Мимо с диким бибиканьем пронеслась спортивная «Хонда». «Ну и что, пусть бы и задавила». Утопила в бездонную яму педаль, с визгом тормозов тронулась с места, опрокинув гипсовый гриб, охранявший газон.

Вместо дороги глядела на фото с «гонкой» на приборном щитке, и изредка – в зеркало заднего вида на Раффи. Перед глазами стояло увиденное в туалете, на промокашке, красное марево, неожиданный сигнал поражения; забыв о температуре и палочках, она проскочила на красный свет и потом еще один раз, уехала в детство.

4 октября 2009

Виктор Іванів

Семь рассказов

ДЖОННИ МНЕМОНИК

Изготовился сосредоточенно бить в лицо. И ударил. Рука прошла мимо и утонула, слабая, как в дошедшей до глаз воде. Разминулись в этот раз кулак с головой.

А так приезжал поездами, выходил из вагона в кепке бейсбольной. Негритос негритосом, с челночными сумками, пересек всю страну, расстегнув нараспашку ворот. И шатучими руками с размаху упал. Помимо тебя! Это сделают помимо тебя!

А с шеи свесился обрывок веревки – рукав белозубых черепов бус, столобым движением одной головы, и скатерть смела чашки. Место себе на столе застолбил!

Так и укрылся в одеяло, угрызся в подушку зубами и спал на ногах стоймя. Долго будили меня! А загорелся пожаром второй этаж, так и угарного газа нам весело надышал.

До потолка прыгал, отмывался водой, что по капельке внутрь. И сделал рыбу из капельниц, что болтается у него над рулем. И говорил отрывисто так, дерганный, как будто бы только сейчас надышался, хотя приехал уж Почитай полгода назад.

И вывалился в сугроб, сапог торчит до сих пор, и шапку, и голову там бы оставил, как она, врач, педагог, что босая по снегу бегала, лечилась, физкультурная, как статуя голоногая. А елку так и не подожгли. С другом шли туда, сорвать Новый год, и спички уже подносили. Как газовый друг, вот исчез, а вместо друга сугроб, потонула в сугробе рука.

Садился после книжку читать, разламывая корешок, как знаете, шпагу ломали над головой, накрыл лицо книгой и так спал. А только читать начинал, как понимал, что вот выросла макушка, и глаз на затылке хоть нет, но вот понимал, как только все прочитал, – что вот оно – коромысло окон и плеч, унося, выходит, сбрасывая плащ и пальто, твоё время, на окончности, вот он затылок твой, а верней, двойника, словно ладонью толкни его в лоб, упадет, а сам иди дальше, но страшно, что там, в этом дальше, с оглоблей и дышлом.

Увидел – на площади падает замертво лошадь. Ребенком увидел, и вот теперь тяпкою лупит капустные головы, лупит свой огород – и в том утонул огороде.

Таким он приехал ко мне, угоревшим, бессонным, и нервы извел, как жену.

И весь перрон перевернулся в глазах на четыре стороны, как бил поклоны, стуча своим лбом об ковер-самолет. В кепке сидел, развернувши назад, а обувь, да, обувь, ботинки – те снял, в стороне, собачьими мордами взывали.

Зашел в пустую он комнату мою, в голову мою бедовую, заложенную в ломбарде, пустую ужасную комнату, где из меня вышел весь страх. Страх ночи, убийства, мертвого тела, проводов мертвого тела, встреч друга живого. И хужак! опрокинул стакан, и еще, и еще. Что? – мою руки, да мои ли они, или это уж ноги мне моют? Таким был он – настоящий Джонни Мнемоник.

ОКНА, МЕНТЫ И ДВЕРИ

Мальчик стоял на двускатной крыше деревенского дома, на месте, где должен быть сказочный, леденцовый конек-петушок, и глядел в зеркало двора, как на глубокий и прозрачный пруд, и там отражалась высота, которой он не боялся. Ведь рядом, на крыльце, была мать и верная собака. На мальчика, сруб, крышу, и двор наползала глубокая тень, хотя вовсю жарило вертикальное солнце.

Прошло десять, а может и двадцать лет. Он выбрался на уступ из окна со вспартшколы и стоял там за углом стены, там, где падал снег, так, что из комнатыказалось, что его нет. Это была высокая мастерская, так что он забирался на высокую двухэтажную кровать без первого этажа и там обычно спал, так что вызывал удивление и смешок-испуг у тех, кто приходил утром – да, а ты уже здесь...

На скамейках у театра, на плешке, сидели в шляпах и пили «Мартовское». Хотя был уже май и падали снежинки – в тот холодный и особенный весенний денек. Садились голуби на примороженные лужи, а они курили сигареты «Астор», которые потом продавать перестали.

Потом с картофельными рюкзаками тянулся люд в сторону рынка за трамвайной линией. И возле общежития в магазинчике продавали по дешевке просроченный портер. С рюкзаками ходили за ним, с рюкзаками. Затемняли комнату, включали пластинки, трубили в мегафон. А однажды боролись-дрались и побили все стекла, а потом спал на стеклах железный человек. Спустились потом к Коле, этажом ниже. А когда вернулись – все побито, все разбросано, мыли и убирали все последнее воскресенье года.

Этих комнат знакомых, где спал, ел, где встречался, не перечесть. Но помнятся они, с темными тенями, со светлыми окнами. «Копты мне не снятся, не снятся Заир и Конго, снится мне старая квартира, окна, менты и двери», – писал он потом. И когда сидели в одной из комнат домов, которые эшелонами шли через память, он сказал, потянув руку вправо: здесь стена, – но на самом деле нет этой стены. Пройди сквозь нее и выйдешь в другом городе, незнакомым и новым человеком.

И когда виделись в последний раз, он улыбнулся смуглым лицом своим с желтыми смоляными, как у индейца, зубами – а был в холщевых полосатых, савим им сшитых штанах, которые янки носят, закрывая звездное небо, взял и поцеловал в лоб.

После он уехал в Персию, и да, видел его по телевизору – мелькнул в толпе, забившей до отказа площадь у мавзолея вождя исламской революции. И потом показали – на крыше дома стояла тень с автоматом, или как еще вы прикажете думать о смерти?

БУМАЖКА

В Баку, где моют лицо нефтью и ходят негром, на площади, окруженной приветливыми зданиями и новыми трубами, которые навели свои минаретные пушки в небо, Каспий мыл ноги Валентине, и она гуляла одна в свободной стране.

Трубили пароходы, которые шли в Персию и из Персии. В воздухе летали пери, ослепленные солнцем и падающие с Девичьей Башни. Они разбивались о землю, черную, как изумруд. Их встречали мужчины с железными цепями, которые били себя в грудь и надрезали лоб ударами сабель.

Старый город темнел домами, спрятав окна глаз во двор, – на арабских глухих стенах гуляли двери из угла в угол, с первого этажа под крышу, из-под крыши в другой угол освещенного солнцем прямоугольника. Город лапами оврагов сбегал к морю, и Каспий бил его волнами по морде, как большого черного льва.

Там, где раньше мальчишки чистили сапоги, теперь сидели художники. Валя попросила портрет. Высокая белая красавица с вишневыми глазами, в простом платье, с еще не проколотыми ушами села на подставленный складной стул и грустила. Тонкая кисточка вывела цвета из красок, художник помогал грифелем. Истомилась на солнце. Расплатилась с художником. В отпуск приехали? Да, в отпуск.

Заглянула в сумочку, достала записку с адресом. Глянула на часы, пора. Спокойно пошла на вокзал, хотя ноги несли, и почти перешла на бег. Солнце закатывалось в глазах. Время тянулось – и пугало обманами просьб. Маэста ожидания боролась с достоинством и тревогой. Он знала, что была честной. На нее заглядывались, но сразу же отворачивалась в ошпаренном обмороке.

Прибыл заколоченный состав. Сердце зашлось, заколотилось. В стены вагона барабанили с той стороны, крупными градинами. Бросилась вместе с толпой других женщин и сунула портрет конвоиру. Поезд тронулся.

– Алеша, – закричала она, – и темная глазастая тень мелькнула в проеме задвинутой дверцы вагона.

НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО

Светлый был августовский денечек. Собрались в аэропорт городской моя прабабка-бушменка, моя тетушка-эфиопка, моя спящая наяту мама и бабушка моя черноголовая. Челку перекидывала одна, вторая пела, третья давала всем прикупить, а четвертая опаздывала на суточное дежурство в город Нижний Тагил.

Времени много было, разрезали дома арбуз, большим ножом раскололи его

на две половины, а перед этим постукивали по нему гулко. Воскресный день был. Ровный свет падал на черные чемоданы, и была видна каждая буква на газете, которой били поганок-мух. Посидели на дорожку да и пошли от площади пешком по тенистой тополевой аллее.

Весело идти вчетвером, а прощаться все равно в слезах, как тогда – в войну, когда не знали, свидятся ли. А шагать все равно вместе весело – и близорукой бабушке, и прабабке-курильщице, и томной и скорбной тете, и беспокойной сонной маме.

Вот белый шпиль городского аэропорта, видны белейшие самолеты, белее самого света, белее развешанных крахмальных простыней. И пух лежит ровным платком. Бабушка идет, приплясывает, прабабка пошла за папирасами, мама торопит, тетя спешит. Приходят, а часы забыли с утра завести. Приходят, вернее, даже прибежали, а на самолет опоздали.

Вокзал пустой. Взяли билет на другой самолет. Расстались с прабабушкой. А мама с бабушкой полетели вместе с тетей, потому как беспокоились за нее – как там она одна на дежурстве, как устроится, как квартира, как соседи.

Прилетели. И не занося чемоданы, отправились в парк, чтобы воспитывать волю. Это значит – только смотреть на карусели, не покупать мороженого, прохаживаться весело и радоваться тому, что все люди братья. На черной голове белая косынка, в крокодильем портфеле врачебная трубка, на ногах сабо и платье в горошек.

А на первом дежурстве бессонная лампа, темнота, порезы, ссадины, разбитые головы, реанимация, все, что должно оставаться незримым для жителей хорошей страны. Бледная, бессонная Таня, бедовая голова, неделя пролетела. Мама и бабушка назад собрались.

Субботним утром, нежась под долгим утренним солнцем, нашла «Вечерку». Пробежала, а там внизу маленький квадратик в черной рамке. Самолет, на котором они прилететь были должны, разбился, погибли все пассажиры.

АРБУЗНОЕ ТЕМЕЧКО

Это было время, когда в полдневные улицы, усеянные летящим и сгорающим тополиным пухом, белым как снег и ставшим большой подвенечной фатой новобрачных, высипали десятки и сотни столетних старух, женщин без возраста, вдов с белыми телами, грузных и с большими широкими лицами. Они управляли страной, властно отправляя своих детей, недоделанных сыновей с печальной судьбой стариков, в магазин за продуктами, индийским чаем и русской водкой, чтобы потом те могли сидеть на кухнях, прильнув ушами к радиоточкам. Это было мирное время с последней большой войной, про которую пели в «Афганистане, в черном тюльпане».

Две женщины встретились на углу, затягиваясь беломоринами, постояли у хлебного. Одна носила платье и походкой старой цыганки гоняла воробьев. Боль-

шие выпуклые глаза ведьмы, насылающей на район бури, снег и град в первые числа июня, которых так боялись мальчишки, глядели косо.

Другая, достойнейшая августейшего рода, была в черном. С большой седой головой, полная жизнью простого быта – также переселенка из дальнего города – сегодня пришла за алтайским, маленьким, как затылок бутузом, арбузом, постукивала темечко. Он попросила папироску у первой.

Трубы текли, потолки осыпались, росли две дочери; первая – широколицая, молодая красавица, вздорно смеющаяся и уже также курящая, направлявшая лодку своей жизни через Дунай, прекрасный и голубой, выросла большая и веселая, несмотря ни на что: ни на то, что пришлось мыть полы, ни на то, что пришлось наслушаться разговоров про распил головы.

Вторая – индеанка, любившая носить красный атлас платьев и синий и фиолетовый шелк, и сама как швея. С умным взором двух глаз, с диковинами снов, где по радио транслировались голоса с того света всех любимых и самых любимых людей. Первая никогда не готовила. Вторая выращивала на балконе помидоры, маленькие, красные и желтые, размером с крупную ягоду.

Была еще и сестра, но она уехала далеко. И теперь, уезжая в далекий город, одна надеялась вернуться с мужем, а вторая всегда возвращалась одна. И пока матери стояли у хлебного, две подружки пришли в кухню квартиры с круглым или квадратным столом, и первая, с веселым смехом проглатывающая любую утрату и самую страшную скорбь, закурила сигарету с ментолом и рассказала второй, что случилось с кем-то, кого она потеряла.

Он стоял перед комнатой, загороженной цепью в красном и черном чехле, как японские ножны, и за этой заградой виднелся стол, тахта, и чайник, и краешек зеркала. Комната осталась в полностью перестроенном доме, и в этой комнате кто-то застрелился. И он понимал, что хочет войти в эту комнату, и сделай он так, ничего бы не произошло, лишь бы не наругали и не накричали. Но порог обозначал тот предел, который не преодолеешь, ведь эта была комната смерти. Невероятная сила прижала его стопы к земле, как будто бы вбила по шею в песок.

И мгновенная вспышка перебросила внутрь его тень, и он увидел свое отражение в зеркале, да теперь только двигались тени, а тела лежали ничком. Словно руки-стрелы часов, бродившие по кругу, побежали обратно, и только негрские негативы стали жить в газовом безвоздушном пространстве камеры.

И наша красавица поехала за ним, потому что больше не было писем, – куда пропал человек? – наводила справки, стала сестрой милосердия, стала монахиней, и долго тогда ехали поезда, и долго плыли пароходы, и много проплакано было глаз, и волосы утратили цвет.

А он лишь обернулся и, пристукнув пятками, вышел из теневого кабинета и оказался на ступеньках военного трибунала, молодым стариком, и спустился по лесенке и сфотографировался, а после поехал на пыльном «Лиазе», и вот вышел на Морском, и подошел к хлебному, и первая старуха, ведьма, перекрестилась, а вторая выронила младенца-арбузика из неловких измученных рук.

ЛЫЖИ (С НОВЫМ ГОДОМ, ЛЕВ СЕМЕНОВИЧ)

Наш рассказ вполне серьезен,
Родилась в одном колхозе,
Расцвела подобно розе
Манечка.

Поехал. Отправился я в отдаленную часть города (Есенина, кв. 184) за лыжами. Когда-то давно я там бывал, мне доводилось бывать там. Ехали тогда очень долго. Там жил старший мальчик Вова, он носил очки, он дружил со мной, дядя Семен и мама Вовы. Но тогда у него уже не было сестры (имя я забыл), сбила машина. Тогда так и говорили (не хочу вас обманывать): сбила машина. Самая длинная улица города (Бориса Богаткова), частный сектор. Вот девятиэтажка, дом-книга, дом-ключка. Как я узнаю дом? Так не помню, увижу, тогда вспомню. Вот поворот, здесь сбила машина. Вот спуск по лесенке, вот первый этаж. Вот предбанник в девятиэтажке, здесь курит Вова. Вот квартира, там мы играли с Вовой и фотографировались, он обнимает меня, приобнял за плечо. Мама Вовы. Вова спит, но звонит будильник. Мама Вовы отдает лыжи. Дядя Семен умер в горах, за ним посыпали вертолет.

Забираю лыжи. На улице стоят пять мужиков, они ругаются матом (матерятся). Поехал назад. Лыжи лесные, большие, не помещаются в автобус. Дядя Семен умер в горах. Не могу вспомнить имени, вспомнил фамилию (Феофанов), умер, а последний день провел в лесу, собирая грибы. За час до работы. Они работали вместе, хоть ехать долго (улица Богаткова) и никогда не опаздывали. Товарищ рассказывал, что его сосед тоже умер, когда поехал за грибами, но прямо в лесу (на грибах). Рассказывали, что, когда видишь в последний раз, точно знаешь (когда вспоминаешь). Последний день. Некоторых видишь один только раз. Один лишь раз. Один лишь раз. Когда видишь второй раз, иногда как будто расстались вчера. (Д. А.) купил будильник (мне нужен будильник). Автобус.

В автобусе. Кружит по городу, едет по прямой. В городе комнаты, заглядывали в окна? Человек, стоящий у окна. Кружится квадрат (кровать). Был у Дани, спал на кровати его матери. Живем один раз. Один лишь раз. А Христос воскрес. Но все равно живем один раз. В автобусе. Четыре сидения на возвышении. Посчитай, один, два, три, четыре. И на них сидят. Никогда не видел, но сразу узнал. Хотя видел, два раза уже видел, другие, но все равно сразу узнал. Ну и хер с ним. Лыжи не помещаются. Вышел, приехал.

31, делать уборку. Квартира пуста. Мама в магазин пошла. Радио играет. «Едут, ищут, нет ответа, едут, едут, Маня, где ты, отыскали, ты ли это? Манечка».

Улица (Богаткова), остановка (Есенина), остановка (Доватора), там совсем с

другими людьми, только переехали. Остановка (Дм. Донского), это как ехать «за аэропорт». Магазин «АЛПИ» (это фамилия). В автобусе. Девушка (кондуктор), с наступающим вас, третий раз сегодня с вами.

ДВА РАССКАЗА ДМИТРИЯ ДАНИЛОВА

Вторую ночь подряд мне снится писатель Дмитрий Данилов, причем не сам по себе, не только сам по себе, но еще он пишет в моем сне рассказы. Один рассказ получился длиннее, а второй короче, но зато уже был опубликован. В книге Данилова «Дом десять». Так как второй рассказ вышел покороче, а первый рассказывать дольше, я начну сразу же со второго рассказа. Я проснулся среди ночи и решил записать рассказы, потому что понял, что третьего рассказа могу и не выдержать. Не бывать ему, третьему рассказу, в моем сне.

Мне приснилось, что Дмитрий Данилов стоит у прилавка магазина «Надежда» – это старый магазин, я в нем бывал еще в детстве и помню всех продавцов, наверное, потому что в хлебном отделе – там раньше был хлебный отдел – работала мама моей одноклассницы кассиром. Последний раз я видел одноклассницу десять лет назад. Яглянул в окно и увидел, что на другой стороне самой широкой нашей улицы – Красного проспекта, или, как говорит Николай Кононов, улицы Красной – лежит человек без движения. Я встревожился и тревожно прильнул к окну – подъехала «скорая» и подтвердила мои худшие опасения – то есть приехала и уехала. Человек, значит, был настолько мертв, что его даже «скорая» не берет.

Я спустился по лестнице с пятого этажа, перешел дорогу и побежал к лежащему человеку. Он оказался еще живым. Хорошо, подумал я, и догадался, что он просто пьян. Я поднял его, взвалил наполовину на себя и через полчаса дотащил до дому. Там я увидел свою одноклассницу, он оказался ее соседом, и мне сказали, что он выдумал все, что касалось его семьи, на которую жаловался, и посмеялись над моей сердобольностью. А теперь хлебный отдел как таковой закрылся и большие вентиляторы под потолком больше не врачаются. Зато там продаются конфеты.

Именно за конфетами и пришел Дмитрий Данилов в магазин. Он собирался к своему другу и выбирал конфеты. Выбирал он их в винно-водочном только отделе – он попросил посмотреть пастилу двух цветов, красную и белую, а потом еще синюю. Затем Данилов, который держал эти пачки с пастилами, попросил еще ирисок. После ирисок он спросил про батончики, а затем сосательные конфеты и карамель. Все это горкой складывалось у него в руках. Затем Данилов сказал, обращаясь ко мне: спасибо, мне всего этого не надо, ничего не буду покупать. Тут появилась книжка «Дом десять», и я закончил читать второй рассказ писателя Данилова и проснулся.

А в первом рассказе было следующее: Дмитрий Данилов отправился к другу в больницу – навестить – за город. Я присутствовал при этом – сели мы в электричку, которая ехала по автомобильной дороге. Хорошо было ехать – едем, едем, хорошо. Неожиданно перед Даниловым появляется его друг – прямо напротив нас, хотя он и лежит в больнице, – лежит, а чувствует, по его собственным словам, хорошо. Тут в электричке появляется палата, в которой лежит друг, коридор и столик медсестры.

Потом электричка останавливается, и мы оказываемся в дачах – возле реки. Солнечно, хорошо, свежо. И доходим до предпоследней грядки – то есть Данилов доходит – и я дохожу, и при этом я только читаю рассказ Данилова – не из книжки «Дом десять», а другой. И тут выбегает нам навстречу женщина – хозяйка огорода, которая корпит над ним и ведра выносит. Тут мы проходим последнюю гряду, и нам становится ясно – потому что об этом громко объявляют в моем сознании, – что умер Гурий, последний представитель федерации летчиков.

Сентябрь 2009

Александр Мурашов

РАССКАЗЫ

Предисловие

На первый взгляд проза Александра Мурашова выглядит старомодной: она не заигрывает ни с хорошо продаваемой социально ангажированной словесностью, ни с многочисленными опытами деформации повествования, на которые было щедро прошедшее столетие. Радикальность манеры Мурашова легко уловима — слишком явно она напоминает о том, что слово остается мощным инструментом по созиданию действительности, не менее реальной, чем сама реальность.

Рассказы, приведенные в данной подборке, может быть, и не создадут исчерпывающего представления о писателе Александре Мурашове, ведь они очень плотно связаны друг с другом, в их мир тяжело погрузиться, но и выйти из него не менее тяжело. С самого начала читатель словно бы начинает увязать в многочисленных деталях, кажущихся даже избыточными. Эта насыщенность заставляет вспомнить убранство соборов испанского (а может быть, и еще более пышного мексиканского) барокко — бесконечные орнаменты с вплетенными в них статуями, живущими собственной жизнью. Эта детальность или «обжитость» повествовательного пространства может показаться связанный скорее с модернистской эпохой или даже с предмодернизмом Флобера — не так ли реконструировал французский писатель быть Карфагена в «Саламбо»? Но прописывать эту прозу по ведомству «запоздалого модернизма» едва ли верно: с одной стороны, персонажи да и сам мир, их окружающий, будто бы существуют между сном и явью, словно не могут освободиться из-под гнета обступающих галлюцинаций, что может быть расценено как примета модернистской прозы (или даже, точнее, магического реализма). С другой, использование анекдотических фабул и прямо-таки абсурдистские принципы построения сюжета выявляют то totally ироническое отношение к внутренним механизмам текста, которое безусловно ассоциируется с про никнутой постструктуральной игрой литературой последних десятилетий.

Примеры многочисленны: можно вспомнить о Михаиле Габалове, предок (или двойник?) которого в начале двадцатого столетия писал романы под псевдонимом Валье и путешествовал по Европе (рассказ «Бедные преступники», опубликованный в недавнем выпуске альманаха «Акцент»), одновременно проживая в Москве двухтысячных и готовясь к некому величественному предстоящему пути, контуры которого скрыты от читателя во тьме («Там, снаружи»). Или другой при-

мер: чего стоит розовый крокодил-альбинос в «Игре Лионеля», увидев которого Лионель уже не смог (по каким-то, опять же, скрытым от нас причинам) вернуться к прежней светской жизни.

В некотором смысле перед нами символическая проза, где посторонние и на первый взгляд отвлекающие внимание детали намечают линии «тайного» сюжета, разворачивающегося параллельно наблюдаемому. Каждый упомянутый предмет, кажется, готов рассказать многое, но на поверку скорее ставит новые вопросы, чем отвечает на заданные: что М значила греческая ваза, «расписанная по темно-оранжевому фону черно-белыми фигурками совокупляющихся сатиров и гермафродитов», которую Лионель принес своему учителю-картографу, а что М изображение демона Бафомета (чье имя в полиндромическом прочтении дает ивритское слово *мудрость*) в подвале венецианского дома (у которого, как выяснится позже, вовсе нет подвала) в «Бедных преступниках»?

Явно, что вся эта символика связывает все пространство прозы Мурашова в единое целое, независимо от того, происходит ли действие в настоящем или в некотором отдаленном прошлом. Заметим, что в вещах, обращающихся к современной нам действительности, автор позволяет себе увлекаться натурализмом, который было бы легко принять за чистую монету, если бы события на уровне «натурального» хоть что-нибудь здесь объясняли, – те или иные жесты героев обретают смысл исключительно в перспективе их мистического (и это не случайное определение) толкования, требующего расшифровки всех встречающихся читателю символов. Автор словно бы задается целью выявить за поверхностным течением событий глухую пульсацию *вечного*, которое, по сути, и является здесь единственным предметом описания. Мурашов почти явно говорит о такой подоплеке своего метода в рассказе «Там, снаружи» (до последнего маскирующемся под криминальную драму), приводя хрестоматийное motto Николая Кузанского: «Познать в точности одну вещь означает познать все». Именно индукцию такого рода и предлагается проделать читателю приводимых рассказов.

Кирилл Корчагин

Игра Лионеля

Лионель родился в обветшавшем замке с облепленными пылью полуистлевшими практурскими шпалерами, которые рассыпались бы вместе с пылью в ключья, если бы попытались смахнуть, отлепить, как пленку с глянцевого яйца. Побледневшие плоды, цветы и птицы на шпалерах словно существовали скучной и томной жизнью за поверхностью тусклых, пожухлых зеркал.

Повсюду меблировка прошлого века, с высокими жесткими спинками черных стульев на «соломоновых» витых ножках, цокнувших однажды в шахматные полы, подлокотники поддерживались столбцами.

В одном из залов-комнат на громоздком столе стояла изящная греческая ваза,

расписанная по темно-оранжевому фону черно-белыми фигурками совокупляющихся сатиров и гермафродитов. Вазу не прятали, так как Дедушка Лионеля полагал, что рисунок является аллегорией, и часто часами раздумывал старый герцог де Ла-Тремуй-Сентонж о возвышенном смысле криптограммы: то ли движение светил в междупланетном эфире, то ли поединок пороков и добродетелей.

Воспитывал Лионеля священник, весьма ученый, добродушный, но брюзгливый и любивший казаться строгим и брюзгливым. Кусты светло-багряных нежных люпинов с прозрачными, как восковые раковины на свету, башмачками фей, а рядом с ними торжественные фаянсовые дельфиниумы и мелкие, бледно-полночные и йодистые ирисы в саду замка помогали прогуливающимся взорам Лионеля спрятать латинские глаголы, склонять местоимения, повторять наизусть слова проповедников, словно вся наука воспитателя была затвержена в них. Из рукава наперстянки выкатывались бордовые крупинки точек.

Кюре, поклонник Фенелоновых «Похождений Телемаха», негласный почитатель сразу и мадам Гюйон, и «Юлии» Руссо, предоставлял природе заботиться о вкусах и впечатлениях ребенка в ее неоспоримо богоданных красоте и упорядоченности, которым философы никогда не придумают объяснения, и полагал, вслед, кажется, за Тертуллианом – и весьма справедливо, что «душа человеческая – католичка». И как испуганная всегда внезапной болью собака, плакал в деревне колодезный рычаг сумеречною водой.

Отец был болен, тяжело и безнадежно, мать – чуткая, сострадательная к любой трепещущей былинке, набожная и чрезмерно ласковая. Когда отец играл на сухом клавесине мотеты любимого им, в захолустье, Люлли, почти лишая семейство и намека на удовольствие от звуков придворно величественного «Te Deum», которым грянет оркестр и хор, Лионель смотрел на мать и видел, что она, увядающая домовитая женщина, готовящаяся к смерти мужа, которым единственным была повседневно занята уже много лет, уверяется в каких-то выпестованных уединением мыслях, замирая, как муха осенью.

Вероятно, то были не слишком удобные для просвещенного века мысли и не слишком удачные для воспитания мальчика, может быть, сродни Люлли и мадам Гюйон, и они принадлежали ко временам угасающей славы Короля Солнце, когда мистицизм еретиков и ханжество могущественной де Ментенон сражались в сердце самой католической церкви.

Однажды подростком Лионель вернулся позже обыкновенного из одинокого, дикого блужданья по окрестностям и заговорил с матерью возбужденным и необыкновенно отрешенным голосом:

– Я хотел бы жить на берегу моря, в хижине с четырьмя стенами – четырьмя Евангелиями – и несколькими книгами, чтоб не было больше ничего, только поблескивающие осколки раковин на узлах сущающихся на пляже рыбакских сетей...

Надо сказать, что до моря было как до иголки в стоге сена, и мальчик никогда не видел ни волн, ни песчаных берегов, ни рыбаков. Зато Лионель мог долго слушать щебет и плескание заросшего кустарником ручья, отделявшего усадьбу зажиточного арендатора, «Сторожку», от лугов, и поток повествовал ему дикарские сказки и жития, которых не выдумаешь ни на какой кребиЙ-

новской софе, ни в каком суровом монастыре. Нужно было лишь перейти по скользлому мостику на луговой берег с усадебного. Предательство: холодные мостки...

По ночам черное Распятие на беленой стене освещалось росистым льдом луны, и Лионель рассказывал Господу-Христу, в неге мягко льющих простины, о том, как в памятный вечер пошел в отдаленную дубраву, в запретные рощи, по руслу ручья, чтобы найти его источник. Попал в какое-то влажное, рокочущее место, устланное рыжеватыми иглами лиственниц средь лоснящихся, мокрых, ржаво-бурых стволов, и поспешил на шум, усилившийся при каждом шаге, прежде чем исчезнуть со всеми звуками: это был водопад.

Родители опасались за его рассудок. Он рассказывал им, что лазорево-пурпурные птицы в золотистой пыльце на закате садятся на подоконники, а послеполуденные облака на густой бирюзе нагреты светом до белого каления. На шиповнике сидели ангельские бабочки с малиновыми крыльями, жасмин по ночам растворялся в белом тумане, в котором играют дриады и который пропитывался запахом их волос.

Пред дневной лазурью, безоблачной, плоской лазурью он испытывал не то чтобы страх, а чувство летящей на него боли, мчащейся со сверхскоростью из недр затаившейся ночи, которая сама по себе, впрочем, прокрадываясь в сумерках, не пугала его. Он знал, что слишком велико полуденное расстояние и боль никогда его не достигнет, он мог не бояться, но попробуйте-ка жить в пропасти под нависшим утесом или на утесе над пропастью, хоть и зная, что ни при каких обстоятельствах не произойдет обвала. Поэтому он любил облака.

Облака вызывали в нем ощущение нежной любви, как будто поверхность его глаза была как подушечка пальца, ласкающая их белый мозг, проводя по переплетенным извивам. Он мог следить за ними долго, пристально, не меняя точного направления взгляда.

Одни, разворачиваясь, сия и угасая, распадаясь и скучиваясь, напластивались, упливали с неторопливостью и страшной громоздкой неумолимостью огромных рыбин, другие занимали их место. Их тени по земле были как выжимки. Бывало, он запрокидывал голову, и синее небо падало стремглав вверх, в бесконечную бездну, с нарастающим звоном и гулом, и он призывал облака, а те показывали кайму из-за верхушек леса за лугом.

Однажды приехавший из деревни доктор, улыбаясь, протянул ему на большой и несколько мужицкой ладони маленький прямоугольник. Это был книжица, посвященная путешествию индийского царевича в страны, населенные оборотнями, псоглавцами, подобными Святому Христофору, водяными и феями.

Лионель не понимал иносказательного иронического смысла, хоть доктор и сказал матери: «Мальчику нужно отвлечься от бесплодных фантазий и в занимательной форме ознакомиться с устройством настоящего мира». Бедный деревенский олух, самодовольно подвизающийся у наследников де Ла-Тремуев и де Ломов! Доктор не понимал, что только очень невежественный человек может надеяться на существование некоего настоящего мира, в котором господин суперинтендант финансов раздумывает над государственными займами, господин мар-

шал о военных кампаниях, а физики – над атомическим учением или о свойствах далекого эфира и в Испании снесли старый алькасар Габсбургов и построили роскошный новый дворец во вкусе версальском!

Просвещение сломало длинные скептические холеные ногти о неслышимый грохот водопада, в котором исчезали привходящие звуки, столь заботящие внешних людей. Эти звуки, смешно кувыркаясь, уносились с водой и рассеивались, не долетая до камней, в однородном облаке молчания, в рокоте и шелестении брызг. Сказать ли, что эти звуки были слова? Аккуратнее следовало бы выразиться так: это были смыслы слов.

Однажды обыскались и нигде не нашли Лионеля, как не нашли и дедушкиной греческой вазы. Тут только мать поняла, что ребенок рождается не весь, не целиком, и отсутствие произведенной на свет части причиняет острую боль в оставшейся внутри материнского тела. Как-то одна хеттейская царица сказала: «Я словно корова с вырванным чревом», – когда владыка хеттеян лишил ее ребенка права наследования.

А в городе, довольно-таки удаленном от замка, подросток появился через несколько дней, выпавших из совокупной истории человечества. Он сразу нашел картографа господина В***, о котором ему рассказывал аббат. Назвавшись, он получил аудиенцию и поставил перед этим немолодым, по-львиному взъерошенно поседевшим человеком дедушкину вазу.

– Изумительная вещица и весьма загадочная. Я видел такие в коллекции одного итальянского аристократа, и он меня заверял, что больше нигде ничего подобного не обнаружить, они были из Золотого дома Нерона, – быстро заговорил завороженный старик, затем наморщил уже хиреющий ум в куриную гузку.

– Вы никому не рассказывайте, что я пришел к вам, – попросил Лионель хмуро и убедительно. – Ведь тогда придется ее отдать.

Так Лионель стал тайным учеником картографа, не спускавшимся из верхних комнат, когда к хозяину приходила пожилая посетительница – его прислуго, прачка и кухарка, не допускаемая наверх. Очертанья материковых линий и островных на голубом шелке нарисованного моря соответствовали облакам, соответствовали тем арабескам, что Лионель выводил на полях своих ученических тетрадей, узорам, не похожим ни на привычные образчики орнаментов, ни на растения, ни на животных. Была особая хитрость, волшебная трансмутация в том, что рыхлые и покатые узоры облаков облекались плотью земли, костью камня, приморских краев и гор. Земля возникала из воздуха, нет, из испарившейся воды, соткавшейся в воздухе в легчайшие увесистые глыбы. И лучшее, основное в облаках было то, что они движутся бесшумно. Как песчинки в часах.

Королевский картограф, помимо занятий географическими атласами, вытасчивал линзы, и в эти линзы даже высмотрел прозрачные нити Парок – нити причинности. Но Лионель не заинтересовался этим. Он думал: «Часы идут в обе стороны. Сейчас, смотришь, стрелка двигается снизу вверх, потом – сверху вниз». Если помыслить будущее, то ничего не представишь, кроме – так ли, иначе ли – измененного прошлого, пусть такого, о каком лишь слышал. Значит, прошлое идет в будущее, будущее, проживаясь-процеживаясь, идет в прошлое: вот и движут-

ся часы в обе стороны. Ему иногда думалось о том, что он мог бы заколоть картографа ножом для разрезания бумаги и сбежать, никто поначалу, а может, и вообще не узнал бы о нем, Лионеле.

Через несколько лет Лионель уехал из провинциального городка в Париж со своим искусством и запомненной дословно болтовней старика-наставника. Он стал одним из королевских картографов и секретарем «принца крови», герцога Омбральского. Из пламени разлитого по небу света сплетались облака, осаждались водой, а в воде сгустками пены собирались материки. Линии подчинялись давешним арабескам. Путешествуя по картам Лионеля, плутали моряки, и изредка тонули их корабли, но море, известное дело, опасная штука. И в Париже среди особ, более известных со спины, было принято иметь секретарем образованного молодого человека, готового говорить о древностях, о географии, о ботанике и о чем ни придется. В сущности, назначение произошло случайно – как, впрочем, оно и происходит обыденно. Став королевским картографом, он удостоился внимания герцога, а удостоенный такого вельможного внимания, он уже не мог бы потерять должность рисовальщика материков и островов (следовало бы сказать рисовальщика морей и заливов, суши – это не занятое в данное тысячелетие водой морское дно, как вода – это сжиженные облака).

Герцог, похожий на яйцо в изящном стаканчике, длинноносый и с обрюзгшими щеками, был неглуп. Но, во-первых, одна признанная случайность события изобличает природу тысячи других случайностей, поэтому лучше вообще не затевать разговор. Во-вторых, молодой человек, выросший в деревне, среди провинциалов и трав, действительно мог считаться знатоком ботаники по сравнению с воспитанным в Париже аристократом, чьи впечатления от туманного леса и мокрых лугов исчерпывались итогом: дичью. В-третьих, по разным причинам разные энциклопедисты были очарованы Лионелем, его персиково-нежным, медовым зноем кожи, ее хрусталем, в котором играло солнце, а главная была та, что те, кто были сведущи в ботанике, не очень уверенно себя чувствовали в географии, и наоборот. Этими извечными обстоятельствами объясняется, почему несуществующую романскую фреску Карла Великого предпочитали видеть все его приближенные, кому бы ни показывали пустую штукатурку потолка.

Однако нельзя было сказать, чтобы Лионель оставался доволен. Ему не было свойственно тщеславие, его не ласкала милость герцога. Картография, это ремесло мечтателя, превратила его в дотошного рисовальщика, трудящегося по надоевшей привычке. И он часто с меланхолией вспоминал, как после занятий с аббатом размышлял над Символом или над молитвою в цветнике, где перепархивали с длинного ворса молодых сосен на головы потемневшим от непогоды статуям пестрые птицы.

Облака, эти расплавленные мраморные статуи, украшали нежное небо Зоологического сада, куда Лионель в компании с утонченно-строгой виконтессой, поклонницей его таланта, которой он открыл свое происхождения от графа де Сентонж и герцога де Ла-Тремуй, пришел полюбоваться на крокодила-альбиноса, подаренного султаном Его Величеству. Нужно сказать, что от виконтессы Ли-

онель уже получил кокетливые свидетельства неравнодушия. А лежащий на бережке ручья, среди папоротников, крокодил был ровного розового цвета, очень белесого. Лионель оцепенело покачнулся. Полуразинутая пасть урода словно бы улыбалась.

Византийские изуверства никогда еще не колебали картезианский порт-тик Лионеля; поэтому слухи о том, что он отрешился от науки и укрывается в захолустном монастыре, совершенно неправдоподобны. Он жив — с тех пор, как увидел розового крокодила в Зоологическом саду, в «Сторожке» при родительском замке по смерти Дедушки. Мне отчетливее прочего представляются закатные лепестки осенних астр, грибная прель опавшего листвия, неестественно свежая, весенняя зелень мха на влажности октябрьских стволов. Бывший секретарь герцога д'Омбраль гуляет под руку с уездным лекарем, громоздким, мужиковатым верзилой, и время от времени вырывает руку, чтобы отойти в сторону и бездумным и очень значительным взглядом, наполняющим череп какими-то отголосками, смотреть на оранжевые зубцы листьев и на краснеющие постепенно уже ягоды рябины, траву с высохшими стеблями сорняков, покосившуюся деревянную беседку с куполом и огненный бархат песчаной дорожки в прозрачных лучах. Доктор считает это приступами *«dementia precoxa»*.

Император умер

Мы все жили еще в совсем ином городе и были совсем иные. Аудиенц-палаццо располагалось на вершине холма над рекой; тут, посреди Старого города, неподалеку от стрельчатых башен готического собора, полутысячелетний замок торлорских князей — Цитадель. Он замыкал ограду палаццо; вытянутый прямоугольник с кирпичной крышей был огражден с одной стороны стенами Цитадели, с другой — черной оградой с чугунными зверями и цветами. Мы сами были подобием таких чугунных, небывалых в природе — только в заповеднике геральдики сохранившихся — зверей и цветов, как заметил однажды Великий Камергер.

Мои комнаты в особняке Министерства двора были холодны и пустоваты; часто по исполнении своих обязанностей кравчего я садился в двухлошадный экипаж и отправлялся в небольшую квартирку возле Путевого дворца на окраине города; тут почти никто не обнаружил бы меня; летом окно, выходящее на уютную тесную лоджию, застилали приглушенным зеленым сиянием листы деревьев, пышные именно на высоте третьего этажа. Я поставил в кабинете четыре книжных шкафа, заполнив их только книгами, которым исполнилось сто лет. Обыкновенно я и спал у камелька в кабинете, на вытертом кожаном диванчике, в понощенном халате, под пледом, продырявленным молью. Великий Камергер был единственным из вельмож, кто знал из тайных докладов вице-директоров Наблюдательного бюро, что я живу в этом доме; но я должен пояснить, что мы все обладаем непременным достоинством — мы нелюбопытны. В одном старом романе герцог говорил своему слуге: «Если я

пьян, или у меня взъерошены волосы, или грязные ногти, ты должен видеть это, но ты не должен этого запоминать». Любопытство же всегда подстрекаемо хищной стяжательницей памятью.

В так называемых «демократических» газетах нас называли кадаврами. Что ж, для окружения Императора теней это разумное нарицание. Мой отец, придворный инженер, говорил мне, поигрывая оракулами чубука порой: «Ты не должен беспокоиться о том, что такое человек; тебе не придется сталкиваться с этими сугубо внешними обстоятельствами». У меня был блистательный отец. И впрямь мне описания Олимпа, которые я читал ребенком в книгах с гравюрами, казались более достоверными, чем бытовые романы Золя. Чинные Юноны, добродетельные и хмурые Минервы, торопливые Ермии встречались мне чаще, чем смертные, которыми они руководили. Я всматривался в нагроможденные завитками облачные подножия, в эмблему на шлеме воительницы, в штриховку шеи Аполлона и листья его венка.

Я был едва назначен младшим кравчим, когда произошло то, что в том или ином виде происходит со здоровым молодым мужчиной. Эта женщина, невысокая, хмурая, кажется, старше меня, встречалась мне, когда я выходил из экипажа, чтобы подняться по лестнице на третий этаж своей уединенной квартирки. Я все дольше и дольше с каждым разом задерживался на ней взором. Она как будто поджидала ежевечернего прибытия зашторенного экипажа. Однажды, поднимаясь по ступеням, я услышал следом за собою стучание шагов; она несмело поднималась тоже. Я пригласил ее войти.

Я не знал, что следует говорить в подобных обстоятельствах. Разумеется, меня приглашали на поздние ужины с нелепыми веселыми женщинами, но веселые женщины использовали рот не для разговоров. В моем кабинете-библиотеке мы, кажется, что-то незначительное сказали друг другу, то, что запоминается обычно как праздные реплики о погоде, хотя это были и не они; я словно поводил подушечкой пальца по ее соболиным, длинным и густым, хотя и тонким бровям, но на деле я только смотрел на ее овальное, остро суженное книзу лицо, помогая себе словами продлевать затейливое молчание. Чуть позже я ощутил, как мое тело наполняется наслаждением, а после наслаждения оно сжималось, словно губка, из которой выдавливают воду. Сначала я платил этой посетительнице, после того как в ноши она медленно одевалась посреди темной спальни; потом она предупредила, что платить уже не нужно и что, если ей понадобятся деньги, она попросит их у меня; и действительно, за годы нашей связи мне случалось выдавать ей на расходы по ее просьбе по несколько банкнот. Кроме того, я дарил ей дорогие безделушки, купленные по моему распоряжению камер-лакеем в фешенебельных магазинах, тем более дорогие, чем уверенней и неощутимее уже я подавлял досаду, наталкиваясь на следы старения на ее лице и на теле, которое видел, впрочем, лишь в сумраке; возможно, оно и с самого начала не было молodo, только обнаруживалось это постепенно. В одном не сомневаюсь: с годами она полнела, но, однако, умеренно.

Я не знал ее имени, и хотя она называла меня то на «Вы», то на «ты», я привычно говорил ей «Вы». Произнести, даже узнать, услышать ее имя было для

меня так же дико, как в ежемесячной исповеди доброму и чопорному священнику Аудиенц-палацу упомянуть о ней. В то же время я думал, что по-своему люблю ее, пускай для тени, «кадавра» и недостижимы чувства, так бойко описываемые поэтами. Однажды над терцинами перечитываемой «Божественной комедии» я задумался о моей подруге и понял, что, конечно, средь ангельского облистания я не встречу ее, но в тихий и сумеречный Элизиум именно она проведет меня сквозь теснину и чащобы, подобно Вергилию.

Впрочем, и до встречи с моей подругой мне довелось испытать привязанность, мутневшую от сладостного возбуждения и вдруг прорезаемую сиянием. После домашнего обучения истории, географии и языкам у вежливых гувернеров я был отослан родителями на два года в пансион для мальчиков, спрятавшийся за теснинами и чащобами в горах. Однако я должен спохватиться: о таких историях в закрытых заведениях не следует рассказывать.

Жизнь была неизменной, годы за годами. Несмотря на то что по совету врачей император отказался от привычных нескольких глотков алкоголя, я по-прежнему наполнял бокал во время его одинаких и одиноких обедов и ужинов светлой благоуханной струею выдержанного французского сухого вина из глубинных погребов. А моя подруга, уже увядаящая, молчаливая, поднималась по лестнице вслед за мной, дождавшись зашторенного экипажа.

Однажды она тихо и угрюмо-настойчиво сказала мне, мешкая раздеться и садясь в кресло:

– Император умер.

Я не дежурил уже несколько дней и ездил во дворец только для того, чтобы за шахматами и с книгой ожидать в одной из кордегардских зал, не понадобится ли моя услуга.

– Что ты говоришь? Что ты говоришь? – только и сумел ответить я.

– Это написано в газетах. Император умер.

Он был стар, это правда. И вдов. И наследником бездетного монарха считался какой-то князек, родственник его жены.

– Я уверен, что это ничего не изменит.

– У нас провозглашена республика, – с прежним мрачным упрямством сказала она.

Я сел в кресло напротив нее. Как мне показалось, она смотрела на меня с жалостью, почти повлажневшими глазами – и в то же время целомудренно скрывая непоседливое одушевление, похожее на темную птицу или ночную бабочку, влетевшую через распахнутое окно в комнату. Наконец она встала, и я увидел в ее руке заискрившийся стразами маленький пистолет – однажды я подарил ей его; она положила его на консоль и безмолвно вышла.

Никогда больше я ее не видел; я остался в безмолвии, которое и прежде-то скромно разбавлялось нашими краткими наметками бесед. На следующий день за мной не прибыл вчерашний экипаж. Из «демократических» газет я узнал, что Великий Камергер бежал за границу.

Там, снаружи

У Миши Габалова бывали сложные дни, когда тот лучший, одаренный и сверхразумный человек, который неуловимо живет внутри многих из нас – если не каждого, – начинал беспокоить его солнечной внутренней щекоткой, неназванными эмоциями и переживаниями пряно-сладкими, но обладающими неясным и как бы выскользывающим, непроницаемо-белесым значением. Было так, как будто он и следом все привычные слова невольно вырывались из удобной или тесноватой колеи, по которой Миша катился уже двадцать лет со временем младенческих, но никакого мира, в расхоже Мишином понимании, за пределами колеи не было, и что было – непонятно.

Миша был сыном врача-пульмонолога. Сам он не стал оканчивать медицинский факультет, ушел учиться на юриста. С помощью друзей отца он заполучил возможность заниматься оптово-розничным ремеслом; он покупал антикварную обстановку, или библиотеку, или коллекцию рисунков скопом и продавал предметы поштучно. Он не мог бы отличить гавот от менуэта, скучал над Гоголем, Достоевским или Набоковым, но он сумел за несколько лет превратиться в знатока мебели и художественных стилей и манер, ни за что не перепутавшего бы Корреджио с дель Сарто, или Сислея с Писарро, или Мунка с Хартли. И ни за что не поверил бы поддельному барочному креслу или альбомному рисунку времен Николая II, выдаваемому за рисунок барышни, которой сказал галантность Пушкин. Он знал, что, прежде чем писать коленопреклоненную Мадонну, художники Возрождения ставили перед собой на колени скелет со сложенными на груди кистями; что Поллайуола на картине «Святой Себастьян» написал не шестерых лучших, а трех, потому что остальные трое – их зеркальные отражения со спины; что венецианские стеклодувы учатся своему делу, играя на флейте; на полках в его гостиной-кабинете стояли альбомы с планами древних переднеазиатских городов, альбомы, посвященные каллиграфии, истории изображения раковин, искусству бальзамирования и мумификации; условным жестам и положениям тела в итальянской опере времен Гольдони; анаморфозам – уродливым и ни на что не похожим предметам и рисункам, которые для взгляда с определенной точки или в изогнутом зеркале принимают изящные формы портретов или человеческих фигур; крошечным макетам кораблей из египетских захоронений... Минимая бессвязность интересов хозяина указывала на то, что Миша разделял мнение кардинала Николая Кузанского: познать в точности одну вещь означает познать все. Есть притча о странствующем богослове, который хорошо понимал шахматы и даже наставлял в этой умственной забаве своих учеников, однако почти никогда не выигрывал. Однажды некий свирепый барон, известный искусствостью за шахматной доской, захватил любимого ученика богослова и предложил странствователю сыграть на жизнь пленника. Философ с легкостью выиграл. Когда его спросили, как же он смог отважиться на страшный поединок, он ответил, что сначала не решался, но потом, прослушав, что свирепый барон в молодости учился писать миниатюры, понял, что это подходящий противник, а раньше подходящего противника почти не попадалось.

Знакомство с Еленой сначала, как казалось, дало какую-то опору в странной непространственной среде там, снаружи, за колеей, — может быть, шарик отталкивания меж двух магнитов. В первую встречу, на даче Левантова, Мишного знакомого и покровителя, она приглянулась ему, но он подумал, что она невзрачна. Небольшая голова с вытянутыми скулами была малоподвижна, нос чуть приплюснут, рысы бледные глаза осторожны, внимательны и пустоваты. Он спросил, чем она занимается. «Я реставратор», — ответила она блекло и вдруг посмотрела на него недоуменно, искоса, заблиставшим классическим профилем, с вызовом и даже — можно было подумать — с ненавистью. Замужем она не была.

Влюбился или не влюбился Габалов, но радовался тому, что теперь встречается с ней. В этой сонной на вид женщине он обнаружил великолепную и изощренную любовницу, дышавшую свирепо и вольно, как после скачки на черном лоснящемся коне по закатному оранжевому плоскогорью. Короткие пальцы с остриженными ногтями, которые он окунал в свои крупные пригоршни, полюбились ему, как элегантнейшая ручка куртизанки на бархате театральной ложи. Что бы это знаменовало? Непохоже было на одни лишь возрастные перемены в самом Михаиле, вступающем в пышную зрелость. Однажды он беседовал с Левантовым в пустом ночном кафе об этом, и, поддаваясь поверхностному опьянению электрического света и раздразненный потугами Мишного любопытства, Левантов злорадно сказал:

— Весь ее секрет в том, что ты ее враг. На врагов мы затрачиваем гораздо больше житейской талантливости, чем на друзей или на любимых, — и его недоговоренность под черной, подкрашенной челкой дразнила.

— Почему же я ей враг?

— Потому что ты с ней встречаешься, и она возбуждается рядом с тобой, она привязана к тебе.

И Левантов рассказал редкостно мрачную историю. Елена Сурцева жила с родителями в доме без лифта и мусоропровода на окраине города, где на кривых тонких стенах заскорузло засохли отмокшие обои в ржавых подтеках, а беленые потолки приобрели оттенок серовато-пепельный. Она училась на художника-реставратора, но никто не обольщал ее самолюбие увереньями в том, что она даровита. Впрочем, ей хватало того, что за ней признавали, уважая, работоспособность, оценивали ее педантическое корпение и прочие качества, дополнявшие посредственную, но быстро развившуюся, ухватливую манеру рисовальщика-копииста. Она была ловка и опрятна, в ее беглой, ненарочитой линии ощущалась как будто хорошо рассчитанная грация.

Умерла бездетная двоюродная бабушка Елены, завещав ей запущенную, но просторную квартиру на Садовом кольце. Под залог этой квартиры Елена добилась щедрого кредита и открыла оформительскую компанию. Но однажды она, злополучно торжествуя, перебила заказ у более могущественного бюро. Несколько раз ей звонил вежливый пожилой человек и любезно и тепло убеждал ее отказаться от заказа. Она сидела в черном кресле с черными металлическими подлокотниками посреди серо-белой гостиной своих апартаментов и раздумывала о том, на что же надеется представитель враждебного оформительского дома. На треу-

гольном стеклянном столике стояла необлицованная глиняная ваза с узором, имитировавшим древнюю шумерскую керамику.

В ее квартиру ночью вторглись, легко обманув ее, две тени, сгустившиеся до плотности камня, она увидела лишь потоки тьмы и маски из продырявленных шерстяных шапочек, глазевшие безумными буркалами, они заученно, но не без атлетического вкуса избивали ее кулаками и резиновой дубинкой, швыряя послушное тельце, как мячик через сетку, друг другу и насиливали по очереди, топча сброшенный на пол ноутбук и музыкальные диски... переломали мебель, переколотили стекла стеллажей и витражи в дверях и ширмах.

В больницу ей позвонил участливый пожилой господин и спросил, правиль ли он понял, что Елена все же надумала примириться с его советами и отказывается от заказа.

— Да, — слабо и отрешенно ответила молодая женщина, помедлив, словно неохотно припоминая.

— Вам не стоит ломать перед собой Жюстину, или Поруганную Добродетель. Чего вы ожидали? Что с вами в кубики будут играть? Есть жестокие законы, и мы все вынуждены с ними сживаться. Поправляйтесь, милая.

Миша был ошеломлен. Он несколько дней не мог звонить Елене. А когда позвонил, ее ласковый беспечный голос был не слишком-то убедителен. Их встречи продолжились, он покупал букеты пышных астр оранжево-рябого цвета, бутылку бледного бордо, включал камин из эрзац-кирпича с эрзац-пламенем на телевизоре в жерле, ставил диск с торжественными и вычурными «Бореадами» Рамо. Но он заметил, что порывистое воодушевление, пронзительно-грустное и богатое, которое прежде относил на счет мыслей о Елене — в разлуке с нею, теперь бесцеремонно захватывало его и возле нее. А она пристально глядела на его обнаженные плечи и грудь, на предплечья и живот, словно изучая извлеченную из руляхи и пыли забытую картину.

Миша как-то рассеянно купил книгу рассказов Григория Валье, новеллиста и поэта начала века, чье устойчивое и сплошное забвение сменилось интересом к нему хорошо образованных людей и даже заурядных поклонников непощегленного чтения. «Эта книга — то же самое, что я для Елены, а Елена для меня», — подумал он. Он не очень заинтересовался рассказами, пока не увидел, сидя в кабинете одного собирателя Марковых томов ту же обложку на столике возле изящной кушетки, с бисерной закладкой.

— Нравится? — спросил он вдруг испуганным голосом.

— О да, — ответил коллекционер, невысокий моложавый человек с залысинами. — Вы знаете, что Блок однажды написал в дневнике, что с удовольствием читает Валье?

В лифте Мише было нехорошо. Кабина как будто двигалась в пустоте, а время расслаивалось, как холодная курятина в сэндвиче, на минуты дома у покупателя и минуты непостижимого будущего, зазор между которыми, «сейчас», был невыносим своим настойчиво присутствующим несуществованием. Наверное, неприятно ощутить исключение настоящего времени, наверное, неприятно ощутить отсутствие себя на именно этот миг, ощутить, как шасси, которые связывают

тебя со взлетной полосой, перестали касаться земли, – но был лишь испуганный морок: так расслаивается холодная курятина в сэндвиче, говорю я.

Шофер, благообразный старик с больной ногой, заспешил выкарабкаться из машины и открыть дверцу. На мягком заднем сиденье Миша Габалов открыл краткую биографию Григория Валье и уже не мог закрыть книгу до той минуты, когда он был ошарашен выпуклым, выжидающим молчанием шофера в остановившейся машине. Он читал: «Григорий Иванович Валье (Габалов) был известен современникам романами, которые сейчас не кажутся ни занимательными, ни хорошо написанными, зато его новеллы, вошедшие в сборники «Утро для Иоанны» (1904) и «Позлащенная змея» (1907), и некоторые стихи (единственный сборник «Океаниды», 1912) производят сильное впечатление. Отсутствуют сведения о том, что случилось с Габаловым-Валье после 1913 года».

А Миша не знал, что происходит с Еленой. Он говорил себе: «Это я расслаиваюсь, как гребаный дурацкий сэндвич». А между тем Елена однажды около полудня узнала в трубке вкрадчивый и флегматичный голос пожилого господина. Он посоветовал ей порвать с Михаилом Габаловым.

– Черт. Это не ваше дело. Как вы смеете?

– Милая деточка, мы живем в мире, где людей убивают во имя терпимости, всеобщего миролюбия и радужия. Вы можете верить в отвлеченное торжество добра, подлинного добра, и не без оснований, но это не значит, что вы не окажетесь случайной жертвой подробностей. Жизнь – безжалостный бизнес. Позвольте рассказать вам, что произошло однажды, не так давно, как притчу, если угодно. Одинувшийся деловой человек своевольно увеличил процент по ссуде, выданной молодому программисту. Тот сказал, что завышенной лихвы не заплатит. Тогда ему под дверь подбросили проститутку, которую он незадолго до этого снимал. Ее трижды ударили ножом снизу между ягодиц и задушили. Вы понимаете, что нелепо спрашивать, в чем она была виновата?

– Я вижу, вы философ. Как жаль, что такой утонченный анархист, как вы, может попасться под руку совсем нефилософским государственным чиновникам!

– Вы же не самонадеянная мещаночка… уже. Существуют правила над законами человеческими, и это не анархия.

– Вас-то кто в бичи Божьи произвел?

– Вы меня переоцениваете. Я всего лишь тот, кто освоил бытовое ясновидение как точную науку. Поэтому вас предостерегаю. Прощайте. К сожалению, сугубо умозрительный диспут с вами для меня пресен.

Но Елена была и впрямь другой женщиной, чем семь лет назад, когда впервые услышала этот немолодой и нездоровыи голос. Может быть, она осталась «самонадеянной мещаночкой»; она еще тогда, после выписки из больницы, купила через знакомых пистолет. В лесу неподалеку от родительской дачи она упражнялась стрелять. Кроме того, она хранила тяжелый металлический штатив от расколотого стеклянного столика.

Миша редко бывал в Елениной квартире; разумеется, это она не любила его приглашать сюда. Он начинал житейски и мысленно подражать Григорию Валье, думая о своей связи с Еленой. В предисловии было сказано: «О скептическом от-

чаяний и сохраняемой в самом отчаянии проницательности Григория Валье свидетельствует строки из письма сестре: „Знаешь, Вера, жизнь можно либо прожить, либо записать. Я свою записываю, как ляжет на бумагу. Мне ли жить? Это, как известно, за меня лакеи делают“». И Миша думал о Елене: «Может быть, я и не могу любить ее неущербно, без зазора между собой и любовью, без прорехи в чувствах».

Однажды он шел из отдела альбомов и книг по искусству известной московской библиотеки и предзимней оттепелью, против таганского жилого зиккурата, посмотрел, вдруг увлеченный, на фонарные блики в ручье под ногами: это сверкание апельсинными дольками, такими мгновенными, в черной асфальтовой воде приподняло в нем к поверхности сердца и глазных яблок угнетенный прежде восторг, восторг и удовольствие; он понял, что имеет дело с теофанией, границы его существа исчезли, но не пропали, а лишь стали прозрачными, он почувствовал себя звеном, неуничтожимой конstellацией в кристаллической решетке огромного, как планета, бриллианта. И он испугался, что блистающие, незамирающие рыбки выплынут из его кристаллической ячейки; он подумал о Книге Иова, о низких округлых иконописных сводах, и мельтешащие золотые рыбки превратились в осыпающиеся золотые угли костра. Он испугался.

Когда Елена кормила воробьев во дворе, сидя на скамейке возле оттаявшего газона, пожилой человек с седыми маленькими бакенбардами, обрамляющими широкое лицо в очках, подвел таксу к ней.

– Видимо, нам следует все-таки побеседовать, – сказал он, и Елена узнала голос.

– Почему вы хотите, чтобы я рассталась с Мишой?

– Милая, вы похожи на человека, который входит в темную комнату с одними наручными часами без подсветки и спрашивает, который час. Ради бога, я скажу вам, но светлее от этого не станет.

– Так скажите.

– Ну, слушайте. Дело не в банальной выгоде, а только в том, что женщина иногда мешает мужчине. Она занимает чужое место. Не поймите превратно, речь не идет о ком-то осозаемом, речь идет о самом Михаиле Габалове. Если бы я мог выразиться яснее, я бы выразился. Вам не хватает смирения признать, что ничего не поделаешь, придется остаться в темноте.

Елена молчала. Она оценила метафору собеседника о темной комнате, наручных часах и вопросе о времени. По крайней мере, ее противник был последователен. Клювики дождя подняли темные призраки рыб со дна каждой мелкой лужи.

Лицо его вдруг постарело, на нем загустели синие впадины, он, как через силу, мучительно перебарывая сопротивление в себе, сказал:

– Хотите... идите за ним, в темноту, но поодаль... поодаль и... не о чем не спрашивайте.

Елена стояла на высокой городской стене, меж зубцов, и смотрела на своего Агамемнона.

Тысячегранник

В горный монастырь со славянского северо-востока привезли погребальный покров с вышитым мертвым Христом и скорбящими апостолами; по углам прямогоугольника ткани были изображены эмблемы евангелистов – телец, орел, человек и лев. Родриго осмотрел анатомический узор мертвого, почти обнаженного тела и остался более доволен, нежели недоволен. Конечно, его учитель-флорентиец, который мог бы посоперничать и с самим Маззаччо, изящнее и точнее вымерил бы пропорции, но все же неплохо для варваров из-под пасмурных небес, ссыплющих полгода ледяным пухом. Молодой монах Бернардо прижал к груди самшитовые четки, древесина которых означаладержанность, а зерна были вырезаны в форме шишек, так как смола сосновая истекает подобно молитве, а ель знаменует смижение, шествующее впереди прочих добродетелей, поскольку таково ее имя – *abies*. Монаху не понравилось, как художник проверил вязь мускулов под тканой кожей Христа, безо всякого благоговения, словно пред ним была свилеватая колода, на которой он считал сучки.

Прохладный солнечный луч, разреженный оконной пылью, озарял залу. Предметы ладно держались на своих местах – столешница, кувшин с родниковой водой, деревянный шандал, скамьи, распятия на стенах, определенных им целостностью порядка, в который все слагается, каждую минуту заново, под переменчивым потоком света. Родриго полоснул беглым и ухватливым взором по понурой седловине плечей и хребту отвернувшегося юноши. Привычно он скинул глазами на пол рясу, оглядел устье шеи, впадающей в продолговато очерченную выпуклость спины, словно подушечкой пальца покатал на месте каждый из остро выступающих позвонков. Он провел сверху вниз ровные грифельные линии вдоль позвоночника через равные промежутки и мысленно исчислил углы между крайними из них и зеркальными изгибами расширяющегося к плечам туловища, исчислил и оборотные углы у бедер. Бернардо в это время сунул руку под рукав рясы, почесывая у локтя. Он не знал, что художник разглядывает его обнаженное тело, как предмет, своеобычным образом обтекаемый воображаемым светом, но лопатки монаха дерзко и яростно встретили своими горбинами исследующий взгляд.

Краски на доске с Благовещением прибывали медленно. Аббату доносили, что художника видят на горной лужайке лежащим на животе и разглядывающим стебли травы, узорчатую резьбу стелющихся растений, лепестки бледных цветков и упорные торопливые движения насекомых. А то он стоял над пропастью на утесе и швырял камни разной величины вниз, следя за их падением. В его тетради под рыжим и черным углем вспучивались узловатые древесные стволы, мелко зыблились листья, раздавались кривые ветви, протягивалось окошко щупальца кустарника, вонзившийся в корни в каменные потроха горы. Тень от скалы, делящая пополам валуны, мгновенные небесные города, воздвигнутые из медленно тасующихся облаков, призрачность пятна дальнего кряжа, подобная тающей за дымкою туче, занимали Родриго. Настоятель призвал к себе художника и Бернардо вместе с ним. Художник объяснил аббату, поставившему ему на вид донесения о его поведении:

— Наблюдая за склоном травинки, я припоминаю склоненные шеи женщин, которые видел во всю свою жизнь, и между женской шеей и травинкой нахожу равенство, которое и превращается в линию шеи Марии на доске. Глядя на падение камней и представляя себе человека, спускающегося по лестнице, я нахожу нужное равенство, чтобы изобразить радостного вестника, ступающего из освещенного воздуха на пол комнаты. Это — великая новая наука, *ars figurarum*, искусство представления.

Как все люди, которых в молодости хвалили за сметливость и эрудицию, но которые после обременили себя житейскими хлопотами, аббат Антонио с интересом и уважением слушал о новой науке, и ему казалось, что он понимает художника. А Бернардо казалось, что Родриго морочит голову старику, чтобы выдать свое безделие за упражнения в новой небывалой науке. И он не догадывался, что аббат позвал его послушать художника, чтобы юный отшельник не оставался чужд мудрости света, потому что, как некогда учили самого аббата: «Полагать, что естественные способности человеческого ума не могут постигнуть предмета и целей веры — то же самое, что утверждать, что Христос нисходил на землю к лягушкам или папоротникам».

Через несколько дней Родриго пропал из монастыря; после этого всхлипывающий Бернардо исповедовался аббату, и тот приказал отнести доску с неоконченными фигурами Марии и архангела в сырой глубокий подпол.

А Родриго спустился с гор и скитался теперь по равнине, среди пожухлых пастбищ и чащ. Он часто думал на ходу о карих кругах на воспаленных поблескивающих белках, о движениях дергающихся, словно от прикосновения острием со сульки, об испуганной ярости, о мученическом повиновении, с сомкнутыми веками, собственным тайным властным нуждам, о древесине оголенного тела при ночном блеске плошек, линиях бедер, в которые пестиком водружен худой торс, о бледной соломенной смуглote, о подавленных корчах страдания и отпущеных на волю корчах наслаждения — думал не с большим оживлением, чем думал обычно обо всем, что цепко обнюювали его взоры, не с большим вожделением. А что до пойманых в последнюю монастырскую ночь оттенках, то один Родриго знал, какие торжественные пиршества, какие оксамиты и парча, какие серебряные блюда и золотые кубки виделись в этих скучных переливах плоти, в перламутре десен, синеватой глубокой патине ногтей, белизне мокрых зубов среди полутемной кельи.

В долинной деревеньке местный клирик, величественный широкоплечий мужчина с проседью, пожелал заменить потемневшие створки алтаря и говорился с художником, еще вспоминавшим с удовольствием редкие четки круглящихся позонков на отсвете, облегающем покатую спину. Священник желал видеть себя коленопреклоненным у стоп мученика Стефана, с глазами, надменно поднятыми вверх, к пораженной камнем голове святого.

Родриго не раскаивался из-за того, что произошло в монастыре. Он думал о том, что чувственность подобна любой другой вещи, схваченной оболочкой светотени и крепко утвержденной на пятне сумрака, отбрасываемого ею. Ни один предмет не хуже другого. Его чувственность по прихоти скучающего ума покатилась по направлению к Бернардо, как шар, и стукнулась об нее — о другой шар.

Родриго было интересно направление, в котором покатится второй шар от удара. Все Творение было трехмерным стеклянным лабиринтом, с прозрачными стенками из времени и расстояния, и по нему катились, сталкиваясь и разбегаясь, круглые сгустки вещества, по-своему отвечающие солнечному блеску, проницавшему все устроение, и было занимательно не упустить, на каком повороте держащийся стенки шарик свернет из полости коридора в сторону, в поперечный коридор, и отчего именно на этом повороте это произошло.

Снова он много бродил по окрестностям, и, если небо было затянуто, то пасмурное с просветами, то подернутое каракулевой вязью мелких облаков, он мог часами следить за волнующей многоэпизодной драмой света и тени, менявших, в зависимости от степени освещения, колорит местности. Но особенно ему нравилась таверна, раскрасневшиеся щеки посетителей, короткопалые жесты тычащихся рук корчемницы, отливы свечного пламени на глиняном глянце, дымка кухонного чада, размыавшая выпуклые очертания предметов. И в кабаке он оказывался гораздо чаще, чем в церкви, за алтарной створкой, набрасывая портретные эскизы с важного священника. Он даже написал для корчмы вывеску – кружку и уютно свернувшуюся у ее подножия колбасу.

Это было в совсем уже весенний вечер. Стارаясь не привлекать внимания нескольких мужчин, засидевшихся в таверне, Родриго бросил в пышущий камин последнюю тетрадь набросков. Таковы были правила, и на этот раз он решил им подчиниться. Он знал, что священник прикажет какому-нибудь другому живописцу завершить роспись дверцы, а тот замажет две неоконченные головы и нижнюю часть тела святого Стефана на одной из досочек. И он вышел в стрекочущую серебристыми кузнецами звезд прозрачную ночь.

Андрей Левкин

ВЕНА, ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

1. Новая Карандашная

В Вене на углу Kellermangasse и Neustiftgasse есть такое место, что будто бы там сначала – на всем этом перекрестке со сквером – был прозрачный и мягкий шар, сфера, и его сложили пополам, вдавив полусферу в полусферу. Они – края оболочки – плотно же не сомкнутся, выйдет, что ли, такая двойная шапочка. Чуть более чем в два раза менее прозрачная – но поскольку сама сфера была прозрачной вполне, то тумана от этой операции набежало немногого. Почти незаметно.

Здесь это не строго угол, то есть – не четыре прямых угла. Нормальных углов два, по левую, если спиной к центру, сторону Neustiftgasse. По правую были два сквера, ну или один, разделенный Kellermangasse. Как если бы на этих углах аннулировали два дома, отчего образовалась небольшая выемка в застройке: площадка, которую пересекала узкая Kellermangasse. Или это место и не было застроено никогда, оно и называлось отдельно: Augustinplatz. На той стороне Kellermangasse, где сейчас был я, имелась остановка автобусов, одно дерево (ну полтора), немного декоративной брускатки в асфальте и скамейки – зачем-то полукругом. Будто там, в центре относительно лавочек по праздникам поют и пляшут маленькие девочки, а родители глядят на них, ощущая чувства. То есть, видимо, в самом деле все так, потому что там же и деревянный помост, невысокий.

По другую сторону богаче: хвойно-лиственные деревья и помесь статуи с фонтаном, мутного серо-бежевого цвета, не понять, из какого материала. Будто глиняная. Общий цвет местности – серый, но славный. Где темнее, где этот бетон светлее. Ну и глубокая зелень этих лиственно-хвойных напротив. Они, дело в чем, в иголках, но иголки длинные и мягкие, не знаю, как это называется. Про листья-иголки я помнил еще с прошлого раза, в мае 2008-го. А сейчас тут прохладно, куртка, свитер. Хмуро.

Для ориентации: Neustiftgasse идет примерно от Народного театра в сторону Гуртеля, к окраинам. Kellermangasse – поперец, от Mariahilfer Straße, а куда – не знаю, куда-то в сторону Театра в Йозефштадте. Собственно, от Мариахильфер до сюда эта улица называлась Kirchengasse, а уже в сторону Йозефштадта становилась Келлермановской. Разумеется, неизвестные слова и названия будут пояснены по ходу дела. Это хоть и не путеводитель, но заодно и путеводитель, почему нет.

Neustiftgasse, к слову, непонятно как переводится. Возможен даже вариант «Новая Карандашная», хотя у «шифта» куча значений: карандаш; грифель; духовное училище; женский монастырь, ученик (в мастерской). А также просто штифт; штифтик; шпилька; шпенек; штырь; деревянный гвоздь; перо граffопостроителя; штырек; обрубок; шип. Даже поводок. Так что у Новокарандашной тут шансов мало. Что до ее расположения в городе, то это 7. Bezirk, Neubau, совсем центр. Выйти из Музейного квартала в сторону Народного театра, идти дальше по улице в сторону Ратуши так, чтобы театр был справа, первый же поворот налево – вот она и Neustiftgasse. «Новая Грифельная» было бы неплохо. Улица плотная, пяти-шестиэтажные дома впритык, узкие тротуары, серая. Ну или «Новая Карандашная». Точнее, «Новый Карандашный», потому что gasse – переулок, но пусть уж будет в переводе улицей, потому какой же это переулок. Вполне длинная улица, до самого Гуртеля.

Теперь здесь март 2009 года, я только что поселился в пансионе за углом, умылся, выпил в гостиной кофе и пошел на эту лавочку курить. Мне это место нравилось. И оно само, и район – поэтому тут обычно и жил. Я сидел на лавочке, приятно теплело, даже солнце выглянуло. Листвы еще не было, но два дерева по бокам статуи-фонтана все равно густо зеленели, раз уж они были хвойные. А то, что тут вот эта вдавленная сфера, – ничего особенного, просто вот так тут было, и все. Фонтан-чучело как раз попадал – глядя от меня – ей в донышко. То есть она не нависала крышей, а стояла как-то боком, накренившаяся линзой.

Но вот: сейчас около полудня, тихо, воздух спокоен, однако некоторые ветви этих деревьев слегка колыхались, причем – еще и вразнобой. Выходило так, что вокруг них был какой-то свой небольшой ветер, свой для каждой ветки.

Одна ветка – они не очень жесткие – колыхнулась. Та, что рядом с ней, – тоже, но в другую сторону. Кроме них двух – ничего, все спокойны. Откуда вообще этот местный ветер? То есть получается так, что где-то в окрестностях одной ветки возникла небольшая область, полость, в которой давление меньше, чем по соседству, – в нее тут же влезал воздух из граничившей с ней области, отчего хвоя колыхалась, но что происходило с этой полостью? Она продырявливалась, что ли? Или просто сжималась, отчего давление в ней делалось больше, чем снаружи, а когда маятник шел обратно, – ее, полости, оболочка растягивалась, давление в ней падало, делаясь меньше, чем рядом? Будто этими ветвями играли, как на гармошке, не дергая остальные ветки. Получались вакуоли сложной формы, они как-то раскладывались вокруг веток и ерзали. Значит, воздух был разделен на отдельные мешки, в каждом из которых свой воздух? Но вроде нет – хотя, с другой стороны, как иначе объяснить? Тем более что покачивались только две-три ветви?

Или была какая-то общая неустойчивость невыраженной природы – что-то чуть-чуть где-то наклонилось, изменились какие-то гирьки на весах, и пространство немного наклонилось: ветки качнулись, картина сдвинулась, и этот факт можно назвать и ветром, хотя больше было похоже, что меняется картинка в калей-

доскопе. Чуть-чуть повернуть, кто-то повернул, и с легким шорохом, с шуршанием возникает другой рисунок. Мало отличающийся от прежнего.

Сбоку от деревьев на той стороне стоял шестиэтажный дом. Серо-бурый, за год слегка изуродованный строительными работами – ему стену возле угла проштробировали, вставили вдоль туда провод и не заделали. Даже и не пытались, замазали только местами, чтобы провод не вывалился. У этого дома угол срезан, там неширокий дополнительный торец. На уровне второго этажа из него выдвигается небольшой постамент, а на нем – под козырьком – непроясnenный маленький всадник на вздыбленном конике. Оба, похоже, бронзовые. А под всадником, в промежутке между ним и окном первого этажа, выходящего в этот торец, – какой-то непонятный и несколько даже стилистически неуместный орнамент из десятка голубых и двух белых квадратных плиток. То ли зачем-то решили покрыть кафелем весь торец, да бросили, то ли еще почему. Голубенькие такие, чистые на грязно-сером цвете этого дома. По прошлому разу я этого украшения не помню.

У самого дома над подъездом рельефная надпись: Якоб Бадл, кожаный – ну не кожный же – grosshandlung – оптовик по кожам. Jacob Badl. Тут я знал, что если войти в подворотню, то будет двор, где стены всех домов совершенно оплетены плющом. Теперь, конечно, листьев еще нет, и сухие ветки прижались ко всем стенам двора. Плющ же как, ссыхается на зиму, получается большая сеть с узелками на месте, наверное, листьев: похоже на провода и небольшие лампочки – только не включенные, а по вечерам, значит, может оказаться и иллюминацией.

2. Augustinplatz

Так вот, чучело-фонтан. Когда я был на этом месте в прошлый раз, то так и не выяснил, что это и зачем. Осмотрев, пришел к выводу, что, верно, какой-то вариант немецких гномов в палисадниках. Май 2008-го, впрочем, был дурным: все время ливни, а тут еще эта малохудожественная уродина, да еще из постамента вода льется. Так устроено: постамент, на постаменте чаша, примерно эллипс. В ней – следующий постамент, четыре грани которого по центру украшает некоторая лепнина (овоши-фрукты-цветочки). В середине орнаментов торчат металлические трубки, из которых в чашу льется вода. На постаменте – некий герой, опершийся задом на какой-то служебный прямоугольник. В руках у него нечто, похожее на волынку. Челюсть крупная, стрижка – горшком, плюс шляпа с узкими полями. Все, что снизу до героя, имеет песочно-розовый цвет, сам он и та штука, на которую опирается, – цвет настоящего бетона.

Так все это и выглядит, однако суть дела оказалась исторической. В промежутке между моими появленийми в этом сквере в мае 2007-го и нынешним марта (2008-го) я был в Вене еще и пролетом из Москвы в Краков и из Кракова в Москву. Странные стыки, к тому же они были неудобны по времени: ни по дороге туда, ни обратно я не успевал съездить в город. Разве что можно было добраться на электричке до Wien-Mitte, чтобы на следующем же поезде отправиться назад. Ну, можно было полчаса походить в окрестностях Митте, что не есть счастье. Я не по-

ехал, отчего стал неплохим знатоком аэропорта Швехат. Нашел в полуподвале даже дешевый магазин сети Billa. Заодно в качестве, что ли, компенсации, купил книжку «Wien. Ein Reisebegleiter. Von Susanne Schaber, Insel Verlag, 2007».

Книжка простецкая, с лирико-познавательными вывертами на городском материале. Пафосная и сентиментальная: «Schon alt und schon neu» – Вена, а как же еще. Составлена из описаний десятка строго организованных маршрутов: «Über den Nachmarkt und Mariahilf in die Josefstadt», например. Стилистика – тоже задушевная, да там еще и стишки. Но это нормально, поскольку автор писал ее с искренним ощущением того, что находится в лучшем месте в лучшее время, а лучшее время тут всегда. Понятно, чтение таких сочинений может вызвать ложное чувство причастности к городу, который и в самом деле не чужой – но не чужими же привязками усиливать свои? Тем более когда все это еще и облеплено фотографиями, подписанными в духе: «Mit dem Fiaker durch alte Wien».

Но эта сентиментальность была развита до состояния трипа, происходящего в мозгу автора книжки по ходу перемещений по реальным улицам. С привлечением, разумеется, справочной и художественной литературы. А чем более эмоционально разрабатывается трип, тем отчужденней он окажется для постороннего, но тем сильнее на него воздействует. Отчужденность там нарастала и оттого, что все это базировалось на общекультурном анамнезе: вот Ингеборг Бахман живет в 3 округе (Landstraße), вот она там же знакомится с Целаном. А Музиль, как же тут без него, пишет на Rasumofskygasse, 20 пару глав «Человека без свойств», переулок Разумовского тоже 3-й округ – это просто из соответствующей главы книжки. Но Вена там в сумме действительно возникает. Сама автор оказывается вполне невымышленным элементом города: вот, у них там и так принято.

Конечно, в это предъявленное приключение можно въехать, когда знаешь и город, и улицы. А иначе трудно адекватно понять слова, якобы приближающие к неприкрашенной правде жизни, происходящей в 7–8 округах: «Hier läßt sich sehen, wie Wien wohnt». Ага, тут, значит, вся правда о том, как Вена живет. Ну да не Ринг, но это же все равно милейшие районы, а у нее к их описанию прикреплена почти брутальная строка Кунерта, «Zum Himmel kann hier keiner fallen». В небо, знаете ли, в Нойбау и Йозефштадте не выпасть – это если из окна попробовать. Ага, а в Видене запросто.

И вот по ходу чтения не без приятного чувства узнавания в книге нашелся и вот этот угол Kirchengasse и Neustiftgasse: именно там в своей преждевременной могиле спел Augustin Marx («Ein tuechiger Trinker») знаменитую с тех пор песенку: «O, du lieber Augustin, Augustin, Augustin, O, du lieber Augustin, alles ist hin». Ему и посвящено это невнятное чучело. То есть это ровно он.

Несомненно, совокупность слов и фактов из предыдущего абзаца производит материализацию какой-то истории, существовавшей в распыленном виде, а этот угол с памятником ее концентрирует или конденсирует. Не сказать, что история тут делается какой-то особенно важной, но с технической стороны выходит, что у нее – вот этой вполне локальной и не очень великой истории – есть точка привязки, именно здесь. Историй вообще полно, они и должны каким-то образом

укрепляться в своих точках, чтобы не распылиться и содержать себя. Должны просто где-то стоять. Сначала они нелепы, а лет через сто позеленеют или обортутся ветром, тогда нормально выглядят. В городе Вена, где когда-то историй было очень много, понимали: следует фиксировать имеющиеся, а то и по несколько раз. Конечно, это понимают только в тех местах, где историй много, – надо фиксировать, чтобы не запутаться. А где их немного, там думают, что все и так все помнят, а в результате – пфе, никакой памяти.

Но как ощущается сам факт всплыивания истории из общего, разрозненного до пыли анамнеза и чем он ощущается? Какие чувства вызывает? Вот вы, такой вялый и несфокусированный, а вот – история: ей двести лет или триста, неважно. Но она же отчасти переключает время, и в организме что-то немножко передергивается. Незаметно, несистемно и несодержательно. Так, добавочное давление извне. Какой, собственно, орган ощущает такие короткие давления, притом – в разнообразии их свойств и происхождения?

Что до самой фабулы Августина und памятника, то она проста. Этого пьяницу конкретно тут и хотели однажды закопать. Переbral, заснул, а это были чумные годы, 1678–79, граждане логично решили, что на дороге валяется очередной покойник. Уточнение этой версии сообщает, что Августин рухнул еще в центре, а сюда его вывезли к ближайшей открытой яме для захоронений – ее вырыли возле церкви Ульриха, она за углом. Закинули в яму, хорошо хоть не успели закопать, так что наутро А. Маркс проснулся и, как это стало быть известным в последующие времена, пропел свою знаменитую песню, по-русски известную как «Ах, мой милый Августин, Августин, Августин! Ах, мой милый Августин! Все прошло, все».

Другая версия сообщает, что Августина в яму никто не кидал. Он пил где-то возле св. Штефана, шел оттуда – домой, что ли? – и сам в яму и рухнул. А яма, да, стояла открытой в ожидании промышленного заполнения. Эта версия даже сообщает, что Августин был удачно проспиртован и от ночевки среди чумных трупов не то что чуму не подхватил, но и не простудился. Впрочем, времени года версия не сообщала. Следующая версия выглядит еще более реалистичной. Там Августин не сам выбрался из ямы, но проснулся, испугался и стал звать на помощь. Тут ему и пришлось доказывать подошедшем гражданам, что он не оживший покойник. Потому-то он и запел песню. Так или иначе, его извлекли. Впрочем, ненадолго – говорят, что церковная книга сообщает: Августин умер 11 марта 1685, с перепоя, в возрасте 35 лет. Сомнительно, что там было указано «с перепоя», но почему бы и нет.

В легендарном месте падения Августина в яму и последующего возникновения песни, на возникшем лет через 200 пересечении улиц Neustiftgasse и Kellermannngasse в 1908 году ему и был установлен памятник-фонтан. Как написано на постаменте: «От gemeinde Вены, муниципального образования, подчиненного доктору Карлу Люгеру, в 1908 году». Люгера, конечно, памятник не слишком красит, если говорить о художественных достоинствах. Но кто есть Люгер? Это не тот Люгер, который изобрел пистолет Люггера, а бургомистр Вены, весьма способствовавший ее обустройству во времена своего бургомистерства с 1897 по

1910-й. Его чут. Например, если ехать из аэропорта на электричке и смотреть направо, то среди Центрального кладбища в Зиммеринге (Simmering) (обширное за бетонным забором) будет хорошо видна немаленькая «Мемориальная церковь Карла Люгера». Люгер был сложный фрукт, боролся с тогдашними глобалистами-либералами, с какой целью осуществлял смычку низших классов с аристократией и церковью (католической): как следствие – либералы уязвлялись еще и с антисемитской стороны. Там была сложная раскладка, по ходу дела пострадал и Климт, у которого отняли подряд на плафоны в университете, а также все актуальное тогда искусство. Собственно, памятник ровно потому и диковатый, что главное в нем была народность.

Но бургомистром Люгер был грамотным, направил по каменному водоводу в город альпийскую воду (нет сомнений, в фонтане этого памятника текла именно она), провел тепловые коммуникации, муниципализировал газ и электричество, чрезвычайно развил трамвай. Один кусок Ринга так и называется Карл-Люгер-Ринг. С виду Люгер похож на российского эмигранта первой волны, наведавшегося на Родину в начале 90-х. Бакенбарды-усы-борода, особая проникновенность взгляда выпущенных с неким смыслом глаз. Был популярен, имея прозвище «schicpen Karl», то есть «прекрасный» или, возможно, «красавчик». Впрочем, он никакой не Люгер, а Луэгер: «ие» в фамилии Lueger когда-то поняли как диграф для Ь, а это просто две буквы. Но в русский язык вошло это «ю», а в порядке последующей самокритики, невозможной без некоторого оправдывающего компромисса, стали употреблять гибрид: «Люэгер», не соотносящийся уже ни с чем.

Но и сама песня Августина про Августина переведена на русский язык плохо. Даже те ее части, которые пошли в тираж и пелись, что ли, под шарманку или какой-то еще звякающий инструмент (как назывался этот диск с прямоугольными дырками, стоявший вертикально за стеклом музыкальной машины? Точнее, как эта машина называлась в целом? Оркестрион?). В оригинале эта песня не была нежной. Никаких «все прошло», но – alles ist hin. Все, короче, позади и полный каюк – хин, акцентированный удар в конце строки, а не шепелявое «всјопрошишллооовсјо». Кроме того, в канонической русской версии отсутствовала строфа: «Und selbst das reiche Wien, Hin ist's wie Augustin; Weint mit mir im gleichen Sinn, Alles ist hin!»

То есть тут же важна четверная жесткая рифмовка, а hin еще и рифмуется с Вин, то есть с Wien, Веной. А с чем можно рифмовать «прошишллооовсјо»? Не рифмовать с Веной нельзя, во-первых, – потому что в оригинале все построено на этих трех in. То, что это важно, подчеркивала строка в первом же куплете: Alles hin – Augustin. Во-вторых, тут поет не обобщенный забулдыга, а конкретный гражданин именно Вены, где эта история только и могла произойти. Причем другие народы это понимают – в английской Википедии неизвестный автор счел необходимым представить песню так: „Oh du lieber Augustin“ is a Viennese folk song, composed by Marx Augustin in 1679». Венская народная, авторства Августина М. Никак иначе.

Впрочем, отсутствие в переводе этого абзаца Вены придавало сочинению всеселовечность, нет сомнений. Но тут еще один косяк: в русском переводе был

пропущен и куплет: «*Rock ist weg, Stock ist weg, Augustin liegt im Dreck*». Некий самодеятельный энтузиаст перевел его так: «Пиджака нет, ценностей нет, Августин лежит в грязи». Пиджак и ценности – ладно, но вот «дрек»... «Лежание в грязи» не катит, дрек требует более энергичных вариантов: нечистоты, сор; кал; помет; дрянь; дрянной товар; нелетная погода; туман. Ну красиво же: Августин лежит в нелетной погоде. Хотя, конечно, подразумевалось говно. Он же фактически митёк – если эта тема в России еще не забыта: «Митьки не хотят никого победить, поэтому всегда будут в говнище». Даже странно, что в пору своего возникновения данная группа (тельники-ватники-усы-бороды-коты-портвейн) не сообразила, что у нее есть Небесный патрон: Августин. Впрочем, этот абзац ведь в переводе отсутствовал, да. А оригинала они не знали.

Только какие же в Вене «Митьки»? Даже не так, что их тут нет ни в каком виде, даже в виде осведомленности о данном социогуманитарном факте – их тут не было уже и для меня: кто такие и зачем? При том, что по меньшей мере троих главных я знал и, мало того, прямо способствовал их публичному расцвету, первым опубликовав их исходный манифест, тот самый, где сказано, что они не хотят победить никого. А теперь: кто такие? Название еще болталось в уме, но как полый звук, без ничего внутри. И значит, я сам был тут уже несколько измененным. Конечно, первое лицо, производящее изложение, никогда не совпадает с автором, пусть и использует его некоторые ресурсы. Словом, есть у пьяниц своя планета, и тут ей, значит, небольшой памятник. Вообще, может в руках героя и не волынка, а просто дудка, которая вполне бы подошла Диззи Гиллеспи (этот, в отличие от «Митьков», тут существовал), и – отдельно, в розницу – мех с вином? Не понять, очень уж все условно.

Далее, откуда эта музыка для музыкальной шкатулки, когда тут индастриал или хеви-металл как минимум? *Rock ist weg, Stock ist weg, Augustin liegt im Dreck*, – какие тут муси-пуси, это же почти раскаты грома.

То же касается и словосочетания «милый Августин». Этот момент уже заинтересовал многих. В той же английской Википедии авторы оговаривают перевод особо: «The phrase “O (or, alternatively, Ach) du lieber Augustin” does literally mean “(Oh you) dear Augustin”, but should probably be best translated as “Oh (you) poor Augustin!”, since it most likely refers to the author himself. “Ach, du liebe(r)...” used to be a very common phrase of commiseration in German. (Note the approximately equivalent phrase “Oh dear (me)!” in English which also conveys an element of – more or less disagreeable – surprise, nothing to do with the adjective “dear”.) To preserve the rhythm of the song, perhaps “Oh you poor old Augustin” could be used». Вывод: ничего общего с прилагательным «милый». На русский было бы правильнее перевести «эх, бедняга Августин», если не «мудило».

Были также и нетривиальные коннотации, связанные с Россией: про куранты Спасской башни. В 1763 году в здании Грановитой палаты были обнаружены «большие английские курантовые часы». С 1767 года выписанный ровно по этому поводу из Германии мастер Фатц (Фац) три года устанавливал их на Спасской башне. Установил. И в 1770 году куранты заиграли именно «Ах, мой милый Ав-

густин», и некоторое время эта музыка и звучала над Кремлем. Черт его знает, может из-за Августина в Кремлевской стене и стали потом хоронить большевиков и дальнейших героев. Чума – ров – Августин – длинь-длинь – куранты – ров – захоронения. Перенесение исходного смысла, налипшего на песенку, и, как вирус, вызывающего при употреблении песенки события, соответствующего исходному смыслу. Тем более что вот еще одна связь, уже совсем конкретная: «Августина» на Спасской башне стали играть в 1770 году, и в этом же году в Москве тоже началась эпидемия чумы.

Все на свете – ах, оставалось лишь вздохнуть – было липким от каких-то бесконечных связей, от их переплетения: к середине, даже уже в конце середины жизни они уже начинали душить, свалившись в войлок. Надо полагать, вот так жизнь и приступила к началу своего окончания. Однако ж все это происходит ровно в тот момент, когда – по личному ощущению – возникает какой-то очередной ноль, который обнулит все. И куда сильнее, чем это происходило в конце 80-х, когда эта тема также имелась. Но тогда это касалось отдельной страны, а теперь все было явно мощнее. Вот для этой темы Вена как раз подходит, имея в виду ее запустение за прошедшие сто лет. 1 млн 980 тыс. в конце XIX века, шестой город мира, а теперь что? 1 млн 680 тыс. человек в середине 2008. И много ли она упоминается в обычных европейских новостях? А вот Августин – да, стоит, хотя этот угол вполне обошелся бы и без него. Глупый памятник. Будто какому-то крестьянину или оптовому торговцу кожами Бадлу, а не венскому артисту-пропойце. Да, в то время район был вполне сельским, в какой одежке ему еще было ходить на свои уличные концерты возле Штефандома? Стоит тут теперь и связывает собой империи, времена и личные обстоятельства.

Александр Покровский

ПРОПАДИНО

Отрывок из романа

– Вставайте скорей, ваша станция!

Проводник толкнул меня в плечо, и я разлепил глаза. Ночью в купе было душно, не уснуть, а потом – холодно, не проснуться.

– Вставайте же! Стоим одну минуту.

– Минуту?

Я вылетел из вагона совершенно очумелый, поезд сейчас же тронулся, и я остался один.

На перроне стоял туман. Густой, как молоко. Семь часов утра. Неужели я приехал? Я же должен был приехать в девять. Туман разорвался, и я увидел надпись над беленъким зданием «Пропадино».

– Пропадино? Мне же в Грушино надо!

Это была не моя станция. Проводник, дубина, высадил меня не поймешь где!

Из тумана высунулась голова. На голове была фуражка. Голова какое-то время просто висела в воздухе, потом она спросила:

– Заблудились, милостивый государь?

– Я? – удивился я обращению.

Голова посмотрела куда-то вниз, видимо, надеясь отыскать там свои ноги.

– А ног-то и не видно, – сказала голова, полностью подтвердив мои подозрения. – Не странно ли? Только что были ноги. Ну да бог с ними, найдутся когда-нибудь! – продолжила голова задумчиво. – Не так все печально. Печально другое.

– Что? – не удержался я.

– Судите сами. Остановился поезд. Из него вышел человек. Поезд ушел, а человек пять минут читал надпись, состоящую из девяти букв, а когда ему задали вопрос, не заблудился ли он, ответил на него долгим «Я-я-я?».

После этих слов голова с фуражкой выдвинулась из тумана так, что появилась грудь и рука.

– А вот и рука с грудью! – сказала голова с фуражкой, после чего показалась уже вся фигура. Фигура уставилась себе на ноги. – Я же говорил, что они никуда не денутся.

«Городской сумасшедший», – подумал я, и по спине пробежал мерзкий холодок.

— Позвольте представиться, — сказала фигура, — Поликарп Авдеич Брусвер-Буценок — начальник станции, ее смотритель, кассир и бухгалтер.

— Это не Грушино?

Лицо начальника станции сделалось таким, будто он только что ненароком проглотил небольшую жабу и теперь не может сразу сказать, какие же по этому поводу он имеет впечатления.

— Город наш, — сказал он медленно, бесцветным голосом, — сударь, называется Пропадино. Ударение на последнем слоге.

И тут он заметил небольшую обертку от печенья, лежащую на асфальте. Он медленно нагнулся, поднял ее и поднес к глазам.

— Странно, — проговорил он. — Странно видеть пищу нашего будущего, лежащую просто так, без риска быть съеденным в нашем прошлом. Вы не будете? — спросил он меня и протянул мне обертку.

— Я? (Сумасшедший, настоящий сумасшедший.)

— Вы. Я уже завтракал.

— Не буду.

— Значит, вы не из будущего. А начиналось все хорошо.

— Что начиналось?

— Теперь это уже неважно. Надо вас зарегистрировать.

— Что надо сделать?

— Зарегистрировать. Документ какой-никакой имеете?

— Паспорт подойдет? — спросил я совершенно потерянно.

Взяв в руки мой паспорт, Поликарп Авдеич рассматривал его с живейшим интересом. Он даже понюхал его, крякнув от удовольствия.

— Люблю! — сказал он после того, как перелистал каждую страницу. В голосе его прозвучала слеза. — Люблю запах! Настоящий документ должен и пахнуть по-настоящему! И эти водяные знаки! Водяные, водяные!

Волосы мои, надо признаться, опять шевельнулись, а Поликарп Авдеич продолжал:

— Водяные! Признаки! Признаки государства! Вот так близко от меня — и все признаки государства! Могучего, непоколебимого! Сейчас! Сейчас! — он почти рыдал. — Сейчас я вас зарегистрирую.

Он немедленно вытащил какую-то бумажку, чиркнул в ней чего-то, приложил печать, которая оказалась у него в кармане, и, к великому моему удовольствию, вернул мне мой паспорт вместе с бумажкой. В бумажке было только одно слово: «Зарегистрирован».

— Ну? — спросил он меня.

— Что? — сказал я.

— Как вам у нас?

— Послушайте, — сказал я, — не подскажете, когда следующий поезд? Мне надо в Грушино.

— Нет ничего легче, друг мой, — сказал Поликарп Авдеич, беря меня под руку и поворачивая к входу на станцию. — Надо посмотреть в расписание.

С тем мы и вошли в здание.

— Вот оно! — он ткнул в большой плакат. На нем было написано: «Расписание движения поездов». Под этой надписью было совершенно пустое поле. Ничего там не было.

— Это расписание? — отважно спросил я.

— Оно самое! — отважно ответил Поликарп Авдеич.

— Но в нем же ничего нет. Ни одной строчки.

— А если нет ничего, но очень хочется, следует помолиться. Вон и иконка у нас имеется. В углу.

В углу станции действительно стоял столик со скатертью, над ней висела икона, а под ней горела лампадка.

— Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! — протяжно пропел Поликарп Авдеич, закрыв глаза. Потом он открыл левый глаз и зыркнул им из стороны в сторону. — Ну как? Не появилось расписание?

— Нет.

— Ну что ты будешь делать! — тут он открыл правый глаз.

В этот момент я заметил, что на станцию зашел милиционер.

Видите ли, до этого момента все вокруг было пустынно — ни одной живой души, серость да туман — живой и липкий, и вот из тумана появился милиционер.

Я не помню, чтоб я когда-либо раньше так радовался появлению отечественной милиции.

— Милиция! — вскричал я в совершенном восторге. — Товарищ милиционер! — после этого я подбежал к нему.

Милиционер был толст, сонлив, и на носу у него росла большая бородавка.

— Я не товарищ! — сказал он.

— Ну, это все равно! Господин милиционер! — захлебывался я от восторга.

— И не господин. Я — городовой.

— Кто? — я почти не удивился.

— Городовой. Служу этому городу. Городо-вой. Вой, городо...

— Это очень хорошо! — необычность этого высказывания стража порядка меня почти не взволновала. — Я сошел на вашей станции случайно. И теперь мне надо попасть в Грушено, а тут нет даже расписания движения поездов.

— А документ у вас имеется?

— Конечно! Вот паспорт.

Милиционер, или городовой, если угодно, взял в руки мой паспорт, как некую драгоценность. Он даже взвесил ее на руке, зачем-то мне подмигнув.

Я зачем-то подмигнул ему в ответ и рассмеялся.

А вот этого делать не следовало, городовой тут же стал серьезным и сказал:

— Если нет расписания, значит, так и должно быть. У нас ничего не происходит просто так. Вот если бы расписание, а поезда не ходили? А? Что бы тогда? Безобразие, не так ли?

Я не мог с этим не согласиться.

— А так — не ходят поезда, и расписания нет! А если б поезда запаздывали? Хлопот не оберешься. Объясняй потом, почему они запаздывают, как они запаз-

дывают, и по каждому поезду, по каждому проводнику можно составить целый список замечаний. Тома замечаний. И они, те тома, множатся, потому что власти надо как-то реагировать. Нельзя же просто так стоять и ничегошеньки не делать. Надо писать, описывать эти замечания и свою реакцию на них. А так – нет расписания – одно замечание. А нет расписания, так и поезда не ходят. Все очень логично. Не так, ли, Поликарп Авдеич? – обратился он к начальнику станции.

– Сущая правда, Григорий Гавrilovich, сущая правда! – отозвался начальник станции.

– Да! – обратился уже ко мне Поликарп Авдеич. – Разрешите представить вам нашего стражи, так сказать, порядка. Григорий Гавrilovich Бородавка – весь город с него начинается.

– Город начинается с порядка! – важно заметил Григорий Гавrilovich. – Во всем должен быть порядок. Ну-с? Посмотрим, что у вас тут!

Он начал рассматривать каждую страницу паспорта, причем держал он ее так, чтобы свет падал на страницу под углом.

– Как играет, как играет, а? Вот так бы, казалось, и стоял бы до самого вечера и смотрел, как играет, – говорил он вроде бы мне, самому себе и Поликарпу Авдеичу. – Все водяные знаки на месте, и в то же время на месте все биометрические данные. И вот эта строчка.

Он дал мне полюбоваться чем-то тем, что, на его взгляд, являлось строчкой.

– Гордость-то охватывает вас, а? – спросил он строго.

– Меня?

– Ну не меня же! Меня-то она, почитай, с самого рождения охватывает, не отпускает. Вас-то она как? Охватывает?

– Охватывает! – сообразил наконец я. – А вот сейчас она это делает особенно сильно. Точно покусывает. Вот в этом месте (я указал на середину груди), а еще вот тут (я указал на средостение).

– То-то! – городовой был строг. Он еще какое-то время смотрел мне на грудь и на живот, будто запоминал, в каком месте человека должна охватывать гордость, потом он еще немного порылся в моем паспорте и спросил: – Зарегистрирован?

Вопрос был адресован не мне.

– Само собой! – отозвался Поликарп Авдеич.

– Вот! – городовой-милиционер назидательно поднял вверх палец. – Порядок!

Он постоял еще какое-то время, вроде бы прислушиваясь, не возразит ли ему кто.

– Сейчас я вас зарегистрирую.

– Так... – не понял я, – у меня же уже есть бумажка.

– Не бумажка! – прервал меня он. – Не бумажка, а регистрация! У вас есть регистрация от Поликарпа Авдеича, а теперь будет и от меня.

Господи! Да они тут все сумасшедшие!

Мне немедленно был вручен еще один листок. Можно было не проверять, я и так видел на ней только одно слово, скрепленное печатью. И это слово было мне уже знакомо.

— Так как же Грушино? — спросил я, получив назад свой паспорт и еще одну «регистрацию».

— Грушино, Грушино, Грушино... — городовой и милиционер был задумчив. — Где это? Что это? Как это? Каково это? Откуда это? Когда это? Словно бы слышал я что-то когда-то! Надо бы по карте посмотреть.

Он извлек из-за пазухи сложенную много раз пополам карту, развернул ее и внимательно в нее уставился. Я тоже сбоку в нее глянул. Там было только три города — Москва, Санкт-Петербург и Пропадино. И больше ничего — только холмы и низменности.

— Нет такого города, — сказал наконец важно Григорий Гаврилович, — и, видно, никогда и не было. Никакой иной причины не прописывается. Воочию...

— Но я же ехал... — начал было я.

— Но не доехал.

С этим невозможно было не согласиться. Железная логика.

— А почему? Почему не доехал?

Осталось только развести руками.

— А потому что нельзя никуда доехать. Едем-то от себя. Бежим. Куда-то! — Григорий Гаврилович стал вдруг необычайно задумчив, лиричен. — Все спешим, спешим, прости господи! — он осенил себя крестом, Поликарп Авдеич повторил его движение.

Ну и я тоже — истово перекрестился.

— А ведь хорошо-то на душе стало? — Григорий Гаврилович посмотрел на меня, как на родное существо. — Ведь хорошо? Не правда ли?

Я согласился.

— Вы совершенно правы! Правы! Вот так порой осенишь себя крестным знамением, и чувствуешь себя сразу так легко, точно и не весишь ты ничего вовсе. Точно летишь ты над землей грешной, над землицей, над лесами и поселками, над людскими слабостями и печалями.

Я почему-то совершенно растрогался и даже потянул носом.

— Вы-то, почитай, часто летаете? — поинтересовался Григорий Гаврилович.

— Я-то? — спросил я на всякий случай.

— Ну да.

— Частенько.

— Вот и я о том же. Иногда воспаришь, а порой — словно в нору какую или яму бездонную падаешь, и все-то в тебе течет в тот период медленно, серьезно течет, но верно.

Григорий Гаврилович постоял еще некоторое время, глядя куда-то в потолок, а потом перевел свой мечтательный взгляд под ноги, мотанул головой, потянулся шумно носом, отчего бородавка на самом кончике, кажется, даже издала какой-то посторонний звук.

— Но что это мы? — воскликнул вдруг Григорий Гаврилович, словно бы очнувшись. — Стоим тут, либеральничаем, полемизируем, позволяем любопытству взять над собой вверх, а человеку не помогаем?

— Действительно, Григорий Гаврилович! — отозвался совсем было стихший до поры Поликарп Авдеич.

— Пора, мой друг, пора надеть на себя вериги! Хватит идолом-то изнывать! Пора! Пора действовать!

Я немедленно подтянулся, ощущив очередной прилив сил.

— Сами-то мы действовать не намерены, — доверительно обратился ко мне милиционер-городовой, — не по чину, поскольку случай, похоже, исключительный, но городское начальство! — тут он возвысил свой голос до торжественности. — Начальство! Оно же задумывается почти внезапно! Оно-то умеет выходить и не из таких передряг! Обречено оно на совершенный и полный успех!

Я кивнул головой, потому что, как мне тоже показалось, что пришла пора, да и мысль об успехе приободрила меня необычайно.

— Вы-то, чай, не благородного происхождения будете? — спросил Григорий Гаврилович до того, как он начал действовать.

— Я-то? — честно говоря, вопрос застал меня врасплох. Я и не помнил, да и не особенно как-то сразу сообразил, о чем тут идет речь. — Прабабка, — начал я натужно вспоминать, — урожденная княжна Преснянская, а вот прадед...

— А Его Высокопревосходительству губернатору нашему Всепригляд-Забубеньскому, Петру Аркадьевичу, родственником не приходите?

— Всепригляд?

— Забубеньскому.

Я сначала неуверенно — а черт его знает! — а потом все энергичнее и энергичнее замотал головой:

— Нет. Кажется, нет...

— Так позвольте все-таки уточненьице получить. Все еще «кажется» или же уже «нет»? К слову говоря, Поликарп Авдеич не даст мне соврать, однажды я вышел на улицу и просто даже удивился. Движется мне навстречу старушка. Так, ничего себе особенного старушенция, перемещается, так сказать, уважаемая всеми старость. Достигает меня и со словами «вот вам печеньице» — неожиданно подает мне сверток. Я, было, сейчас старушку к стенке — порядок-то знаем — ноги шире, и ну проверять на отсутствие возмущения в народе и терроризма, а потом оказалась она ближайшей трехюродной тетей главного казначея Тортан Тортаныча Захмутайского, и имела она в виду только пачку печенья от доброты сердешной к чаю. А я-то ее уже и распиял, безо всякого на то поощрения. Конфуз и помрачение рассудка явственно коснулись моего виска! Есть отчего меняться воздуху, и как тут не вспомнить о связях!

— Но, — продолжил Григорий Гаврилович после незначительной паузы, утихомиравшей его волнение, — всякое мрачное и неожиданное помрачение содержит в себе и зерна внезапного просветления, как и вчерашняя смерть содержит в себе надежду на возрождение! Печенье себя не замедлило обнаружить, а там и фамилия дамы открылась мне в документе, выпавшем из сверточка вместе с указанным выше продуктом. Кроме того, на землю выссыпались все ее регистраций.

— И что же вы? — поддержал я разговор.

— И что же я? Сдвинув ошибочно растянутые вдоль стенки ноги нашей уважаемой старости, я сейчас же при ней подобрал с почвы и съел все печенье, прерывая его икотой, по причине отсутствия чая, на что старушка ответила собствен-

ной икотой, рискуя устроить диссонанс, но все обошлось. Мы принаоровились, достигнув в этих звуках сочетаемости, необходимой гармонии. Какое-то время ее икота все еще опережала мою и звучала не в такт, но я ловко выправил ситуацию, а после прекращения оного действия поблагодарил эту преклонных лет не закатившуюся еще гражданку за такое проявление к себе чувств, после чего она была отпущена восвояси, куда она и отправилась, приволакивая ногу.

— Кстати о ноге! — Григорий Гаврилович никак не мог остановить свою речь. — Что говорить о поселянах и поселянках, когда и более значительные фигуры полагают приволакивание ноги своим частным делом. Я же смотрю на вопрос шире, не побоялся бы этого слова, государственней. Что твоя нога, как не часть общества и его ресурс? Таким образом, приволакивание ноги вводит государство в расход, и как тут не вспомнить мою записку, поданную на Высочайшее Имя, о том, что при достижении семидесяти пяти лет, когда человек еще в самой поре, надо бы отказывать ему в медицинском содержании, дабы к ногам своим и к остальным элементам тела он относился со всей серьезностью, не полагаясь на кого-то или же на что-либо там еще.

— Поликарп Авдеич! — обратился он с ходу к начальнику станции. — Вы, полагаю, останетесь на вверенном вам посту, в то время как мы с этим гражданином отправимся в путь.

Антон Равик

СЫН?

*Во сарайчике-сарае с запахом бензина
с милым мы, с любезным братцем или злые вина.
Милый днесь меня смущает сумраком чела,
от него я – негодяйка! – нечто зачала.
Что-то выйдет у нас с милым, что-то за дитята
величать нас будет с братцем мамкою и тятей?
Будет полон вешней боли, отблесков грозы,
будет как алтарь янтарный,
будет как эласмин нектарный
богоданный Сын.*

Алла Горбунова

На перроне Перов увидел куст; протер глаза, потому что сумрачно было под куполом Витебского вокзала, и все же в почерневших, будто взявших гари готических скрещениях стальных балок, унизанных заклепками, в густой палевой сети мелких металлических прутьев он почувствовал, скорее чем увидел, отражение острых веточек. Опустил глаза – и правда, в центре перрона, на асфальте, совершенно голом, в огромном горшке стоит куст – целые Пиренеи користой арматуры, увязанной внизу широким пучком, сплетающимся к толстому стволу-основанию. Они глядели друг на друга – громада вокзального навеса, натянутого рудного продукта, балансируявшего на множестве случайных и необходимых опор, и перчатка с сотней растопыренных пальцев – узеньких, ломких, изгибающихся.

Поезд «Петербург – Варшава – Берлин» по ниточкам рельс медленно подползал к тутику, гудение паровоза спадало, и напор, лязг отбрасывали состав назад, из-под гигантских вокзальных шапок, меховых, в которых иголочки пересекались, свивались и взяли друг в друге, назад – в острую белизну солнечного дня, преющего в пыли. Длинный шест – может быть, он был на лодке, подплывающей к кораблю, минуя мелководье, отводя буераки ила и водорослей, – конечно, зонтик мерно стучал по металлической границе перрона – Перов пробирался к восьмому вагону. Копыто бренчащего наконечника столбило метр за метром, и грузчик,

пыхтя, тащил на колене, подпихивая, прыгая бедром и наваливаясь грудью, клетчатый чемодан. В темных бархатных занавесочках вагонов первого класса мелькали серебряные номера – третий, голос справа: «Посторонитесь, барышня!», пятый: «...ее сестра ни за что бы не приняла блудного сына...», наконец, седьмой: «Пара удальцов засиделась за...». В восьмой вагон он вошел молча, не оглядываясь. Узкий коридорчик метнул вглубь пернатое пугало, прорезь в светлый день сократилась, и усатый проводник в мундире темного сукна с золотым кантом на воротнике, тяжело вздохнув, довернулся до конца защелку, намертво вжав дверь в аккуратно залитое мягким каучуком ложе. Вагон был словно черная крепь на сером рукаве рельс, внутренняя сутулая ночь, окутывавшая зеркала, диваны, багажные сетки массивного узорного шнурка, бронзовы лампы и бра с яркими медными обручами, тянулась под дно, к рессорам, в стороны, вверх, вперед, к двуглавому орлу, закрепленному спереди на паровозном барабане, и назад, к последней тормозной площадке. Купель волнующейся хрустальной влаги, затянутой поволокой тени, девичье лицо, прикрытое густой вуалью, – таков был поезд, грузными глубокими шагами отходивший от перрона. В тамбуре восьмого вагона мельнуло порхающее женское платье, подбородок повелительно описал дугу в направлении первого купе, и дама хрустко щелкнула пальцами, отходя к окну прохода; проводник, кряхтя, затащив коробки, обитые сливочно-серым полосатым шелком, бежевые кожаные баулы, белые чемоданы. Пять минут спустя дама, брызнув узорным подолом темно-синего платья из грузной тафты по дверям третьего и четвертого купе, хлопнула дверью сего и с треском закрыла замок. Проводник, коптя бархатные занавески сквозь усы тяжелыми вздохами, на цыпочках пробежал по проходу в конец вагона.

Перов дремал, и кромки белорусских лесов, пересекая друг друга, полуопрозрачные, в дымке, костенея грязно-белесым на фоне облачного неба, сменяли друг друга не переставая. Зонтик небрежно откинут на противоположную полку, мягко покачивается и подпрыгивает в плавном кружении подушек на качели рессор. Бархатная куртка смята в багажной сетке у окна, на высоте человеческого роста, ноги хозяина привычно закинуты на ее край. Ни книги, ни газеты, ни чая на столике. Кажется, Перов предполагает продремать так четверо суток до Берлина.

Однако внезапно, нарастая, перебегая от деревянной панели к медному кольцу, возникает громкий истерический стук в противоположную стену. Перов вывинчивается из патрона своего сна, откладывает заготовленную пороховую пульку – она немедленно превращается в свинцовую – и начинает танцевать в голове и пытается сообразить, к чему бы этот стук, давно перешедший в гром и грохот. В проходе заливаются прыткие высокие женские голоса, мужчины с характерным широким закатыванием рукава рубашек. Блеяние проводника прерывается повелительным окриком. Перов наконец понимает, ловко поднимается и выходит: нужен врач. Он – врач. На новеньком коврике рассыпана крупа таблеток, в углу – едкое пятно йода. Из первого купе торчит половина женского тела, которую неуклюже пытаются втолкнуть обратно двое мужчины в подтяжках. Волосы у женщины обметаны белым порошком – кажется, снотворное, сама она, видимо, без сознания. Дверь купе, следуя ритмическому покачиванию поезда, наваливается на спину одного из мужчин,

затем отстает, немного отходит и тяжело, медленно хлопает его снова по выступающим от усилия позвонкам. Мужчина злобно сверкает маленькими глазками и раскуривает вонючую черную сигару в белое, призрачное лицо женщины.

Перов раздвигает руками толпу, отводит локоть женщины, кутающей плечи в соболье боа, она норовит, подхватывая мех, попасть ему морщинистой селедкой руки прямо в зубы. Небольшая группка людей, тесно сгрудившись, не дает Перову пройти к первому купе. Только он обошел блондинку с мундштуком из слоновой кости в патронташе пальцев, как перед ним замаячил крепкой спиной прокуренный старик, затылок которого будто навьючен был неизвестно откуда взявшимся запахом гиацинтов. Между спин трех или четырех человек, теснившихся на следующей паре метров, Перову стал вновь на секунду виден огрубленный беспорядочно мотающимися волосами профиль, будто прикрытый коркой белого хлеба, белого и чуть желтоватого, – женщину удалось усадить вертикально, и мужчина с маленьенькими злобными глазками, блестя потом на залысинах, коленом придерживал ее спину, а руками пытался поднять падающую голову. Дверь первого купе вновь настырно хлопнула мужчину по спине, он качнулся, голова женщины рухнула на грудь – казалось, она проломит тонкое созвездие грудины, събьет ключицы в кровавый kostлявый сбитень, и печень, и сердце нанижет на себя, и превратит все в кучу собачьей еды, пищевых отходов. Перова немножко замутило – он вспомнил недавний труп красивой женщины в анатомичке с крошечным следом укола стилетом под левой лопаткой: он плавно и последовательно разделял тело, как распилил многие другие до этого, пока оттаявшая, отошедшая от ледника прядь волос не упала беззвучно на щеку: на мгновение возникла мысль – она живая, такая красивая, – волосы упали каподастром, и перегородчатая эмаль жизни поползла из материи смерти и вернула лицу – и всему телу, вплоть до грудей, желанность, и он в следующую секунду уже трясясь от собачьего мороза, содранной шкурой трепал на ледовитом полу: только Перов успел нагадать безумные ветры хорватских равнин, мечтательные серые глаза в шуме дунайских вод, черную прядь – слабинку в походе, в скачке перед турецкими ордами, и лицо, окрученное, будто нарезной ствол, изнутри и тончайшими плетями кубизма оплетенное снаружи, с стола сального, гладкого, зернистого где-то в глубине металла, упала ее нога – он и забыл, что отпилил ее. Последствия, однако, были поразительными: различие жизни и смерти предстало столь отчетливо одновременно, глухой удар ноги об пол, кости, едва прикрытой тряпочкой, ветхим плащиком кожи, прозвучал тогда, когда Перов уже картавил, покручивая ус, у маленькой дверки на поречской улице, на самом берегу моря, а она воровато и незряче глядела на столики кафе поодаль – за одним, наверно, сидел толстый хорват, ее отец. Она была в этом минутном сне, в пустой, затхлой и холодной анатомичке, подсвеченнной зеленоватым, тусклым, трупно-ядовитым светом, призрачной, сероватой, она не способна была ожить вполне, но антрацитовыми гребнями, скнутыми в кольца, кочевали ее глаза по хорватскому побережью, на котором то тут, то там (не подводила память) разбросаны были теплые желтые фонари – на домах, отелях и яхтах. И этот бирюзовый облик завоевал Перова целиком – во мгновение ока – пусть она едва-едва принадлежит ему, но эта прядь, и ожившие глаза, и чуждая, но дьявольски привлекательная молочная белизна груди, на миг избавленная

от пугающих, мертвенных морщинок и едва намечающейся дряблости и одновременно пухлости гниения, – оно воздвигло высокую сторожевую башню любви, маяк, и особенные очертания придают высоко вздымающимся каменным кольцам фигурки юноши и девушки, бредущих к маяку с разных сторон, совершенно неизвестных, но навеянных неотвратимо – призраков счастья. И в этот момент с грохотом упала отпиленная нога, смеющаяся темно-бордовым, будто не окровавленным разрезом, дымящимся пахом, дрянью нарастающей плоти, лохмотьями суховатой полотняной кожи, частью рассыпающейся в пыльцу, частью ороговевшей, желтой неровной стороной разрубленной кости.

С грохотом упал проводник, пытавшийся удержать дверь, – навзничь, запнулся о ковер. Поезд несколько раз коротко дернулся, Перова качнуло вместе с толпой, дурнота никак не проходила, он задыхался в окружавших его жилетах, пиджаках, галстуках, платьях, воротниках, шарфах, шляпках и мехах, не более десяти человек толклись в проходе, однако их рожи лезли отовсюду – из дверей купе, от качающегося бесчувственного тела женщины, из окон. Перов вновь увидел на секунду тревожный наклон влево, злобный окрик и одергивающий жест мужчины со злобными глазками. На мгновение показалось: он никогда не доберется до женщины, безнадежность окутала собачьим ошейником, упряжью, впряженная в колесницу чистилища, и дальше будет только дорога по тошнотворным коврикам, усыпанным белыми таблетками в окружении качающихся небритых и потных харь и острых мордочек горгулий с выпученными, выселенными из орбит глазами, пожирающими гуляющее в звенящем дверном проеме умирающее тело. Перов потер глаза, решительно раздвинул округлые и худые плечи, выбрался к первому купе, встал на колени; мужчина со злобными глазками и отвратительными черными залисинами прохрипел, сорвавшись на писк: «Что же вы так долго? Что вы там мялись? Вы же врач!» – «Да, я – врач. Берите ее под правую руку, так, что вы там делаете, в купе? Разгром? Нам не видно, штора… Давайте быстрее, нужно ее уложить для начала». Тело женщины все так же, со слюнявым размякшим ртом, болталось, и теперь Перову стало понятно, почему ее так трудно держать: вагон переваливался то направо, то налево прямо под ними. Наконец кто-то из купе потащил женщину за ноги, Перов двинулся вперед, подхватив ее под левую руку, мужчина со злобными глазками медлил, с трудом взялся, потянул, сделал шаг, и дверь с особой силой ударила его по выпуклому, обтянутому рубашкой позвоночнику, в следующую секунду резко подалась назад и снова со всего маху врезалась в захрустевший хребет. Мужчина со злобными глазками на секунду молча выпрямился, выпустил плечо женщины из рук, откинул голову назад, покачался, видимо, без сознания, и полетел в купе, сквозь занавес, вверх тормашками; тяжелый бархат треснул, и обернутый в него мужчина с силой ткнулся лбом в треугольное металлическое основание столика у окна. Перов с трудом понимал уже, что происходит: он потихоньку провел рукой по лбу – весь в испарине. Они где-то в Белоруссии, ко второй половине дня солнце, как ни странно, разошлось вовсю и накалило многократно укутанный в теплые ткани вагон добела. Перов осмотрелся: толпа абсолютно беззвучно, поголовно скрестив руки на груди, глазела на бойню; неожиданно тело женщины резко навалилось на Перова, он чуть не упал на-

зад. Открывшаяся было настежь дверь с удалию ударила его, стоявшего на коленях, по ступням. В глазах потемнело от боли: голеностопный сустав, кажется, сдавило в палимпсест. Перов яростно подхватил женщину под обе руки, кивнул маленькому человечку, который пытался что-то сделать с мужчиной, лежащим у столика, и они вдвоем по сантиметру протащили женщину через порог в купе. Дверь снова открылась и с силой захлопнулась: в этот раз за спиной Перова. Он облегченно вздохнул, с трудом поднялся на ноги. Толпа, оставшаяся за дверью, судя по звукам, начала потихоньку расходиться.

Маленький человечек потормошил Перова за плечо, и они вдвоем осторожно положили женщину на нижнюю полку, под головой устроили подушку, сняли туфли. Перов наклонился над неподвижным телом мужчины, лежащим на полу посереди купе. Из-за него они так долго втаскивали женщину внутрь. Стянув с его головы бархатную штору, выпутав руки, Перов обнаружил на макушке, среди черных залысин большую кровавую рану. Они с маленьким человечком осторожно положили мужчину напротив женщины: у человечка оказались удивительно большие, нежные руки, голова мужчины почти полностью в две ладони, сложенные ковшом.

— Я схожу к себе за инструментами. И горячей водой. Рану нужно промыть и зашить.

Человечек молча кивнул в знак согласия. Перов вышел, тихо прикрыв за собой дверь. За дверью стоял очнувшийся, с лицом цвета негашеной извести проводник. Беззвучно прошептал: «Ну как?» — «Будут жить. Нужна горячая вода». Проводник кивнул и мелкими шагами побежал по коридору к своему купе. Перов оглянулся: в коридорчике не было ни одного человека, все двери в соседние купе плотно закрыты. Он зашел в свое, вытащил большой чемодан и вынул из него небольшой кожаный чехол, покопался, позвенел металлическими дольками и длинными скальпелями, вышел, закрыл дверь на замок.

Тазик с горячей водой и тяжелый медный чайник уже стояли на столике. Перов быстро промыл рану, не увидел, не почувствовал пальцами трещин в черепе, аккуратно зашил кожу, забинтовал и уложил голову больного на подушку. Обернулся к женщине — она тяжело и мерно дышала. Снотворное, конечно. Присел, пощупал пульс, потрогал лоб, не горячий ли, отогнал от себя мысль о промывании желудка. Маленький человечек терпеливо стоял у входа, блестел глазами.

— Ну все. Вы идите. Мужчина сейчас придет в себя. Это просто длительный обморок, возможно, болевой шок. Он скоро вернется в свое купе. А я проведу ночь здесь, если ей станет хуже, промоем желудок. Мне кажется, она не успела много проглотить, потеряла сознание от страха, от нервного истощения. У женщин такое бывает.

Последняя фраза прозвучала несколько презрительно. Маленький человечек недовольно глянул на него, сморщился, кивнув, вышел. Через несколько минут мужчина открыл глаза, коротко осмотрелся, осторожно потянулся, чуть не взвыл от боли: «Позвоночник!» — «Не делайте резких движений. Никаких смещений нет, у вас на редкость крепкий хребет, хоть и погнутый. Вы просто ударили вершину дуги, один позвонок. Это болезненно, но не страшно. Медленно поднимайтесь, идите к себе в купе и постарайтесь до Берлина лежать». — «Я еду в Варшаву». Перов промолчал.

Мужчина злобно сверкнул глазками, осторожно поднялся, сжав зубы до песчаного скрежета, и медленно вышел из купе, не обернувшись, лязгнув дверью.

Перов вытянулся на его полке, осторожно скосил глаза на женщину: во сне смятое в бумажный самолетик лицо расправилось, она дышала легко и свободно, и темная прядь волос, закрывая всю щеку, оттеняла полуоткрытый рот, между нежных губ белели зубы: женщина улыбалась. Перов уснул, уставив столешницу напряженного и утомленного взгляда утварью нежных черт ее лица.

Проснулся глубокой ночью: во тьме, разноликие синевой, текли за окном польские равнины – даль открывалась в меркнущей перспективе, едва очерченная редким, вырезанным более плотной тенью домом или деревом. Он снова закрыл глаза, и те же сумрачные тени потекли под веками, голубоватая, шурющая по всему существу тишина, и рядом – начиненная осколками, истерзанная женская плоть, и виноградная гроздь губ, тлеющая и примятая, и высыхающая в прорванном грязном тюке исходящей гнилой кровью Европы. Он наполнился пустынной и пространной грустью, и она уже казалась ему в полусне песенной женой, на траве, на пригорке, над изморосью в канаве. Поезд лязгнул, тормозя; Перов очнулся: Варшава, что ли? Он медленно повернул голову, и неожиданно в черных силуэтах на противоположной полке узнал вовсе не женское тело: в нерасчлененной отблесками и рыхлым, отраженным светом тьме слева от молодого врача, лежа один на другом, распирали поезд два Атланта, ступни мощно упирались в правую стену, поднятые руки – ладонями – влевую. Обнаженные тела напряглись в стремлении сдержать стремительно складывающийся в спичечный коробок поезд, смыкающийся в полосу, линию, точку. Мощные мышцы эрмитажных глыб пасли тектонические сдвиги, выдерживали каждую трещинку, обвалы, ломающиеся колонны, взрывы, гремевшие сверху, в верхних слоях атмосферы, землетрясения снизу. Перов удивленно взглядывался в мощные, с тонкими чертами лица, в курчавые волосы, спокойные глаза одного гиганта, глядящие в глаза другому. Он вдруг понял, что атланты не лежат на полке и друг на друге: они зависли, расперев своими телами купе. И на них не было набедренных повязок: длинные могучие половые органы с огромными корневищами были напряжены и вытянуты вдоль плоских, непробиваемой титановой броней закрывающих брюшную полость животов, огромных щитов, они не соприкасались, и семенная жидкость текла из округлых наконечников, рассеивалась и пропадала в гуще, намешанной из бугров ночи и начинающегося утра.

Легковесный луч рассвета, золотой и пряный, играючи улегся на чем-то белом. Спустя мгновение Перов понял, что призраки, нареченные тьмы, заискривившись, удалились, как драконы в японском театре теней. Белым лоскутом была щека женщины, и луч скользнул дальше к каре радужнице глаза – разбудил. Она улыбалась Перову.

*

Но забыть странное видение молодой доктор долго не мог.
И неподалеку была Вторая мировая война.

Сведения об авторах

Виктор Иванів (1977) – поэт, прозаик, филолог. Окончил Новосибирский университет. Кандидат филологических наук (диссертация «Философский концепт и иконоческий знак в поэтике русского авангарда»). Стихи и проза в журналах и альманахах «Воздух», «Черновик», «Новая кожа», «Вавилон», «Абзац», «TextOnly», «Трамвай», «Новая Юность», «Дети Ра», «Уральская новь», «Сибирские огни», «Союз Писателей», антологиях «Время Ч», «Черным по белому», «Нестоличная литература», «Анатомия ангела», «Братская колыбель», «9 измерений». Шорт-лист премии «Дебют» 2002 г. в номинации «Короткая проза», Отметина имени Давида Бурлюка Академии Зауми (2003), шорт-лист премии Андрея Белого 2009 г. в прозаической номинации. Книги прозы: «Город Виноград» (2003), «Восстание грез» (2009). Книга стихов «Стеклянный человек и зеленая пластинка» (2006). Живет в Новосибирске.

Александр Ильянен (1958) – прозаик, поэт. Родился в Ленинграде. Окончил Военный институт иностранных языков в Москве. Публикации в журналах и альманахах «Двоеточие», «Зеркало», «РИСК», «Сумерки», «Митин журнал». Автор романов: «И финн» (1997), «Дорога в У.» (2000, шорт-лист премии Андрея Белого, 1999), «Бутик Vanity» (2007). Лауреат Первого московского фестиваля верлибра, премии Андрея Белого 2007 г. в номинации «Проза» за роман «Бутик Vanity». Живет в Санкт-Петербурге.

Василий Кондратьев (1967–1999) – поэт, прозаик, переводчик. Родился в Ленинграде. Учился на историческом факультете ЛГУ. Публикации в «Митином журнале», журналах «Звезда Востока», «Родник», «Место печати», «Черновик». Автор предисловий к книгам Ю. Юркуна «Дурная компания» и Т. де Квинси «Исповедь англичанина, употребляющего опиум». Книга прозы «Прогулки» (1993). Переводы Х. Уолпола, П. Боулза, английской, американской и французской поэзии XX в. Лауреат премии Андрея Белого 1998 г. в номинации «Проза». Редактор сборника «24 поэта и 2 комиссара» (1994), журнала «Поэзия и критика». Погиб в Санкт-Петербурге в результате несчастного случая.

Николай Кононов (1958) – поэт, прозаик, издатель, арт-критик. Родился в Саратове. Окончил физический факультет Саратовского университета и аспирантуру ЛГУ по специальности «философские вопросы естествознания». В 1992–1993 гг. главный редактор петербургского отделения издательства «Советский писатель». Основатель (вместе с А. Покровским) и главный редактор издательства «ИНАПРЕСС» (1992–1993). Автор романов «Похороны кузнечика» (2000), премия им. Аполлона Григорьева, шорт-

лист Букеровской премии 2001), «Нежный театр» (2004, шорт-лист премии Андрея Белого), книги рассказов «Магический бестиарий» (2002), шорт-лист премии Казакова, «Улов», восьми книг стихов, книги критических статей о современном искусстве «Критика цвета» (2007). Шорт-лист премии Андрея Белого 2000 г. за стихи 1998–1999 гг. Лауреат премии Андрея Белого 2009 г. в номинации «Поэзия» за книгу стихов «Пилот». Переводится на многие языки. Живет в Санкт-Петербурге.

Кирилл Корчагин (1986) – поэт, критик. Родился и живет в Москве. Окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. Стихи публиковались в журналах «Воздух», «TextOnly», «РЕЦ», альманахах «Новая кожа», «Абзац», альманахе по следам XIV и XV фестивалей верлибра, на сайте «Полутона», рецензии в журналах «Новое литературное обозрение», «Новый мир», на сайте «Букник». Шорт-лист премии «Дебют» в номинации «Поэзия» (2009). Соредактор альманаха «Акцент».

Денис Ларионов (1986) – поэт, прозаик. Родился и живет в Клину. Окончил Тверской медицинский колледж. Публикации в журналах «Воздух», «TextOnly», «Новое литературное обозрение», альманахах «Солнце без объяснений», «Акцент», на сайте «Полутона». Лонг-лист премии «Дебют» в номинации «Поэзия» (2009, 2010), лонг-лист премии «ЛитературРентген» (2009, 2010). Стихи переведены на сербский язык.

Андрей Левкин (1954) – прозаик, редактор, журналист. Родился в Риге. Окончил механико-математический факультет МГУ. Был главным редактором рижского журнала «Родник» (в 1988–1993 гг.). С 1998 г. в Москве. Возглавлял интернет-проекты Polit.ru, СМИ.ru, куратор отдела политики в «Русском журнале». Печатался в журналах «Родник», «Урал», «Митин журнал», «Даугава», «Комментарии», «Знамя», «Новая Юность», «Уральская новь», «Октябрь», «Звезда», «Союз Писателей», «Воздух», «TextOnly», альманахе «Фигуры речи» и др. Книги прозы: «Старинная арифметика» (1986), «Тихие происшествия» (1991), «Междугорье» (1999), «Двойники» (2000), «Цыганский роман» (2000), «Голем, русская версия» (2002), «Черный воздух» (2004), «Мозгва» (2005), «Счастьеловка» (2007), «Собрание сочинений» (2008, в 2-х кн.), «Марпл» (2010). Лауреат премии Андрея Белого 2001 г. Произведения переводились на английский, болгарский, немецкий, польский, финский языки.

Маргарита Меклина (1972) – прозаик, эссеист, переводчик. Родилась в Ленинграде. Окончила филологический факультет Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. Публикации в журналах и альманахах «Вавилон», «Митин журнал», «Зеркало», «Воздух», «Новый берег», «Фигуры речи» и др. Книги прозы «Сражение при Петербурге» (2003), «У любви четыре руки» (2008, совместно с Лидой Юсуповой). Лауреат премии Андрея Белого (2003, шорт-лист 2001), «Русской премии» (2008, в номинации «Малая проза»), премии «Вольный стрелок» (2009). Живет в Сан-Франциско.

Александр Мурашов (1978) – прозаик, филолог. Родился в Москве. Окончил филологический факультет МГУ. Публикации в журнале «Знамя», альманахе «Абзац». Книга рассказов «Оттиски на песке» (2004). Переводы поэзии с испанского и английского языков. Соредактор альманаха «Акцент». Живет в Москве.

Андрей Николев (Андрей Николаевич Егунов, 1895–1968) – поэт, прозаик, литературовед, переводчик. Родился в Ашхабаде. Окончил классическое отделение историко-филологического факультета Петербургского университета. Член переводческого кружка АБДЕМ. В 1933 г. арестован по делу «об идеино-организационном центре народничества», приговорен к трехлетней ссылке в Томскую обл. С 1938 г. – в Новгороде. В 1942 г. попал в Германию. В 1946 г. арестован и осужден на 10 лет исправительно-трудовых лагерей, отбывал срок на Северном Урале и в Казахстане. Освобожден весной 1956 г., судимость снята. Вернулся в Ленинград, работал в Институте истории естествознания и техники при Ломоносовском музее АН СССР, затем – научный сотрудник ИРЛИ. Перевел с древнегреческого произведения Платона, Гелиодора, Ахилла Татия Александрийского. Монография «Гомер в русских переводах XVIII–XIX вв.» (1964). Сборник стихов «Елисейские радости», поэма «Беспредметная юность» (две редакции), романы «Василий остров» (не сохранился) и «По ту сторону Тулы» (Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1931). Умер в Ленинграде.

Александр Покровский (1952) – прозаик. Родился в Баку. Окончил Каспийское высшее военно-морское училище им. С. М. Кирова. Основатель (вместе с Н. Кононовым) издательства «ИНАПРЕСС» (1993). Автор неоднократно переизданных книг прозы: «Бегемот», «Мерлезонский балет», «...Расстрелять!», «...Расстрелять!-2», «72 метра», «Каюта», «Кот» и др., книги интервью «11 встреч». Составитель книжных серий «В море, на сушу и выше...» и «Люди в войсках». Повесть «72 метра» экранизирована в 2004 г. Живет в Санкт-Петербурге.

Антон Равик (1987) – прозаик, поэт. Родился в Ленинграде. Окончил факультет философии и политологии Санкт-Петербургского государственного университета. Стихи и проза публиковались в журналах «Воздух», «TextOnly», альманахе «День открытых окон». Лонг-лист премии «Дебют» 2009 г. в номинации «Малая проза». Живет в Санкт-Петербурге.

Станислав Снытко (1989) – прозаик. Родился в Ленинграде. Окончил факультет социальных наук Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. Проза в журналах «Воздух», «TextOnly», на сайте «Полутона». Живет в Санкт-Петербурге.

Валерий Шубинский (1965) – поэт, критик, переводчик. Родился в Киеве. Окончил Финансово-экономический институт. Один из организаторов Ассоциации современной литературы «Камера хранения» (1984). Составитель альманаха «Незамеченная земля» (1991, вместе с И. Вишневецким). Стихи и критические статьи в журналах «Аврора», «Сумерки», «Вестник новой литературы», «Континент», «Звезда», «Новый мир», «Октябрь», «Новое литературное обозрение», «Новая русская книга», «Критическая масса», «Нева» и др. Книги стихов: «Балтийский сон», «Сто стихотворений», «Имена немых», «Золотой век», труды о жизни и творчестве Н. Гумилева, М. Ломоносова, Д. - Хармса. Переводы поэзии с английского и идиш. Живет в Санкт-Петербурге.

—||—

—||—

Р 89 Русская проза: Литературный журнал: Выпуск А: СПб.: ООО «ИНАПРЕСС»,
2011– 264 с.
УДК 882
ББК 84 (2Рос-Рус)6
ISBN 978-5-87135-224-3

Русская проза
Литературный журнал.
Выпуск А.

Художник Андрей Богуш
Подписано к печати 14.04.2011. Формат 70Х100/16.
Гарнитура Times. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 16,5.
Заказ

Издательство ООО «ИНАПРЕСС»
С.-Пб., ул. Некрасова, д. 60.

Отпечатана с готовых диапозитивов
в ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие
«Искусство России»
198099 Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к.2